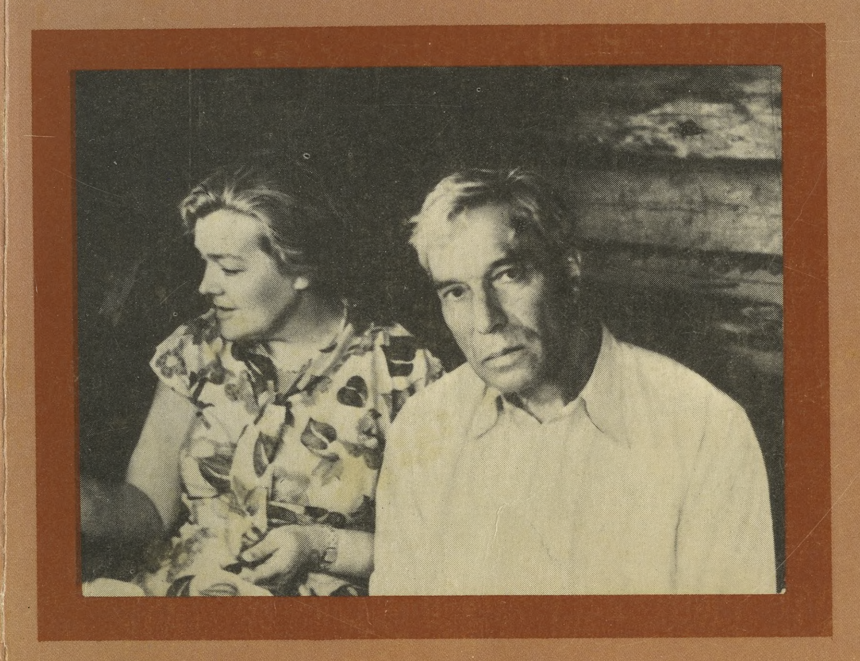
Ольга Ивинская



ГОДЫ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

В ПЛЕНУ ВРЕМЕНИ

Ольга Ивинская

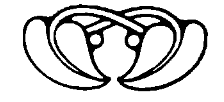


О. Ивинск

Ольга Ивинская

ГОДЫ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

В ПЛЕНУ ВРЕМЕНИ



Москва
1992

ББК 47
И17

Ивинская О. В.

Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. — М.: „Либрис“, 1992 — 464 с.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕНТРА „ДЕТЯМ ЧЕРНОБЫЛЯ“ МОСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ „СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ“

Спонсоры издания:
ТПО „Россия“, г. Москва
Российская промышленная ассоциация „Алмазы Чернобылю“, г. Москва

Организаторы издания:
эксперт Госкомчернобыля России Б. М. Мансуров
ТОО „Чернобыль-пресс“, г. Москва

И $\frac{4700000000\text{-}028}{\text{А-}018(02)\text{-}92}$ Без объявления ББК 47

Редактор Т. Г. Королева
Художник Я. Г. Коровин
Корректоры З. Г. Галушкина, М. И. Казакова, О. М. Никифорова

ISBN 5-86568-028-5

Сдано в набор 30.04.92. Подписано в печать 19.05.92.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36+1,63 вкладка.
Тираж 20 000 экз. Заказ 288. С 7.

Издательство „Либрис“
125871 Москва, ГСП, Волоколамское шоссе, 4

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Министерства печати и информации Российской Федерации.
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

Пройдут времена, много великих времен. Меня тогда уже не будет. Не произойдет возврат ко времени отцов и дедов, что, впрочем, не является ни необходимым, ни желательным. Но наконец снова объявится так долго таившееся благородное, творческое и великое. То будет время итогов. Жизнь ваша будет как никогда богата и плодотворна.

Вспомните тогда обо мне.

БОРИС ПАСТЕРНАК

(Перевод с немецкого; факсимиле оригинала воспроизведено в книге Герда Руге "Пастернак", Мюнхен, 1958 г., стр. 125).

Вероятно, каждый большой поэт ощущал трагический разрыв между своим временем и вечностью, которую творит истинный Художник. Злободневные нужды, временщики и быт, литературные политиканы и толпа — в их плену может задохнуться и увянуть даже недюжинный талант. Но творения гения стремительно мчатся в будущее сквозь вечность.

Одним из тех, кто разрыв между Временем и Вечностью ощущал особо трагически, был Борис Пастернак:

Ты — вечности заложник
У времени в плену.

Он знал, что когда минется время, его поэзия останется, и из плена времени она прозвучит в грядущем, как звучат в наши дни строфы Пушкина.

И все же — ему хотелось, чтобы фрагменты его пребывания "в плену у времени" сохранились в истории. Не раз в последние годы он говорил мне:

— Ты должна оставаться жить. Тебе придется распутать всю ложь, которая вокруг меня нагорожена...

Увы, он не предвидел, что исполнение его завета моя судьба отодвинет на долгие годы. И вот эти годы прошли, а завет остался. Между тем уходит из памяти, забывается то, что забыть, казалось, было невозможно.

И потому я не пытаюсь рисовать биографический или литературный портреты. Эта книга — не литературное исследование. Я пишу, чтобы уберечь память о поэте от лживых домыслов, чтобы защитить его и свои честь и достоинство. Я знаю, что любое суждение о человеке в той или иной мере и ошибочно, и верно. Есть люди, знавшие поэта иным. Если они напишут свои воспоминания — я с интересом (а быть может — и радостью) познакомлюсь с тем Пастернаком, которого они знали.

А сейчас, вспоминая свои четырнадцать лет рядом с Пастернаком, мою полную бедами жизнь, — я надеюсь на одно: я выстрадала право рассказать о том Борисе Пастернаке, которого я знала, выстрадала право написать правду, как я ее вижу.

1976

Как известно, 1988 год стал переломным в литературной судьбе Бориса Пастернака на его родине: в журнале "Новый мир" был наконец опубликован главный труд его жизни, как он сам считал, роман "Доктор Живаго", оконченный в 1956-1957 годах. Более тридцати лет понадобилось роману, чтобы пройти поистине крестный путь к своему главному читателю, одолеть такие преграды, как однозначное отрицание идеологической олигархии, бюрократически-чиновная ненависть, шельмование и травля со стороны "собратьев" по перу, не погнушавшихся никакими средствами, чтобы унизить и оскорбить и автора, и его создание. Отчасти они победили: дело их рук — тяжелая болезнь, и, как следствие, смерть Бориса Леонидовича. Но роман выжил, начал свое шествие по свету, обрел многочисленных друзей за рубежами страны, воплотился в один из популярнейших в мире кинофильмов, и сегодня не сходящий с экранов; композиторы и художники обращаются к живаговской теме, занавесы театров открывают зрителю "картины полувекового обихода" — таков был подзаголовок романа, тогда еще будущего — и свидетелем его создания, завершения, его трагедии и победы довелось быть мне.

Роман близок мне так, как может быть близок человек человеку, и вот почему: он присутствовал вместе со мной в кабинетах моих следователей на Лубянке в 1949 году, разумеется, как и я, в качестве допрашиваемого — уж очень хотелось знать власть предержащим, "какую антисоветскую книгу сочиняет Пастернак? Наш ли он человек..." Ребенок мой и Бориса Леонидовича умер тогда в тюрьме, так и не родившись, и мое материнское чувство к нему, неосуществленное, в какой-то степени досталось роману. Я чувствовала биение его сер-

дца, ощущала его дыхание, долетавшее до меня в мордовские лагеря страничками открыток с неповторимыми строчками Бориса Леонидовича. Их журавлиные крылья приносили мне стихи о разлуке, о жизни человеческой и смерти, о том, что

безвыходность тоски вдвойне
с пустыней моря схожа...

Эти стихи стали впоследствии стихами Юрия Живаго. Борис Леонидович закончил роман спустя два года после моего возвращения из лагеря, и этот наш новый опыт — разлука, безвыходность тоски, годы мытарств — органически врос в плоть произведения. Скрещение судеб Живаго и Лары не только выдуманная история, она озарена и предвидением: как Лариса Федоровна, проводив Юрия Андреевича в последний путь, безвестно пропала "очевидно, в одном из бесчисленных лагерей севера...", так и я сочла себя пропавшей, вторично оказавшись в той же Мордовии, спустя несколько месяцев после кончины Б.Л., куда была привезена по этапу, на этот раз не одна: со мной были и моя дочь, и возмужавший, увидевший дальние — но, увы, не ближние страны, признанный в мире и проклятый на родине роман "Доктор Живаго". Естественно, речь идет не об экземплярах книги, это и многое другое было отобрано у меня при обыске, роман был со мной незримо, нематериально. Сам приговоренный к ссылке на, казалось бы, вечные времена, но мужественный и великодушный, он спас меня и заставил жить, чтобы исполнить завет его автора: описать все, что было с нами, строго, скупо, как для издания.

Писать о неизданном на родине романе и четырнадцати годах жизни, разделенных с его опальным автором, умершим в почетном звании "члена Литфонда", и рассчитывать на какое-либо издание? Безрассудство! Но, видимо, оно и есть залог осуществления надежд невероятных, оно, наконец, альтернатива трусости, а трусость — не синоним ли молчания? Но и геройского ничего нет в моем поступке, потому что преодоление трусости во имя исполнения долга — не подвиг, а норма жизни и морали. Словом, в 1972-1976 годах я написала книгу,

которую вы прочтете.

Ее название — "В плену времени" — перефразированная строка пастернаковского стихотворения:

...у времени в плену.

Вдумаемся в него. Сетование ли это, сострадание ли судьбе художника, жалоба ли на непереносимые оковы несвободы духа и тягот бытия? Тогда почему "не спи"? Почему —"работай"? Вот и ответ. Речь идет о плене иного рода — художник и его время взаимозависимы, они создают друг друга, одухотворяют, и, как мертвеет время без художника, так и он, бежав из плена в поисках не такой бессонной, не такой непрерывно-трудной доли, перестает быть живым:

живым и только, до конца...

Таким вот, живым, я и попыталась изобразить его на страницах своих воспоминаний. Впрочем, это так говорится — воспоминаний: когда я работала над книгой, все события, встречи, отдельно брошенные слова, совершенные ошибки, размолвки и примирения захлестывали меня живой, сиюминутно накатывающейся волной, и это была не память о жизни, а вновь проживаемая жизнь.

Я пишу не только о Б.Л. и себе, но и о многих других людях, о своих родных и близких, о друзьях и недоброжелателях, иногда о просто посторонних, случайных, эпизодических лицах. Но, обращая читателя к заглавию, замечу: это — попытка изобразить именно время, именно незначащие на первый взгляд его мгновения, его статистов, чтобы полнее и понятнее читался образ главного героя, поэта, рискнувшего сказать:

...деревья, дети, домоседы,
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

Такая победа явно была не по душе многочисленным критикам поэзии Б.Л., неоднократно упрекавшим его в отстраненности от действительности, в уходе в свой мелкий индивидуалистический мирок, далекий от истинных "побед" народа, совершенных под мудрым

руководством того или иного мессии; наиболее доброжелательные советовали ему поездить по стране, побывать на заводах и нефтепромыслах, подышать целительным воздухом всенародной стройки под безоблачным небом социализма. Сами, видимо, считая краткие и не слишком регулярные поездки такого рода с пирушками и "потемкинскими деревнями" безусловным единением с массами трудящихся, дающим право говорить, славить и клеймить по мере необходимости именем этого самого народа, приписывать себе знание его стремлений, чаяний, быть "инженерами человеческих душ". Они не могли не считать Б.Л. отступником от единственно верной, высочайше утвержденной линии того самого "социалистического реализма", который вернее было бы определить как "нереалистический социализм". Далек от народа, от жизни... Им, близким жизни и народу, невозможно было понять, что близость — это все же расстояние, пусть и короткое в их понимании. Б.Л. не был близок к народу и жизни или далек от них — он был ими самими. Ремесленники, слесаря, слобожане, дети, земля, небо и поле — все то, чем "дышат почва и судьба" его стихов — это он сам.

Большинства этих "критиков" сегодня нет в живых, и, как закономерность, имена многих из них вспоминаются теперь лишь в связи со степенью их участия в травле поэта, с их усердием заклеймить, оболгать его, даже лишить гражданства. Вы прочитаете об их трогательном соревновании в красноречии на печально известном собрании Союза писателей, единодушно исключившем "клеветника на советскую действительность" из своих рядов. Расправа с поэтом не прибавила им чести и славы, как он и предсказал в своем письме собранию. Решение об исключении отменено, время зачеркнуло его, многое нынче расставив по местам. Но кое-кто из участников судилища жив, и о них я хочу сказать так: будь у меня право прощать или не прощать, я простила бы их теперь, при условии, что они сами до конца жизни не простят себе. В какой-то степени их прощает и сам Б.Л. — строками из поэмы, хотя и написанной совсем по дру-

гому поводу:

Что ж, мученики догмата, —
Вы тоже жертвы века.

И все-таки у века не такие уж черные горизонты. Я пишу и о людях, которые в трудное для поэта время не без опасности для себя не отвернулись от него, не подняли руку с пальцем, опущенным вниз, не потребовали смерти поверженному. Их много. Иначе не писать бы мне сегодня этих страниц.

Иногда меня спрашивают — действительно ли я Лара из романа "Доктор Живаго". В этом случае принято говорить что-то о прототипе, о различии между реальным человеком и художественным образом и степени их сходства, о совпадении судеб. В основу образа Лары легли, видимо, несколько женских характеров, даже и часть духовного мира самого автора, как замечает Д.С.Лихачев. "Это — Лара моей страсти" — пишет обо мне Б.Л. в письме к Р.Швейцер. Да, в этом образе есть мои черты, в том числе биографическое сходство, схожесть внешняя. Но я или не я — не это главное. Лара — любовь Живаго-поэта, создание и достояние его духа — гордого, независимого, не сломленного перипетиями жестокого бытия, тогда как Живаго-человек оказывается бессильным перед реалиями мира. Умер доктор Живаго, поэт Живаго жив, жив роман, и если женщина, грядущая или настоящая его читательница, хотя бы на миг почувствует себя Ларой — значит, в ее сердце есть место для любви самоотверженной, чистой, творящей мир своей безыскусной подлинностью.

Не менее часто я отвечаю на вопрос о моем отношении к выходу в свет у нас в стране романа "Доктор Живаго". Рада ли я? К радости — а ее не может не быть, ведь сам Б.Л. мечтал увидеть роман напечатанным на родине — примешивается грусть и тревога: не сделан ли этой публикацией некий формальный шаг, подтверждающий достоверность демократических перемен? Не отложит ли в сторону книгу с чувством разочарования читатель, ожидавший от нее сенсационных разоблачений, критики революции и послереволюционной действительности? Что ж, может быть. Но я уверена, что у книги найдется и другой читатель, для

которого Живаго станет прежде всего утверждением права человеческого духа на свободу, отрицанием любого рода тоталитаризма, единообразия мышления, гимном величию творческого начала в человеке.

Как похожи человеческие судьбы, так и судьбы книг иногда повторяют друг друга. Не сопоставляя величин, скажу только, что книга "В плену времени" прошла путь, протоpенный "Доктором Живаго"; в семидесятых годах, не видя возможности публикации в СССР, я рискнула напечатать ее на Западе. Она переведена на многие языки мира, и вот теперь, время спустя, печатается там, где должна была начать свой путь. Вот так одинаково получилось с книгами — с Большой и малой.

Каким же будет новый, главный путь моей книги — по родине Б.Л. по местам событий, в ней описанных? Многих ли свидетелей происходившего более тридцати лет назад застанет она в живых? И все ли они, доброжелатели и недоброжелатели, согласятся с моими впечатлениями тех дней, с оценками поступков и действующих лиц книги?

Книга написана давно, по горячим воспоминаниям. И я сама, глядя в то время из нынешнего, понимаю многие мои ошибки в толковании фактов, в отношениях с людьми, по-другому оцениваю слишком категоричные иногда мои тогдашние симпатии и антипатии. Но здесь нет желания исказить действительность. Мой рассказ об А.Барковой, например, — вполне искреннее тогдашнее впечатление; но не могу не признать сейчас, что в отношении к человеку с такой чудовищно изломанной судьбой, искалеченному репрессивной машиной, и мне не достало понимания всей ее трагедии, сострадания к жертве. И это тоже — страшная работа карательного Молоха. Люди, поставленные в нечеловеческие условия, рискуют стать нелюдьми, и счастлив тот, кого этот жребий миновал. По словам В.Шаламова, лагерный опыт — целиком отрицательный.

Ничего не поправляю, ничего не добавляю к написанному много лет назад: пусть это будут впечатления тех дней, тех лет, те вражда и дружба, ненависть и любовь. И главное — любовь. Я любила Б.Л., и не могу обманываться в том, что была ему необходима, и благодарна судьбе за мое место рядом с ним в его плену Времени.

1992

Часть первая

НОВЫЙ МИР

Я не пишу своей биографии.
Я к ней обращаюсь,
когда того требует чужая.

БОРИС ПАСТЕРНАК

ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В октябре 46 года редакция "Нового мира" переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа "Известий". Когда-то, в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле танцевал на балах молодой Пушкин.

Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич чугунный еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра "Россия". Этого стеклянного дворца еще не было совсем.

Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж в окнах (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы "в Путинках", вылезающую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов — мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое "С тобой и без тебя" — красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой ранней сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.

Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же — завы — пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подружка, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы. Еще по старому зданию. Жизнь шла,

даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой, тонколицый и белокурый мальчик — Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж — психиатр Рогинский спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: "Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника". С ней мы делились и сердечными секретами.

Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил прилизанный на косой пробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он посмирнел после своих лагерей. Сюда вошел, после газетной шумихи, в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный с темными подглазинами Зощенко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы сразу не доложили об его приходе! Оказалось, впрочем, что эта "смелость" была санкционирована свыше.

Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.

— Боже мой, — загудел Борис Леонидович, — этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зощенко. — Все вдруг потупились, будто не слышали его слов.

Появлялись мой прежний однокурсник, Саша Письменный, будущий Наташин муж, Илья Френкель, мой старый приятель Саша Шпирт, наш с Наташей в то время лирический общий герой Николай Асанов, подчеркнуто изысканно одетый, и ставил гвоздики на моем столе.

Заходил Алеша Недогонов, скромный, симпатичный, в тапочках, и мы с ним частенько распивали кагор, принесенный им из соседней аптеки. Являлся жестколицый Луконин, доброжелательный, благодушный Ошанин присаживался надолго, читал стихи. Он тогда очень надеялся на мой литературный авторитет, — и наш журнал, поднявший уже его поэму о друге Борисе — охотно принимал его новые стихи. Являлся Межиров, с невинными камышевыми глазами болотной

русалки, в грубых солдатских сапогах, в шинели. Читал прекрасные военные стихи вначале заикаясь, но потом прыгал в них как в воду, и плыл уже плавно, без всяких помех. Всех их не перечесть — знаменитостей и незнаменитостей, освещающих наш вестибюль. Из прежней компании Щербины нам оставался Борис Соловьев, и особенно милый нам Ян Сашин с женскими красивыми глазами. Его друг, до скучноты порядочный Раскин, чувствовал к Наташе явное сердечное расположение.

Осип Черный, Антоновская, Михалков, Сергей Васильев, наконец Дмитрий Седых, тоже возлагающий на меня свои литературные надежды. Сережа Васильев часто приглашал меня в пивной бар, открытый на углу Страстной. Там тоже обсуждались литературные планы. О стихах говорили целый день, то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Многое еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Симонов поначалу мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.

Как-то с начала симоновских времен наш секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты длинные черные глаза и длинную шею, за которую мы невежливо прозвали ее змеищей, сделала мне подарок — билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела с довоенных лет. Заполночь, помню, вернувшись домой, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь:

— Я сейчас с Богом разговаривала, оставь меня! — Она махнула рукой и пошла спать.

Наутро я, помнится, пристала с рассказами к Наташке. Но она была не в настроении и отпустила несколько ехидных замечаний. Она вообще частенько подсмеивалась над нашим запойным бормотаньем стихов. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной. В первый раз, пожалуй, я видела тогда Пастернака близко.

Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он

разговаривал с залом, как с личным своим собеседником, и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливцы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.

До встречи в редакции "Нового мира" я видела Пастернака считанное число раз. Интересно: когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале "Смена", были приглашены роскошным грузином Гамсахурдия в его номер в Метрополе, я сбежала оттуда, услыхав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала, как девчонка, в сопровождении Павла Васильева и Смелякова. Те, конечно, галантно проводив меня до дому, вернулись в Метрополь.

Как-то раз, еще в бытность мою на литфаке, мой однокурсник Ника Холмин, с которым был у меня первый серьезный девический роман, затащил меня в Дом Герцена, в тот самый булгаковский Массолит, где толпа восторженных фанатиков ожидала молодого безумного Пастернака, еще наполненного страстями и разрывами "Сестры моей жизни", уже идущего "Поверх барьеров" литературных традиций. Должен он был читать тогда "Марбург", волосы были растрепаны, и как говорят, "цвета воронова крыла". На аплодисменты он недовольно мычал, как видно обеспокоенный чем-то за кулисами. Холмин обещал показать мне его вблизи, завел в коридор. Но прозвучал звонок, зовущий к окончанию антракта, и из того вечера мне осталось одно: в полутемном коридоре мимо меня прошел черноволосый возбужденный человек, видно только что оторвавший от себя чьи-то страстные женские руки, и сам растрепанный и страстный. Эхо мычащих поцелуев взахлеб, казалось, провожало его до сцены. Я унесла с собой в зал, куда утащил меня обратно Ника, эти странные звуки. Целовался, значит, с какой-то своей поклонницей, наверное, с той, с темными глазницами, что потом во втором ряду

сидела в шляпе с огромными полями. Мне впоследствии все отрицал: "Бог тебя накажет, Лелюша!...".

Потом, когда кончился тот вечер, толпа окружила Пастернака, платок его был разорван на клочья, раскрошены его папиросы.

Позднее, когда Б.Л., Эренбург и я возвращались в машине после бурного вечера в Политехническом, Илья Григорьевич сказал: "Дай Бог, Боря, чтобы этот скандальный успех прошел тебе даром".

* * *

Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком "Избранном". Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами. Вообще — нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова вошел в редакцию "Нового мира".

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрямца, мужчины, вождя. Сразу можно поверить — если целовал, — то "губ своих медью". Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, и вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.

Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате, на ковровой дорожке, появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.

В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посередине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии на свою позднюю наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю

жизнь безобразии.

Итак, всемогущая техника изменила и облегчила африканскую челюсть. Зубы, такие ни на чьи не похожие, потом — как это непривычно было! — подменились искусно и верно сделанным заграничным протезом.

Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим протезом — вроде всегда так было, и, может, чуть позируя перед собою и мной, он не один раз повторял: "Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!".

А сам между тем не верил, что поздно!

Но тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной четкой скульптурностью — причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно, не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами под летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.

Значит, внешность его, которая ему самому пришлась по вкусу, требовала лишь небольшой технической поправки. Стоило уменьшить челюсть, под медные губы древнего божества подселить совершенную американскую равнозубость — и вот он, Пастернак пятидесятых годов.

Но тогда...

В нашу комнату вошел Пастернак сорок шестого года.

А я стояла у окна — мы с Наташей собирались идти обедать.

Зинаида Николаевна, кокетливо выгибая руку для поцелуя, сказала:

— Я, Борис Леонидович, сейчас познакомлю вас с одной из горячих ваших поклонниц, — и что-то еще в этом духе.

И вот он возле моего столика у окна — тот самый щедрый человек на свете, кому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости.

Что за счастье участвовать в удивительных взлетах и падениях, от звездных садов до пищевода, по которому текут эти звезды, проглоченные соловьями всех любовных ночей!

Такое о нем уже говорили: приглашает звезды к столу, мир — на коврик возле кровати.

Мне нужды нет, что тогда говорили! Я это заново для себя говорю, рассказывая самой себе. Какое же счастье, ужас и сумятицу принес мне этот человек...

Пошел колкий и мелкий октябрьский снег. Я куталась в свою довоенную беличью шубу. В комнате было холодно.

Б.Л. наклонился над моей рукой и спросил — какие его книги у меня есть. А у меня был только один большой сборник, на котором рукой литературного критика еще щербининских времен Бориса Соловьева было написано: "Люсе от Бориса, но не любимого, не автора этой книги...".

Глупость какая! Но удивительно знал этот "не тот Борис" моего любимого, другого! Хотя Ника старательно меня просвещал в свое время и добился, что, не понимая поэтических формул, я проникалась их очарованием, Соловьев тоже сыграл свою роль, и хотя давно я разошлась с ним во вкусах и взглядах — вспоминаю об этом с благодарностью. Обладая феноменальной памятью, он читал наизусть сложнейшие пастернаковские вещи и восхищенно и доходчиво распутывал волшебные клубки метафор; потянешь за ниточку — и распутываются.

Итак, я ответила Борису Леонидовичу, что у меня есть всего лишь одна книга.

Он удивился:

— Ну я вам достану, хотя книги почти все розданы! Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побывать в старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать.

И, помню, слегка смущенно добавил: "Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы".

Не помню, что я ему отвечала. Но когда Наташа позвала меня обедать, я со злостью отозвалась:

— Перестань, пожалуйста, не видишь, что я занята!

— Ах, Боже мой, — сказала она ядовито и ушла обедать одна.

Б.Л. недолго пробыл в редакции. Он о чем-то говорил с З.Н.Пиддубной, поцеловал мне и ей руки и — ушел.

Предвиденье, безусловно, существует, и не просто обещанием каких-то больших перемен — я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога.

Это был такой требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который собственно уже был со мною. И это потрясающее чудо.

Вернулась я домой в страшном смятении.

А дома были мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца — Ивана Васильевича Емельянова, смерть моего второго мужа — Александра Петровича Виноградова на моих руках в больнице.

Было уже мамино неожиданное трехлетнее тюремное заключение (что-то кому-то сказала о Сталине). Было много увлечений и разочарований.

И все это теперь, вероятно, было нужно для того, чтобы ясней осознать единственно важное и непреложное на свете: вот пришел живым и реальным волшебник из далеких шестнадцати лет.

КАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ

В мои юные годы Пастернаком влюбленно увлекались мои сокурсники и современники. И первого Пастернака принес мне в дом Холмин. Не однажды бродила я по весенним дорогам, повторяя завораживающие слова, еще не полностью доходящие и объяснимые.

Полузакрыв синие глаза, встряхивая нарочито есенинскими, золотистыми волосами, Холмин читал мне стихи из сборников "Сестра моя жизнь" и "Поверх барьеров". Мне казалось — бредит чужим удивительным бредом! И осталось с тех пор в памяти поразившее трагическое признание странника в ночи:

Не тот это город и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Я тогда не смела сказать, что половины не понимаю, и как очарованная смотрела в рот Холмину. Но то, что звучали слова Бога, всесильного "Бога деталей", всесильного "Бога любви" — чутьем я поняла с тех пор.

Потом была первая поездка на юг, к моему первому морю. Холмин, провожая меня, сунул мне книжку пастернаковской прозы в виде лиловатой шершавой удлиненной школьной тетради. Это было "Детство Люверс". Лежа на верхней полке, я опять упорно искала ключи к необычному: как мужчина мог так проникнуть в тайный девичий мир?

Приехав в сочинский санаторий, я с этой удивительной книгой часто оставалась наедине.

Облака пастернаковской прозы
Плюс мечты у меня на столе...

писалось тогда в глупых девичьих стихах. Я и сейчас не понимаю, как еще девчонкой могла так желать погрузиться в омут этого неимоверно сложного новаторства. Так и тянуло.

С юности напичканная Гумилевым, тогда я отнесла к Пастернаку покорившую меня строку:

Высокое косноязычье тебе даруется, поэт...

Потом я убедилась, что очень сердился Борис Леонидович, когда его упрекали за мнимую невозможность расшифровать труднейшие поэтические иероглифы, относя их к "косноязычью".

Не почувствовать тайной их ясности и связи мог либо поэтически глухой, либо взнузданный литературными традициями, которому не по силам отпереть сво-

им ключом замкнутые на первый взгляд образы и метафоры. А не удалось отпереть — не взыщи и не пиши от бессилия клеветнических статеек.

Меня, как и многих других, завораживала неоткрытая, еще недоступная мне тайна неведомого. Конечно, разгадке поэтических образов часто мешала неподготовленность, именно та же приверженность к литературным традициям, но отгадка уже висела в воздухе: весна — через узелок с бельем "у выписавшегося из больницы". Налепленные на весенние ветви огарки — не обязательно было называть почками! И безгубый лист, вестовой осени, и свайная постройка сада, держащая небо пред собой... — все удивительно ясно!

Да, это было и шаманство, и чудо, и может быть именно великому поэту даруемое "косноязычье". Понималось, что за закрытой дверью лично тобой будет открыто еще непознанное, пока еще скрытое от тебя Богом. Руки еще робки и слабы, чтобы принять великие дары, но связь между Великим Дарителем и робко принимающим подарок — уже была.

В маленькой моей комнатке на Потаповском шла первая подготовка к восприятию прекрасных сложностей. Потом они распадались на удивительно точные и простые откровения...

...БОГ НЕПРИКАЯННЫЙ

Возвращаюсь к знаменательному для меня сорок шестому году.

На следующий день после встречи с богом в редакции я позднее обычного вернулась с заседания редколлегии в нашу общую красную комнату. Зинаида Николаевна, сидящая на своем секретарском стуле у входа, сказала:

— Здесь поклонник ваш приходил, посмотрите, что он вам принес.

На столе лежал сверток в газетной бумаге: пять небольших книжечек со стихами и переводами.

А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь и встреч с ним, и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: “Сегодня я занята”. Но почти ежедневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.

— Хотите, я подарю Вам эту площадь? Не хотите? — я хотела.

Однажды он позвонил в редакцию и сказал:

— Вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например соседей, что ли, мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером.

Пришлось дать ему телефон Ольги Николаевны Волковой, живущей в нашем подъезде этажом ниже. Раньше я никогда себе этого не позволяла.

И вот вечерами раздавался стук по трубам водяного отопления — я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольга Николаевна.

Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. С лукавинкой, будто невзначай, он повторял: “несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез...”.

А сейчас он, оказалось, переживает заново давнюю историю, когда пришлось ему подрабатывать репетитором у некоей мадемуазель В. Эта история запечатлена в “Охранной грамоте”. Чем-то я напоминала ему его первую любимую.

Это ее всю “от гребенок до ног” он “знал назубок” “как драму Шекспирову”. Она ему отказала. И ее отказ заставил моего любимого воскликнуть рыдая:

(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Родные В. побоялись неустроенности молодого поэта и вызвали этот отказ. Говорят — она умерла в нищете.

— Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь плакали обо мне. Но наша встреча не пройдет даром ни для вас, ни для меня. Придя домой, я написала Б.Л. стихи:

Я ресницы едва разлепила
Полузрячей от первого дня,
А она уж — тебя не любила
Разделяя тебя и меня...

Провода натянулись как струны
И опять над тобою и мной
Как гроза пронеслась твоя юность
Над неверящей в Бога страной...
и т.д.

Разговоры наши во время длинных прогулок через пол-Москвы были сумбурны и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было "выговариваться" и, едва я успевала придти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я, сломя голову, опять мчалась вниз к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед.

Вскоре мне в "Новый мир" позвонил незнакомый женский голос, молодой и милый. Это звонила по поручению Бориса Леонидовича Люся Попова. Вскоре она ко мне пришла домой. Миниатюрная белокурая куколка с лицом леонардовского ангела. Это была студентка актерского факультета Института театрального искусства, ставшая впоследствии художницей. В 44 г. после вечера в Политехническом музее она дождалась Пастернака у выхода и подошла к нему, чтобы познакомиться. Но так растерялась и так испугалась своей собственной смелости, что стала лепетать что-то совсем нечленораздельное. Б.Л. представил ей своего сына и с подбадривающей улыбкой (будто не она не может связать двух слов, а он) сказал: "Я устал и не сумею вам ни на что ответить, извините меня. Вот мой телефон, вы мне позвоните, мы встретимся и поговорим. Всего вам хорошего". И даже когда отошел, то обернулся и сказал: "Обязательно позвоните, лучше всего в среду...".

И вот впоследствии Люся рассказала историю своего звонка ко мне:

"Однажды я получила от Б.Л. открытку: приезжайте, писал он, мне очень нужно вас повидать.

Я приехала. У него было лицо именинника:

— Вы знаете, Люся, — сказал он сияя, — я полюбил.

— Что же теперь будет с вашей жизнью, Борис Леонидович? — сказала я, представив себе лицо Зинаиды Николаевны.

— Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? — отвечал он. — А она такая очаровательная, она такая светлая, она такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце, это так хорошо, так хорошо. Не думал, что я еще узнаю такую радость. Она работает в "Новом мире". Я очень хочу, чтобы вы ей позвонили и повидались с ней.

— Конечно, мы познакомимся, — отвечала я сияющему Борису Леонидовичу.

И я позвонила в "Новый мир".

"ЖИЗНЬ МОЯ, АНГЕЛ МОЙ..."

Наступил сорок седьмой год. Четвертого января я получила записку:

> "Еще раз от души всего лучшего. Пожелайте мне издали (задумайте) поскорее справиться с пересмотреть "Гамлета" и "Девятьсот пятого" и снова взяться за работу.
>
> Вы страшно славная, мне хочется, чтобы Вам было хорошо.
>
> Б.П."

Первая записка Бориса Леонидовича — летящие над строкой журавли — первый раз они прилетели ко мне... Но их крылья опахнули холодком: интуитивно ждала я чего-то большего, каких-то более теплых слов. Подозрительно: браться за работу... Как отклонение от меня, запрещение меня?..

За новогодним столом со мной были дети, мама, Дмитрий Иванович... И эта первая записка.

Между тем начались неурядицы в редакции. Отстаивая стихи возвращенного из лагеря Заболоцкого, я повела

себя смелее, чем можно было от меня ожидать. Кроме того, у меня был ряд столкновений с замом Симонова, Кривицким по поводу не состоявшейся "Литературной минутки", задуманной Симоновым рубрики журнала. Поэты-современники должны были вынуть из письменного стола написанные "в данный момент" стихи.

Б.Л. принес, помню, свое стихотворение "Зимняя ночь" ("Мело, мело по всей земле..."). Оно было написано после нашего с ним путешествия к Марии Вениаминовне Юдиной. Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской (она была лит. консультант "Нового мира") возмущались: Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал, и, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за "Зимнюю ночь". Тем не менее он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика вся распалась. Зато свеча из "Зимней ночи", умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода.

Мне пришлось пожаловаться Б.Л. на возникшие у меня в редакции трудности. Там поняли, что мои отношения с Б.Л. переросли рамки отношений сотрудника редакции с приходящим туда писателем. Кривицкий с кривыми усмешечками позволял себе замечания такого характера: "Интересно, чем кончится эта ваша интрижка с Пастернаком?". Он пытался ухаживать за мной, что было нормой его отношения и к другим женщинам редакции.

Когда я взволнованно и, быть может, с некоторыми преувеличениями рассказала Б.Л. о своих неприятностях, он с возмущением сказал мне: "Вам надо немедленно оттуда уйти, заботу о вас я возьму на себя".

Следующим днем он позвонил в редакцию и каким-то жалобным тоном проговорил: "Мне нужно немедленно сказать вам о двух очень важных вещах. Не могли бы вы сейчас подойти к Пушкину?"

Когда я пришла к памятнику, где мы обычно уже встречались, Б.Л. ходил там встревоженный.

И вдруг — каким-то совсем не обычным тоном:

— Не смотрите на меня сейчас. Я кратко выражу вам свою просьбу: я хочу, чтобы вы мне говорили "ты"; потому что "вы" — уже ложь.

— Я не смогу вам говорить "ты", Борис Леонидович, — взмолилась я, — это для меня невозможно, это еще страшно...

— Нет, нет, нет, вы привыкнете, ну пока вы не называйте меня, ну давай я скажу тебе "ты"...

Я, смущенная, вернулась в редакцию... Чувствовала: что-то очень важное должно было произойти еще сегодня... Именно сегодня!

Около девяти часов вечера на Потаповском раздался привычный стук в батарею...

— Я ведь не сказал второй вещи, тебе не сказал второй вещи, — взволнованно и глухо говорил Б.Л. — А ты не поинтересовалась, что я хотел сказать. Я должен сказать. Так вот первое — это было то, что мы должны быть на "ты", а второе, я люблю тебя, я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь. Завтра я в редакцию не приду, а подойду к твоему двору, ты спустишься ко мне и мы пойдем побродим по Москве.

Я вернулась домой и со всеми мучениями, со всей искренностью и беспощадностью к себе самой написала Б.Л. письмо. Точнее, это было не письмо, а исповедь — целая школьная тетрадка.

Я писала, что первый мой муж Емельянов из-за меня повесился; что я вышла замуж за его соперника и врага Виноградова; о Виноградове ходило много сплетен. Он казался обаятельным и широким человеком, но однако были люди, которые утверждали, что именно он написал на мою маму клеветнический донос, будто она в своей квартире "порочила вождя", и бедная мама три года провела в лагере, в самые голодные и страшные военные годы. А я оставалась с ним (ведь у нас был сын, да и к Ире он относился как к родной), и только смерть его положила конец этому ужасу*.

---

* Только после его смерти я поехала за мамой, без билета, под солдатской шинелью, на страшную станцию "Сухо-Безводное", отвезла ей донорский свой паек, и даже удалось мне вырвать ее оттуда. Дождалась актировки негодных и больных, тогда еще было такое, и привезла полуживую нелегально в Москву. Много было страшного. Смерти, самоубийства.

“Если вы, — я писала все-таки на ”вы", — были причиной слез, то я тоже была! И вот судите сами, что я могу ответить на ваше “люблю”, на самое большое счастье в моей жизни...".

На следующий день я спустилась вниз; Б.Л. уже ожидал меня возле бездействующего фонтана нашего двора. Здесь вмешался смешной эпизод. Мама из любопытства вышла к лестничному окну и свесилась из него так низко, что когда я спустилась к Б.Л., тот был удивлен и встревожен: “какая-то женщина чуть не выпала из окна”.

Свидание наше было кратким: Б.Л. не терпелось познакомиться с моей тетрадкой.

Уже в половине двенадцатого ночи я снова спустилась на стук в нижнюю квартиру. Встретили меня кислые слова Ольги Николаевны: “Люсенька, я, конечно, вот зову вас, но это уже поздно и Михаил Владимирович лег спать”.

Мне было очень неловко, но и сказать Б.Л., чтобы он так поздно не звонил, я не решалась. Голос его меня за все вознаградил: “Олюша, я люблю тебя; я сейчас вечерами стараюсь остаться один и все вижу, как ты сидишь в редакции, как там почему-то бегают мыши, как ты думаешь о своих детях. Ты прямо ножками прошла по моей судьбе. Эта тетрадка всегда со мной будет, но ты мне ее должна сохранить, потому что я не могу ее оставлять дома, ее могут там найти”.

И я хранила эту тетрадь-исповедь. Два года спустя она оказалась в руках следователя МГБ.

Так мы перешли с Б.Л. за рубеж, после которого все нам казалось недостаточным и оставалось только одно: соединиться. Но на этом пути стояли преграды, казалось, непреодолимые.

Это был период бесконечных объяснений, блужданий по темным московским улицам и переулкам. Не раз мы уходили друг от друга, чтобы больше не встретиться, но не встречаться не могли.

Я жила вместе с мамой, ее мужем Дмитрием Ивановичем Костко и двумя детьми от разных отцов. Ни одного из них давно уже не было на свете. У ребят моих из-за войны не было бы настоящего детства, если бы Дмитрий Иванович по-отцовски о них не заботился. И все-таки

сиротство дети ощущали, особенно старшая, Ирина.

Наступил день, когда перед моими детьми впервые предстал Борис Леонидович. Помню, как Ирочка, опираясь тоненькой ручонкой о стол, прочитала ему стихи. Неизвестно когда она успела выучить это трудное стихотворение:

Вы заняты вашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший летучим голландцем
Над трапом любого стиха.
Холщовая буря палаток
Раздулась гулящей Двиной
Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной.

И вы с прописями о нефти?
Теряясь и оторопев,
Я думаю о терапевте,
Который вернул бы вам гнев.

Я знаю, ваш путь неподделен.
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем этом пути?

Борис Леонидович смахнул слезу и поцеловал Иринку. “Какие у нее удивительные глаза! Ирочка, посмотри на меня! Ты так и просишься ко мне в роман!”.

Внешность Катеньки, дочери Лары из романа “Доктор Живаго” — это внешность моей дочери:

> “В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала”.

Но Бориса Леонидовича стала душить жалость к семье и раздвоенность — как быть. Он все снова и снова повторял мне, что входя в квартиру, где его ожидала стареющая женщина, он вдруг начинал видеть

в ней Красную Шапочку, затерянную в лесу, и приготовленные слова о разрыве застревали у него в горле. Кстати, он убеждал меня, что я вовсе не виновата в его равнодушии к жене, даже страхе перед ней, ее железным характером и голосом. "Она из семьи жандармского полковника", — вздыхая говорил Б.Л. Все это якобы началось задолго до знакомства со мной. Звучало все это достаточно несуразно. "Это судьба распорядилась так, — говорил он, — в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку — я любил на самом деле не ее, а Гаррика, (так он называл ее первого мужа — Генриха Густавовича Нейгауза), чья игра очаровала меня".

— А ведь он хотел даже убить меня, чудак, когда Зина ушла от него! Но потом зато очень был благодарен!

В этом — весь Б.Л. Может и в самом деле — поддался очарованию игры, и в этот момент блаженства почудилось ему, что вызвано такое состояние может быть только большою любовью обязательно к женщине.

И вот разбиты две семьи, он с трудом ушел от своей первой жены Евгении Владимировны и маленького сына, соединился с З.Н.Нейгауз. Говорит, что скоро понял ошибку. И "в этом аду" живет уже более десяти лет. Все это рассказывалось мне с таким надрывом, что не поверить ему было просто немыслимо. А я еще и хотела верить!

Третьего апреля сорок седьмого года до двенадцати ночи объяснялись мы в моей комнатке, переходя от восторгов к отчаянию.

Расставание было печальным: Б.Л. говорил, что он не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне всю жизнь он все равно будет.

Ночь была бессонной. Я поминутно выскакивала на балкон, прислушивалась к рассвету, смотрела, как гаснут фонари под молодыми тогда еще липами Потаповского переулка...

Это о них позже было написано:

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью...

А в шесть часов утра — звонок. За дверью — Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу...

Мы молча обнялись...

Была пятница четвертого апреля сорок седьмого года. Мама с мужем и детьми уехала на весь день в Покровское-Стрешнево.

И подобно тому, как у молодоженов бывает первая ночь, так у нас это был наш первый день. Я гладила его помятые брюки. Он был воодушевлен и восторжен победой. Поистине: "Есть браки таинственнее мужа и жены".

С какой прямотой, цельностью души и характера позже писал он и говорил:

> "Идеи "свободной любви", слова вроде "прав и запросов чувства" были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал "цветов удовольствия", не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ" ("Доктор Живаго", 1954).
>
> "Я не судья в делах морали и не являюсь борцом против разных ее форм. Меня тошнит во всех отношениях от философствования о "правах чувства", о "свободной любви" и разных видах человеческой близости..." (Из письма к Ренате Швейцер от 7.55.58).
>
> "Я против каких-либо правил — должна ли быть обязательно семья по домострою или свободная любовь — в каждом случае это по-разному. Не должно быть таких правил, жизнь сама решает, какой ей быть..." (из записи слов Б.Л. одной из его посетительниц 2.11.59).

И, наконец, давнее:

> "... одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего...какое-то совершеннейшее "я — это ты" связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль".

Утром этого счастливого дня Б.Л. сделал надпись на красной книжечке своих стихов:

"Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя.
4 апр. 1947 г."

Эта красная книжечка имеет свою историю. Во время моего первого ареста в 49 г. забрали все подаренные мне Борей книги. А когда следствие закончилось и "тройка" в образе молодого прыщавого лейтенанта вынесла мне приговор — Борю вызвали на Лубянку и отдали книги, принадлежащие мне; и он вырвал страницу с надписью. А другим утром, когда я вернулась из лагеря и мы снова были счастливы, и даже счастливее — я все-таки упрекнула Борю: как он мог? Теперь уже на оборотной стороне переплета его рукой было написано: "Я вырвал надпись, когда принес домой. Что тебе в ней?!".

Молча я прочитала это и ниже сделала свою надпись: "Нечего сказать, хорошо сделал: если бы не вырвал, эта книга была бы памятью о счастьи — а теперь — о несчастье, о катастрофе. Да!".

Тогда Боря взял принесенный с собой свой снимок, на обороте его слово в слово повторил надпись 47 года, приписав под этой же датой слова: "Надпись вечная и бессрочная. И только возрастающая". Но это написано уже в 53 году.

"И МАНИТ СТРАСТЬ К РАЗРЫВАМ"

Да, четвертое апреля 47 года! С него началось наше "Лето в городе". И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно.

Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади — и это увековечено в одном из стихотворений "Юрия Живаго":

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.

....

...Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный "недосып" на рассветах влюбленности нашей — и вот рождаются строчки о вековом недосыпе лип Чистопрудного бульвара. Б.Л. входит в мою комнатку в шесть утра... Он, конечно, не выспался — а значит, не выспался и бульвар, и дома, и фонари.

Как-то я заколола маминым черепаховым гребнем волосы вокруг головы, и родилась "женщина в шлеме", смотрящая в зеркало... "Я люблю эту голову вместе с косами всеми!".

Теперь нас, тех, прежних давно уже нет, но и гребень мамин в моих тогда густых волосах, и недоспавшие липы вошли в стихи и живут от нас отдельно — от меня, от Б.Л., от маленькой комнатенки на Потаповском.

В наших днях "под током" вперемежку с трагическими нотами было все-таки много забавного.

Однажды, в самые первые дни, получив возможность после долгого хождения по холодным улицам посидеть в тепле в моей маленькой комнатке (это было, кажется, вторым его визитом в семью) Б.Л. рванулся ко мне на диван со стула. Диван был такой старый, что сейчас же рухнул — подломилась ножка. Борис Леонидович с испугом отпрянул: — Это рок! Сама судьба, — сказал он взволнованно, — указывает мне на мое недостойное поведение!

В другой раз, много позже, когда мы особенно часто объяснялись и ссорились, тоже произошел эпизод, до сих пор заставляющий меня улыбаться. Борису Леонидовичу очень хотелось как-то досадить мне в отместку за какую-то сцену накануне. Я же хотела мириться, наставила в комнате много васильков в различных вазах.

— Это синюхи, — сказал Б.Л. сердито. — И вообще — сорняки.

Потом оказалось, что он не любит букетов в комнате, хотя сам часто посылал их знакомым дамам.

Б.Л. ненавидел семейные сцены. Видимо и за жизнь до меня вдосталь хлебнул их. Поэтому, когда я начинала какой-то более или менее серьезный разговор, он заранее настораживался. На мои справедливые упреки начинал гудеть;

— Нет, нет, Олюша! Это уже не мы с тобой! Это уже из плохого романа! Это уже не ты!

А я упрямо твердила:

— Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя!

Каждый оставался при своем.

Как много прекрасного портили пересуды близких. Без конца мне гудели в уши, что Б.Л. должен переменить свою жизнь, что если он меня любит, то пусть бросит свою семью и т.д.

Не хочу сказать ничего плохого о маме, но и она тут была очень виновата. То она устраивала какие-то глупые сцены Б.Л., например, звонила, что я заболела из-за него, когда у меня был простой грипп, то возмущалась его жестокосердием, когда он два или три дня не мог прийти.

"Я люблю вашу дочь больше жизни, Мария Николаевна, — говорил Б.Л. маме, — но не ожидайте, что внешне наша жизнь вдруг переменится".

Конечно, мамой руководило святое материнское чувство, ей хотелось для меня настоящего счастья, как она его понимала. Ей казалось, что не дело, когда он приходит ко мне как муж, а потом уходит и может два дня не приходить: ей, конечно, хотелось сразу благословить нас, но получалось, как у Чехова с портретом Лажечникова.

Я считала Борю больше, чем мужем. Он вошел в

мою жизнь, захватив все ее стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Так радовало меня его любовное, нежное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Иринке.

Мамино влияние на первых порах наших трагедий сказалось на Ирином отношении к Б.Л. Вначале она, глядя, как я то вешаю, то снимаю его портреты, поджимала губки и с презрением говорила: "Бессамолюбная ты, мамча!..."

С ее взрослением все переменилось. "Я понимаю тебя, мама", — наконец сказала она увидев, что я в очередной раз вешаю портрет Б.Л. обратно.

Кто-то из взрослых как-то сказал детям: "Ребята, вы смотрите, каждая минута, проведенная с классиком, должна быть для вас дорога!" И вот из этого казенного и такого строгого термина "классик", уважительного и почтительного, в устах Иры вдруг появилось милое, ласковое слово "классюша"...

Классюша стал для нее самым близким человеком на свете, она очень чутко ощущала и милые его смешные слабости, и величие, и щедрость.

Но тогда дело было не в детях.

Я тоже часто бывала не на высоте и испортила много хороших минут. Накручивания близких не проходили для меня бесследно, и нет-нет да предъявляла я Боре какие-то свои на него бабьи права. Больно и стыдно вспоминать глупые эти сцены. Вот что Боря писал мне, всласть находившись по улицам, и то ссорясь со мною в чужих парадных, то мирясь:

... Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

***

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

....

Но, как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит связь к разрывам.

“Нет, нет, все кончено, Олюша, — твердил Б.Л. при одной из попыток разрыва, — конечно, я люблю тебя, но я должен уйти, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей — (З.Н. тоже в это время, узнав обо мне, начала устаивать ему сцены) — Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя”.

Но мы, повторяю, были “провода под током” — разойтись было не в нашей власти.

Однажды тяжело заболел младший сын Б.Л. Леня. И З.Н. у постели больного сына вырвала у Б.Л. обещание больше не видеть меня. Тогда он попросил Люсю Попову сообщить мне об этом решении. Но она наотрез отказалась и сказала, что это он должен сделать сам.

Я, помню, больная лежала у Люси в доме на Фурмановом переулке. И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна. Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо. И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной, твердой женщиной, повторяющей мне, что ей наплевать на любовь нашу, что она не любит Б.Л., но семью разрушать не позволит.

После моего возвращения из больницы Боря явился как ни в чем не бывало и трогательно мирился с мамой, объясняя ей, как он любит меня. Мама к таким его штукам уже стала привыкать.

И еще одна попытка разрыва. Шел пятьдесят третий год. Близилось мое возвращение из лагеря. Как он тос-

ковал обо мне, как добивался моего освобождения, видно даже из трогательных открыток, написанных им в Потьму под именем мамы. Мне посчастливилось их оттуда вывезти.

Первый его инфаркт, можно считать, был вызван нашей разлукой; именем этой разлуки зазвучали лучшие стихи того периода:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома...

Ему снилось наше свидание, как несбывающееся чудо:

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги, —
За дверью ты стоишь...

И вдруг, когда судьба готовила нам чудо реального свидания, ему в это время представилось, что я уже не я, а он уже не он, а З.Н. выходила его от инфаркта, и личную жизнь нужно оставить, подменяя ее преданностью и благодарностью. И вот Б.Л. вызвал на Чистопрудный бульвар пятнадцатилетнюю Иру и дал ей весьма странное поручение. Девочка должна была передать своей матери, когда та вернется после почти четырехлетнего заключения в лагере, его слова: он любил меня, все было прекрасно, но теперь отношения наши могут измениться.

Жаль, что Ира не вела тогда никаких записей. И потому не сохранилась вся непосредственность, наивная прелесть и вместе с тем несомненная жестокость его слов.

Я знала его боязнь перемен в близком человеке. Он упорно не хотел повидаться со своей сестрой Лидией, которую помнил молоденькой красивой девушкой. "Какой будет ужас, — как-то сказал он мне, — когда перед нами окажется страшная старуха и совершенно чужой нам человек".

Я уверена — такой старухой он ожидал после лагеря увидеть и меня. Отсюда его деликатное поручение Ире, — мол, жизнь может и не сложиться по-прежнему.

И вдруг он увидел — я такая же. Ну, похудевшая

может быть. Моя любовь и близость к Б.Л. всегда меня как-то удивительно воскрешали.

Словом, разорванная разлукой, наша жизнь вдруг преподнесла ему нежданный подарок — и вот вновь превыше всего "живое чернокнижье" горячих рук и торжество двоих в мировой вакханалии.

Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе. А Ира о "поручении" на бульваре рассказала мне много лет спустя после смерти Б.Л....

Да, была "страсть к разрывам", необходимая ему, поэту, но всегда побеждала наша человеческая тяга друг к другу, словно мы не могли друг без друга дышать. Каждая встреча — первая, прижму его голову к себе, молча. Слушаю, как отчаянно бьется сердце. И так до последнего, рокового мая шестидесятого года. Состариться ему было во мне не дано.

Помню, когда я вернулась из лагеря после смерти Сталина, Б.Л. написал свою аллегорическую сказку, посвященную моему "плену" и освобождению. Если он изобразил меня там сказочной девой, которую обхватил дракон, то себя, может быть, он чувствовал рыцарем, бродящим бродами, и реками, и веками, и уж несомненно хотел представить себе, что из плена меня все-таки спасло его имя. "Хотя я тебя в это вовлек поневоле, Лялюша, но ты же сама говоришь, что "они" все-таки не посмели меня добить. Ведь по ихним понятиям что такое пять лет, если "они" отмеряют десятилетиями! И вот — наказали тобой, а Бог все поставил на место!"

Невозможно восстановить, что и как говорил мне Б.Л. в эти удивительные минуты. Он готов был "перевернуть мир", "целоваться мирами".

И так мне было радостно ощущать, что он думал обо мне как о части своей семьи, и я чувствовала, как материальная забота обо мне и моих вдохновляет и подымает его.

— Олюша, я ухожу от тебя только для работы, — часто повторял он, расставаясь со мной. И возвращался, если удастся творческий день, в мою комнату, как к заслуженному празднику — и мы были оба радостны, и, казалось, не было жизненных трудностей...

Но и вместе с тем напоминал, что мы не должны подталкивать жизнь, все само придет к нам, как пришла новомирская встреча.

— Ты мой подарок весенний, душа моя, как хорошо сделал Бог, что создал тебя девочкой...

— Олюшенька, пускай будет так всю жизнь — мы летим друг к другу, и нет ничего более необходимого, чем встретиться нам с тобой... и не нужно нам больше ничего — не надо ничего подсказывать, усложнять, кого-то обижать... Разве ты хотела бы быть на месте этой женщины? Мы годами уже не слышим друг друга... И, конечно, ее можно только пожалеть — она всю жизнь была глухою — голубь напрасно постучался к ней в окно... И теперь она злобится на то, что ко мне пришло настоящее — но так поздно!..

В эти минуты все наши ссоры уходили в небытие. Жаль, что мои бабьи бредни все-таки периодически возвращались. В то время, как я чувствовала себя счастливой избранницей, обыватели жалели и осуждали, и это было досадно... Хотелось, наверное, зависти и признания. Мама наконец оставила нас в покое.

НАША "ЛАВОЧКА"

Когда Боря настоял (в начале сорок восьмого года), чтобы я ушла из "Нового мира", он начал давать мне систематические "уроки" поэтического перевода.

Поскольку с детства я писала, любила стихи и чувствовала их, Б.Л. заявил мне, что "поезда национальных поэзий стоят на наших путях" и сесть в один из первых вагонов — в моих силах, я вполне вправе утвердить себя как переводчик-поэт.

Приученный к труду, которым волей Божьей стало для него собственное творчество и чудотворство, он очень ценил трудоспособность других на любом поприще. Был врагом всякого дилетанства и, может быть, потому занятия живописью своей первой жены

считал пустым препровождением времени, и ставил намного выше разумное, как ему казалось, талантливое хозяйствование З.Н., умеющей и любящей возиться с картошкой в огороде. Может быть потому он бросил свои занятия музыкой, поняв, что в ней не достигнет нужных самому высот, на что указала ему гениальная ошибка Скрябина, проигравшего юношеский этюд начинающего музыканта, семнадцатилетнего Пастернака.

Первое время нашего знакомства Б.Л. работал над Шандором Петефи. Стихи эти переводились так, будто писались заново:

Моя любовь не соловьиный скит,
Где с пеньем пробуждаются от сна,
Пока земля наполовину спит,
От поцелуев солнечных красна.

Моя любовь не тихий пруд лесной,
Где плещут отраженья лебедей,
И, выгибая шеи пред луной,
Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.
Моя любовь не сладость старшинства
В укромном доме средь густых ракит,
Где безмятежность, дому голова,
По-матерински радость-дочь растит.

Моя любовь — дремучий черный лес,
Где проходимцем ревность залегла
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола.

* * *

В окне раскрытом блещет ночь без края,
Ночь звездная, ночь светло-голубая.
Безмерный мир простерся между ставен,
Мой ангел красотою звездам равен.
....
Пора бы растянуться на кровати
И от окна уйти. Но сон некстати.
Зачем мне спать? Какой мне сон приснится,
Который с жизнью наяву сравнится?

И вот передо мной лежит томик Шандора Петефи

с Бориными журавлями:

"Слово "Петефи" было условным знаком в мае и июне 1947 года, а близкие переводы мои его лирики, это изображение мыслей и чувств к тебе и о тебе, приближенные к требованиям текста. На память обо всем этом. Б.П.

13 мая 1948 г."

А вот и снимок Б.Л. с надписью:

Петефи очень хорош своей изобразительной лирикой, картинками природы, но ты еще лучше. Я много занимался им в сорок седьмом и сорок восьмом годах, когда узнал тебя. Спасибо тебе за помощь. Я переводил вас обоих...

Эта надпись сделана в пятьдесят девятом году. Все наши годы заставали нас за обращением друг к другу в переводах чужих стихов.

Итак, Петефи был первым нашим объяснением в любви. С доверенностью Б.Л. на получение гонорара за это счастье я ходила как с векселем, по которому его получаю.

В маленькой комнатке на Потаповском, Б.Л. объяснял мне — что именно нужно уяснить себе как аксиому в технике переводов. Я начала пробовать. Смешно вспомнить: стихотворение в десять строк укладывалось у меня в сорок минимум.

Боря смеялся над такой отсебятиной и учил, как сохранять смысл, отбрасывая слова; как оголить идею и не гоняясь за красивостью, одеть ее в новые словесные одежды, кратко, как можно короче!

Нужно было как по лезвию бритвы лавировать на границе между художественным переводом и импровизацией на заданную тему.

Когда, по его мнению, я усвоила его уроки в достаточной мере, он повел меня в "Гослитиздат", где представил Александре Петровне Рябининой. Дали мне переводить Гафура Гуляма. Увы, его за меня фактически едва ли не весь перевел Б.Л., ибо я из каждой строки все-таки делала пять. В печати Гафур почему-то не появился.

23.5.42 Б.Л. писал редактору Анне Иосифовне Наумовой:

> "Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим..."

И в своих беседах со мной он часто отвергал распространенное современными переводчиками стремление передать подстрочник точно, это, по его мнению, в конечном итоге ведет к недопустимому затемнению смысла.

Чтобы передать оригинал более точно, отбрасывая лишнее, надо отойти от него подальше, взглянуть как бы со стороны. Чем дальше отойдешь — тем больше приблизишься. Чей-то афоризм — не помню, но Б.Л. проповедовал именно это.

Иногда, благословляя меня на новую работу, он давал письменные инструкции. Вот, например, одна из них:

1) Усиливать до полной ясности, как в прозе, содержание стихотворения, его тему.
2) Где можно, скреплять рифмами внутри, а не по концам, распадающуюся, неевропейскую форму.
3) Пользоваться свободными, неровными размерами, преимущественно трехдольными. Позволять себе пользование ассонансами.

Впоследствии возникло наше литературное содружество, названное нами "Нашей лавочкой". Ряд стихотворений начинал переводить Б.Л., а продолжала я, оставляя ему время для работы над романом. И я стала хорошо зарабатывать.

Вот надпись, сделанная Борисом Леонидовичем на автографе перевода (стихотворение Витезслава Незвала

“Зов времени”):

Старайся продолжать так же. Чередуй строчки с ударениями на конце со строчками с ударениями на предпоследнем слоге. Пользуйся только “смыслом” подстрочника, а не переноси в перевод полностью слов из него. Они вздорны, не всегда понятны и неподходящи. Переводи не все, а только посильную часть, но этою ценою добивайся “определенности” в переводе, большей, чем в оригинале, — требование обязательное при таком безалаберном, сумбурном содержании. Весь перевод, вместе с началом, будет новым, за твоею подписью.

Я работала с ним особенно счастливо во время нашего творческого лета пятьдесят шестого года. Б.Л. тогда занимался подготовкой большого поэтического однотомника и автобиографическим очерком для него, а я, что называется, “взахлеб” переводила Тагора. Деньги нужны были, и они добывались любимым трудом. Удачливым — что может быть лучше этого?

Помню, как тихими августовскими сумерками, едва успел Боря вступить на кузьмичевскую террасу, я ему прочитала предсмертное стихотворение Тагора “Бьют вдали часы”:

Бьют вдали часы, и я почти не слышу
Городского шума за стеной.
Солнце марта выбралось на крыши
Плоские — и вновь передо мной...

....

Зной звенит протяжной нотой полдня.
Все, что видел на дорогах я
Долгой жизни, — вспомнилось сегодня,
Видно, по законам бытия.
Жизни позабытые картины
Медленно прощаются со мной
В смертный час, когда над жизнью длинной
Бьют часы за городской стеной.

Считаю, что это было моим настоящим боевым крещением. Едва подавляя от умиления слезы, Б.Л.

говорил:

— Это, Олюша, от Бога у тебя! Очень хорошо, прекрасно. Ты — настоящий мастер.

Преувеличения в таком духе были характерны для Бориса Леонидовича.

И не поправил ни единой строки. В следующем году вышел седьмой том сочинений Рабиндраната Тагора, где мое имя — я была счастлива — чередовалось с его. Мы с ним запомнили это издание.

А в 58 году в однотомнике Галактиона Табидзе совсем без единой помарки были помещены тридцать два моих перевода. И среди них многие мои любимые строки:

Когда лесную парусину
Раздует ветер в паруса,
Всегда я слушаю: осины
Мне шелестят про чудеса...

И сказки их из давней дали,
Зовя меня опять назад,
Пьянят, как старый цинандали
И роз воскресших аромат.

О розах были песни петы
Давным-давно... Но где и кем?
Лишь свод волнуется из веток
На мимолетном ветерке.

Самой судьбы клонится парус
От тяжести ветров и бед.
Быть может, это близко старость
И нас с тобою вовсе нет?

(Это был тот же мотив, что прозвучал в "Свидании":

"Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?")

И еще:

Как отраженье и подобье
Великих дат,
Над белым облачным надгробьем
Пылал закат.

И без тебя, среди развалин,
Я, как бобыль,
Все брел, и ветры развевали
За мною пыль.

Вдруг — вижу очертанье моста
Из серебра.
Чтоб звездам подниматься просто
В ночь, до утра...

Не обошлось в работе "лавочки" и без анекдотов. Когда редакции начали признавать и принимать мои работы, и я с гордостью получала свои первые гонорары, Боря подсунул к нескольким моим переводам один свой, приписав при этом авторство работы мне. До чего же он по-мальчишески веселился, когда редакция забраковала и вернула мне для переделки именно его перевод!

В седьмом томе собрания сочинений Тагора ("Гослитиздат", 1957 г.) под переведенным целиком мною большим стихотворением "Единый голос" стоит имя Б.Л., а в восьмом исправлено: "читать не Пастернак, а Ивинская". На этом настаивал Б.Л., так как он действительно не исправил в "Едином голосе" ни единой строки, перевод же вышел, по его мнению, удачным, а его радовала всякая моя удача.

То же и в книге стихов Тициана Табидзе "Избранное" (Тбилиси, "Заря Востока", 1957); из шести моих стихотворных переводов один ("Стих о Мухранской долине") подписан Б.Л.. Он этим завоевал мне право участвовать в книге.

С этой книгой, кстати, связан один неприятный эпизод. Вот как о нем рассказывает тогдашняя сотрудница "Гослитиздата" Мария Ефремовна Стручкова:

"Наша редакция выпускала книгу Тициана Табид-

зе, в которой было много переводов Бориса Леонидовича и Ольги Всеволодовны. Вдова Тициана Нина Александровна очень хорошо к ним относилась. Однако когда книжка была уже готова, накануне отправки ее в производство, мне вдруг позвонил Борис Леонидович:

— Мария Ефремовна, я снимаю свои переводы. Я узнал, что Нина Александровна не хочет, чтобы шли переводы Ольги Всеволодовны. Если снимут хотя бы один ее перевод — меня совсем исключайте из книги.

— Борис Леонидович, — взмолилась я, — это же невозможно, ведь книжка совсем готова.

— Нет, нет, я вам говорю — Ольга Всеволодовна это все равно, что я, это душа моя, это моя вторая жизнь, и то, что говорит Ольга Всеволодовна — это говорят мои уста. Так что я очень вас прошу: если только тронут переводы Ольги Всеволодовны — снимайте и все мои переводы; я вам официально об этом заявляю, чтобы не было потом никаких недоразумений.

Почти сразу после окончания этого разговора в редакционную комнату вошла Нина Александровна Табидзе. Она сказала мне, что переводы О.В. ее не очень устраивают, и надо было бы их снять. (Как оказалось потом — здесь проявилось влияние Зинаиды Николаевны, с которой Н.А. в то время особенно подружилась).

А я под свежим впечатлением разговора с Б.Л. довольно эмоционально рассказала Нине Александровне о его решении. Н.А. страшно расстроилась, мы пошли к заведующему редакцией, и все, конечно, получилось так, как хотел Б.Л.".

Очень характерными для Б.Л. были наши профессиональные взаимоотношения. Он, признанный миром гениальный художник, относился ко мне, начинающему переводчику, как равный к равному в своей профессии.

Сохранилась его записка, приложенная не помню уже сейчас к какому тексту перевода:

"Дорогая Олюша, наверное в оригинале это както держалось и по случайности не проваливалось (как и у нас, у меня или Маяковского в молодости, когда эта вдохновенная чушь застревала в гуще языка, как упавшие бумажные змеи в деревьях, и не падала

откровенной бессмыслицей на землю). — Но в подстрочниках и в моих зарифмовках это риторика и безвкусица невообразимая, и прости, что этот несусветный бред я подсовываю под защиту твоего светлого литературного имени.

Какая белиберда, не правда ли?"

Меня надо было выводить на дорогу. Не желая спекулировать авторитетом своего имени, Б.Л. иногда прибегал к третьим лицам, представлявшим вместо него мои работы.

Так было со стихами Симона Чиковани, которые Б.Л. передал мне без ведома автора, а уже затем через третье лицо добивался их признания:

"Надо попросить Александру Петровну * лично написать Симону Чиковани. Пастернак с извинениями и сожалением отказался перевести стихотворения, так как писание романа не оставляет ему ни одной свободной минуты. Я дала перевести знакомой переводчице. Посылаю Вам сделанное. Я сличала с подстрочниками, и меня переводы ее удовлетворяют. Напишите, как Ваше мнение. Ведь дело не в именах участников, а в художественности их исполнения.

А.П. надо сказать:

Я посылала Б.Л. эти переводы по почте. Он в двух-трех местах тронул их, а в общем похвалил. Не надо упоминать о его прикосновенности к моей работе, даже в таком немногом".

Б.Л. был счастлив, отыскивая возможное сходство своих героинь — из Гете, Шекспира или Петефи — со мною, вероятно, воображая или додумывая меня. И классика становилась живым разговором. Началось это со

---

* Александра Петровна Рябинина — заведующая отделом национальных литератур "Гослитиздата".

времен работы над Фаустом, после моего освобождения:

> "Я опять говорю, Лелюша, губами Фауста, словами Фауста, обращениями к Маргарите — как ты бледна, моя краса, моя вина — это все тебе адресовано".

И впоследствии, когда вышел "Фауст" с гравюрами А.Гончарова, Боря надписал на моем экземпляре: "Олюша, выйди на минуту из книжки, сядь в стороне и прочти ее. 18.XI.53".

Позднее, в образе Марии Стюарт ему мерещился мой характер, потому делал он этот перевод с особым вдохновением и тщанием. К сожалению, здесь обнаружились свои подводные камни. Дело в том, что ко времени завершения Б.Л. работы над "Марией Стюарт", подобную же работу представил Н.Вильмонт (дальний родственник Б.Л. по линии жены брата). У меня сохранилась письменная "инструкция", написанная Б.Л., чтобы я в соответствии с ней могла говорить с Б.С.Вайсманом — редактором отдела иностранной литературы "Гослитиздата". Вот ее текст:

> 1) Пусть делает что хочет, я исполню все просьбы. Можно в корректуре.
>
> 2) Перевод Вильмонта не видал до сих пор в глаза. Сейчас бросил взгляд на начало (1-2 страницы). Гораздо лучше, чем думал. Не понимаю почему МХАТ его забраковал. Наверное, при общности подлинника и сходстве языка и манеры, есть совпадения в пер. Вильмонта и моем. Если их много, это позор и этого надо избегнуть, т.к. похоже на плагиат. Пусть Бор. Сав. возьмет на себя труд сличить, укажет на совпадения и я изменю совпадающие места.
>
> 3) Если разница качества переводов не очевидна, у моего нет преимуществ или они невелики, еще не поздно подумать: я смогу возместить "Гослитиздату" полученные 16 тыс. другими работами и откажусь от издания.
>
> 4) В моем переводе есть тенденция, от которой я не откажусь, сжимать ненужные длинноты подлинника, там где это возможно.

Удача с переводом “Марии Стюарт” общеизвестна. А триумфальный успех ее премьеры в МХАТе вдохновил Б.Л. на цикл стихотворений “Вакханалия”:

... Все в ней жизнь, все свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.

....

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.

....

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумье своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Да, все это — мы, все это — о нас...

Всегда, когда Б.Л. попадались подстрочники, отвечающие его собственным мыслям и чувствам, он преображался, и из-под руки его вырывались шедевры. Работал он с лихорадочной поспешностью. В таком порыве я запомнила Б.Л. в период перевода стихов Поля Верлена. Ведь стихотворение “Искусство поэзии” было творческим кредо и Бориса Леонидовича:

За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.

Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.

Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвезживает как попало.

Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.

Нет ничего острот коварней
И смеха ради шутовства:
Слезами плачет синева
От чесноку такой поварни.

Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не ты — куда зайдут они?

Кто смерит вред от их подрыва?
Какой глухой или дикарь
Всучил вам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?

Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоем стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.

Пускай он выболтает сдуру,
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.

"В своих стихах он умел подражать колоколам, — писал Б.Л. о Верлене, — уловил и закрепил запахи преобладающей флоры своей родины, с успехом передразнивал птиц и перебрал в своем творчестве все переливы тишины, внутренней и внешней, от зимнего звездного безмолвия до летнего оцепененья в жаркий солнечный полдень. Он как никто выразил долгую гложущую и неотпускающую боль утраченного обладанья, все равно, будь то утрата Бога, который был и которого не стало, или женщины, которая переменила свои мысли, или места, которое стало дороже жизни, и которое надо покинуть, или утрата покоя."

Были ли переводы истинным призванием Пастернака или были вызваны необходимостью бытия, невозможностью полностью уйти в свое творчество? В последнее время он часто повторял, что перевод стал распространенным видом литературной работы, потому что позволяет существовать за счет чужих мыслей. А это особенно важно, когда своих мыслей высказывать нельзя. И потом: "...переводить, как оказывается, не стоит, все научились", — писал он 25.5.50 близкому человеку.

В минуту раздражения — сказал: "Лучше быть талантивой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком...".

Как бы там ни было, именно перевод стал для Пастернака надолго основным источником существования.

Как-то принесли Б.Л. газету "Британский союзник". Во весь разворот было написано: "Пастернак мужественно молчит". Дальше в обширных статьях утверждалось, что если бы Шекспир писал по-русски, он писал бы именно так, как его переводит Пастернак; фамилия "Пастернак" чтима в Англии, где жил и умер отец Б.Л.; но как грустно, говорилось далее, что публикуются только переводы, что Пастернак пишет только для себя и узкого круга близких людей.

— Откуда они знают, что я молчу мужественно? — сказал Б.Л. грустно, прочитав газету. — Я молчу, потому что меня не печатают.

Но здесь мы выходим из тесного мира "нашей лавочки".

НАШЕ ХОЗЯЙСТВО

Боря всегда предпочитал не путаться в проблемах повседневного быта. И потом — он очень надеялся на Бога, который за него разберется в путанице между мной и хозяйкой "Большой дачи" и сам определит для него наиболее удобную форму жизни.

Но Бог бездействовал, а жизнь шла, и нам самим приходилось почти вслепую искать какие-то формы существования.

Я опять возвращаюсь к отдаленным временам: мое освобождение в 53 г., буйные наши радости, и наконец полное успокоение. Просто пришли к выводу, что жить будем вместе, в любой форме, как бы ни сложилась эта жизнь.

В пятьдесят четвертом году на все лето я отправила маму с детьми к тетке в Сухиничи. И была рада, что нет рядом Иры — стало трудно скрывать новую беременность. Как отнесется к этому Ирина, я не представляла.

Боря был категоричен: “Вот так и должно быть, это поставит все на свое место, столкнет всех лбом, и как-то сам по себе подскажется выход из положения; но как бы то ни было, неужели для нашего с тобой ребенка не найдется места на Земле?”.

В первое лето после моего освобождения я с трудом и радостью осознавала чудо возвращения в жизнь после почти четырехлетнего пребывания вне жизни. “Доктор Живаго” становился реальностью, а быт в это лето был для нас милостив, — но с осени, как это уже бывало и раньше, стало хуже.

В конце августа я поехала на пикапчике смотреть какую-то дачу. В машине меня растрясло, я очутилась в загородной одинцовской аптеке, откуда вызвали “скорую помощь”. По дороге в больницу у меня произошел выкидыш.

Казалось бы, это не должно было особо огорчить

близких: Ира, суда которой я особенно боялась, могла успокоиться, Б.Л. не собирался менять уклад жизни, ему нравилось жить от встречи до встречи, а ребенок явно осложнил бы или даже сломал этот уклад...

Но я ошибалась: все на меня рассердились, все обиделись. Ира горевала, что я не сумела сохранить ребенка; Боря плакал в ногах моей постели и повторял свою горькую фразу: "Неужели ты думаешь, что нашему ребенку не нашлось бы места на Земле? Как же мало ты в меня веришь".

Словно какая-то черная кошка пробежала между всеми нами и горечь неустроенности оставалась всю долгую зиму 53-54 гг. А весной я сделала снова невообразимую глупость: послушалась совета одной своей подружки и сняла дачу почему-то по Казанской дороге. Все еще больше усложнилось: дважды в неделю ездила на двух электричках к Боре, блуждающему в тоске по платформе.

На следующее лето я исправила свой промах: поехала в Переделкино и сняла для всей семьи на берегу Измалковского озера полдачи. Б.Л. надо было идти туда по длинному мостику, брошенному в четыре доски через озеро, положенное им "как блюдо" в стихи пятьдесят четвертого года.

Теперь уже не Джульетта и Маргарита, а Лара и Ева отжимали свои змеино-мокрые трико в этом озере, в котором потом я дважды умудрилась по-настоящему тонуть.

Случилось так, что комнаты отошли детям и маме, а мне досталась стеклянная терраса. Придя туда впервые, Боря в смущении остановился: "Ведь я просил тебя снять нам убежище, а ты сняла фонарь; сознайся, что это странно, Лелюша".

Надо было быстро исправлять ошибку...

Я поехала в Москву, купила красного с синим ситца и наглухо затянула им всю стеклянную террасу домика.

В стеклянной комнате установился стол, большая, тоже под ситцем, кровать. Это была полная иллюзия гнезда, но Б.Л. снова был недоволен: ему были нестерпимы стеклянные, крайне звукопроницаемые стены.

Лето 55 г. было грозовым, солнечным, жарким,

буйно цвел шиповник. Но, когда подошло к сентябрю, Боря загрустил: "Ты уедешь, а мне опять оставаться одному? Так не хочется жить только наездами в Москву! Как было бы хорошо, если бы все разъехались — а мы остались".

Я до весны с тобой останусь
Смотреть в бревенчатые стены.
Мы никого не водим за нос,
Мы будем гибнуть откровенно...

И я осталась. Решила наездами быть в Москве, а жить постоянно в Измалкове. Тогда не будет Б.Л. один блуждать по платформе в ожидании моего приезда, а дважды в день сможет приходить в нашу комнату.

Вначале я уговорила свою летнюю хозяйку Надежду Васильевну уступить мне половину дачи на всю зиму. Но неудобства были велики, и хозяйка сама посоветовала мне снять домик неподалеку. Там была зимняя, с плитой, изолированная комнатка. Муж Н.В. сам перенес туда мои вещи, голубой дачный столик, пишущую машинку, брезентовые стулья.

Поместилась я в половине дачи Сергея Кузьмича — так звали хозяина нового жилья. От него я только в 59 г. переехала на пригорок против шалмана "имени Фадеева", в помещение более вместительное, с собственным участком. Но лучшие годы — это кузьмичевский период. В маленькую комнатку там вела холодная терраса, служившая столовой летом и сенями зимой, участок Сергея Кузьмича был окружен огромными старыми тополями. А на соседних зелень безжалостно вырубалась, землю отводили под огороды.

Комната была крохотной, теплой, хотя сначала грязноватой. Весной мы сделали там ремонт.

Если и было в моей жизни то, что называют "подлинным счастьем", то оно пришло ко мне в пятьдесят шестом, пятьдесят восьмом, пятьдесят девятом, даже шестидесятом годах.

Это было счастье ежедневного общения с любимым, наших утренних свиданий, зимних вечеров, чтений, приемов милых для нас гостей — длился какой-то, как казалось мне, непреходящий праздник...

Б.Л. не хотелось больше ездить в Москву, и он все свои литературные дела передал в мои руки. Верстка, правка, переписка и, наконец, вся эпопея с "Доктором Живаго" — всем этим вершила я.

Теперь даже короткие наши разлуки, связанные с поездкой по делам, и мои редкие ночевки на Потаповском Боря воспринимал прямо как оскорбление.

Он добился, чтобы в квартире на Потаповском установили телефон, и всякий раз, когда я оставалась ночевать в городе, в девять часов звонил из Переделкина, рассказывал о своем дне и расспрашивал о моем. Детям в это время было запрещено вообще пользоваться телефоном. Каждый разговор наш начинался одной Бориной фразой: "Олюша, я люблю тебя! Не задерживайся завтра".

И всегда были жаркими, всегда были первыми мои возвращения из Москвы в комнатку Кузьмича, где все казалось нам таким уютным: голубой столик, дачные стульчики, закрытая красно-синей материей тахта, той же материей обтянутые стены. На окне — плотная и теплая широкая занавеска. На полу лежал красный пушистый коврик. Дверь на террасу (заменявшую мне холодильник) была с наружной стороны обита байкой. И в углу комнаты трещала маленькая, похожая на камин печка, на шнурке над столом качалась "огневая кожура абажура" — оранжевый тюльпанчик из твердого шелка.

Сергей Кузьмич прочно вошел в наше существование. И даже волею случая запечатлен на фотографии в "Пари-матч" рядом с Булатом Окуджавой и Наумом Коржавиным, сходящим с крыльца большой дачи после последнего прощания с Б.Л.

Но что забегать вперед. До Бориной смерти оставалось еще почти пять прекрасных лет нашей любви, прогулок, радостей и волнений, нашей совместной работы над переводами, его уроков, рассуждений, рассказов, встреч с общими друзьями.

По воскресеньям к нам съезжались мама, Ира, близкие и далекие друзья — так приятно было встречать их в своем доме.

Иногда эти дни превращались прямо-таки в литературные конференции.

Здесь же отмечались и наши "семейные"

торжества. Запомнился один из дней моего рождения. Были близкие, пришло несколько друзей. Редактор “Гослитиздата” Николай Васильевич Банников (позже сыгравший заметную роль в истории с романом) читал посвященное мне стихотворение:

В тесном круге, в своей семье,
Над хмельною праздничной чашей,
Позвольте назвать вас мадам Рекамье,
Княгиней Волконскою нашей.

Из золота чистого ваша душа,
И золото в косах струится.
Любая деревня при вас хороша.
Вы чудо в чудесной столице.

Читаю размах, не печаль, не тоску,
В бровях ваших дивном разлете,
Вы схватите лошадь на полном скаку,
В горящую избу войдете...

И рядом — смешное. Сразу после именинного обеда вышли мы с Банниковым прогуляться к озеру, а там паслась стреноженная лошадь. Несколько навеселе мы с Н.В. решили ее приласкать. И вдруг лошадь неожиданно вскинула задом, лягнула воздух, а мы в страхе повалились на землю. Помню, как все смеялись, а я над собой особенно: вот и надейся, что задержу на скаку лошадь!

Словом — была комната, был дом, был брошен якорь. Я часто корила себя — столько времени не догадаться так устроить нашу жизнь, наше совместное существование, совместную работу, независимо от всех и от всего, заставлять Борю мотаться в Москву...

Между тем росли наш “штат” и наше хозяйство.

В “штате” был Кузьмич (на должности истопника) и одна из соседок — Ольга Кузнецова (на должности домработницы). Ольга, пожилая богомольная женщина из семьи раскулаченных крестьян-середняков, хлебнула на своем веку горя и очень к нам с Борей привязалась.

Рассказ об этих счастливых годах будет явно не полон, если не вспомнить об одной из основных частей нашего хозяйства — животных.

Нет, ни крупного, ни мелкого рогатого скота мы не держали. Был у нас только "мелкий усатый скот". Однажды, когда Боря оставил на тахте свой пиджак, туда забралась кузьмичевская кошка Мурка и родила двух чудесных котят.

В это время мы перечитывали роман О'Генри "Короли и капуста" и Б.Л. окрестил котят "Динки" и "Пинки". Один из них за полгода вырос в голубого ангорского красавца. Б.Л. величал его "кошачьим принцем". Тогда кошки еще не угнетали его своим непомерным количеством. Кошачий принц был действительно хорош, особенно когда весь в снегу стоял во весь рост на наружной раме окна и просился в комнату; он врывался к нам через форточку — голубоватый, холодный, ласковый. Боря восхищался им, как восхищался всем красивым.

С Пинки связаны и некоторые забавные инциденты. Весной, например, он прикатил нам по тропинке, орудуя лапками и мордочкой, яйцо, украденное из соседнего курятника. Потом повторял этот "подвиг" не однажды. Б.Л. предложил оплачивать соседям его проделки. Мне же было страшно выдавать Пинки — вдруг убьют; лучше скрывать их. Но Пинки вскоре умер от чумки. Динке была суждена долгая жизнь.

Она любила блестящие вещи, срывала с елки игрушки и прятала их в свое гнездо. И Боря говорил про нее, что "это маленькая заколдованная женщина". Как-то, к великому огорчению Ольги, наша Динка, захватив в зубы мои золотые часики с браслетом, выскочила в форточку и была поймана с поличным.

— Они проститутки, Ольга Всеволодовна, — жаловалась мне Ольга. — Кто бы в дом, а они — из дому!

Из вежливости Ольга называла Динку на "вы".

— А не увидь я, на меня бы сказали, что пропали часы. — Ольга была безутешна.

Мы с Борей смеялись и уверяли ее, что никто бы на нее не подумал. И Боря по этому поводу завел длинный философский разговор на тему о том, что хорошо терять — и вещи, и рукописи, и никогда не следует жалеть о потерянном.

(Но я-то знала — как он жалеет о потерянных

письмах Цветаевой.)

На Рождество у нас была елка, занявшая почти весь мой рабочий стол. Мы хохотали, наблюдая, как Динка воровала блестящие шарики и тащила в свое гнездо. Было приятно сознавать: наша елка, наш стол, наш уклад, наше хозяйство...

Вообще-то еще с давних московских времен, в наши первые годы Б.Л. не очень-то нравилось мое пристрастие к кошкам. Как-то у меня на Потаповском пропал котенок, и я устроила целый бум как раз перед литературным вечером. А Боря должен был зайти за мной. И вдруг, поднимаясь на шестой этаж, встречает мальчишку с котом на руках.

— Ты куда это его тащишь? — спросил обеспокоенный Б.Л.

— В восемнадцатую квартиру, — отвечал малец, — там в подъезде висит объявление — сто рублей дадут, ежели кота принести!

— На, возьми сто пятьдесят, — сказал, доставая из бумажника деньги, Б.Л. — тащи его назад...

Но когда мы жили в Измалкове, с нашими зверями он с удовольствием мирился, пока их не сделалось слишком много.

Вспоминается забавный эпизод из последних лет. Гейнц Шеве (корреспондент западногерманской газеты “Ди Вельт” — о нем еще много придется говорить), наш частый в то время гость, навязал нам кошку, найденную в снегу баковского леса.

— Нехорошо одинокому коту в снегу, — трогательно твердил Гейнц, вылезая в промокших ботинках из оврага.

Ира и та была тронута, и я взяла кошку, проводила Иру и Гейнца в Москву и вернулась домой. Встретивший меня на пороге Боря возмущался:

— Я ему выскажу, — грозился он, — такой симпатичный человек, а кошку принес! Я ему в воскресенье скажу об этом прямо в лицо.

В воскресенье, как и надо ожидать, Б.Л. сказал:

— Очень хорошая кошка, сразу прижилась, — и т.д.

В другой раз я услышала, как он кого-то гонит с террасы.

— Как ты смеешь? — спросила я.

— Эта, Олюша, вообще уже неизвестно какого цвета! Черт знает какая. — Оказалось, это была соседская трехцветная кошка.

Нелюбимым котам Б.Л. давал имена нелюбимых людей. Так, в период разлада с директором управления авторских прав "Гришкой Хесиным" стал серый несуразный кот, не раз оскандаливший нас перед гостями своей неопрятностью.

Впрочем, глядя на любимую свою собаку, Б.Л. как-то сказал мне, что Тобик — вылитый портрет актера МХАТа Ершова... Не знаю, не помню Ершова.

ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ ОСЕНЬ

К весне я при помощи моей кузины Милицы Николаевны Готовицкой сделала в комнате ремонт, и в ней стало еще уютнее. Милка оклеила комнату голубыми обоями, по моей просьбе купила плотный гобеленовый материал для занавесок и покрышки на тахту. На голубой столик стала моя маленькая "Олимпия", легли папки, поместилась ваза для цветов, и вот тут-то возникла "Недотрога" — очевидно по поводу нового абажурчика, так изменившего комнату.

Помню вечер рождения этого стихотворения: я вернулась из издательства "Искусство"; дело шло об издании переводов Б.Л., я рассказывала о впечатлениях дня, а Б.Л. рассеянно слушал и что-то записывал, пристроившись на уголке стола. Потом прочел мне:

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся порыв, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край окна и стена,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

За беседой ты нижешь на шнур
Кучку с шеи скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Так зачем же глаза ты печалишь?

Да, все так и было: "наши тени и наши фигуры", неправдоподобно увеличенные на голубой стене, я — с ногами на тахте, Б.Л. на стуле у столика, развернутые листы с карандашными записями, даже темные ягоды старинных бабушкиных гранатов на моих коленях.

На книге переводов стихотворений Б.Л. периода 1956—1959 гг., изданной в Германии (издательство С.Фишера, 1960 г.), Боря написал:

"Олюша, на стр. 69 твое стихотворение.
17 февр. 1960 г."

Это была "Недотрога".

Итак, в крошечной кузьмичевской комнатке, в переделкинских зарослях около Сетуни, возле серебристых ив Измалковского пруда и плакучих берез нашей деревеньки родилось столько стихов, общее достояние и гордость.

Буквально на коленях, на разостланном под редкими ветками переделкинских кущ плаще, был написан "Хмель":

Под ракитой, обвитой плющем,
От ненастья мы ищем защиты.

Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющем перевиты, а хмелем.
Ну, так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.

Этот плащ, расстеленный "в ширину", служил нам верой и правдой еще до стабильной измалковской дачи. Под кладбищенскими кущами Боря писал:

Мирами правит жалость,
Любовью внушена.
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

И, бессонной ночью на большой даче, без меня:

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.
А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

Утром карандашная запись этого стихотворения была уже в кузьмичевской комнатке.

Большинство стихотворений из цикла "Когда разгуляется" создано между Измалковым и писательским городком.

Хорошо помню день, когда Б.Л. принес мне свой "Август". Суеверный, опасаясь моего суеверия, он тут же пытался оправдать свое явно преждевременное прощание с жизнью и успокоить меня.

— Пойми, — говорил он, — это сон. Это только

сон, и раз я его записал на бумаге — он не исполнится. Но как хорошо умереть в такое богоданное время, когда земля расплачивается с людьми сторицею, отдает все долги сполна, вознаграждает нас с неслыханной щедростью. Небо полностью синее, до отказа, вода с готовностью отражает и опрокидывает неслыханно раскрашенные рябины. Земля все отдала и готова к передышке...

Б.Л. читал впервые "Август" со слезами в горле. А потом некоторые строфы остались, помню, за бортом. Вот, например, одна из них:

Прощай совет и помощь женщины;
Подруг, приятельниц, товарок.
Неоцененный, преуменьшенный
Судьбы участливой подарок...

Работа Б.Л. над автобиографическим вступлением к однотомнику "Гослитиздата" была для него особенно знаменательной: начались экскурсы во времена "Охранной грамоты", во времена молодости Маяковского и Пастернака.

В связи с этим Б.Л. решил пересмотреть старые стихи и начал ссориться со мной и составителем сборника Н.В.Банниковым. Последний в это лето жил с нами по соседству в Измалкове.

— Господи, за что вы держитесь! — возмущался Б.Л., когда мы ему в два голоса кричали, что он не смеет уродовать старые, известные всем вещи.

Но упрямец снял уже "обугленные груши грачей" и добирался до "Марбурга". Мы эту "правку" не приняли.

Зато благодаря автобиографическому очерку Б.Л. словно заново переживал встречи с Табидзе и Яшвили, возвращался к гробу Маяковского.

Вернувшись оттуда, он сел за столик и написал полемическое стихотворение. А потом, подумав, сказал: "Нет, такие стихи писать нельзя. Нельзя давать себе волю. Не должен поэт скатываться к такой публицистике. Дело поэзии касаться всего и вся лишь исподволь, только тогда она пройдет испытание временем".

Вероятно, поэтому в последние годы Б.Л. были так дороги Тютчев и Фет, несоизмеримо дороже, чем Некрасов и Маяковский.

Черной ночью, по лужам или белому насту, с перекрестным светом двух электрических фонариков в руках, мы выходили из теплой конуры, шли мимо измалковских огородов или по мостику, из-под которого плескалась вода; летом слушали лягушачьи "концерты", а зимой, оставляя неровные следы, ходили вдоль и поперек по заснеженному льду озера.

Ходили мы в Измалкове и под дождем, и метелью — участники всех времен года, согласные, нашедшие в жизни друг друга, и дрожащие только за то, чтобы удержать, сохранить этот уклад, чтобы ничто и никто не могли его прервать. "Только бы всегда так было", — не уставал повторять мне Б.Л.

В эти последние годы самым близким ему поэтом стал Тютчев, не только своей поэзией, но и схожестью личной (интимной, что ли) судьбы.

Тоже с комком в горле прочел он как-то:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги!
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею...
Улетел последний отблеск дня...
Вон тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?..

— Он тоже, как я, полюбил поздно, — сказал мне Б.Л., — Когда тебя взяли от меня, тогда, давно — я не мог читать эти строчки без слез. Я их читал Люсе Поповой.

А когда он повторял строфу блоковской "Музы" —

... *И когда ты смеешься над верой,*
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг, —

голос дрожал, и слезы его душили.

И вместе с тем в этот период Б.Л. часто возвращался к Пушкину, восторгался им и восхищался гениальной точностью и весельем пушкинской фразы.

Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник... —

вот как надо писать! — говорил мне Б.Л. на дороге, под снежными поникшими ветками, когда зимний мир нашего переделкинского затишья напоминал его четверостишие "о спящей царевне в гробу". Белой мглой завеянные холмы и белые деревья — и новое виденье пастернаковской зимы уже пятьдесят седьмого года — упавшей на землю "белой женщиной мертвой из гипса".

Сейчас к нашему последнему приюту ведет удобная лестница. А Б.Л. взбирался туда по узловатым корням, по капризной обледеневшей тропке, неудобно стремящейся вверх. А напротив бушевало измалковское общество у еще существующего "шалмана". В Москву и обратно шмыгали мимо нас машины.

ЧУДАК

Под "чудаками", очевидно, понимают людей, выбитых из наезженной колеи расхожих правил и идущих своей, непонятной современникам дорогой. На взгляд нормального здравомыслящего обывателя Б.Л., несомненно, и был одним из таких чудаков. Здравомыслящих — тех, кто объявлял, говоря словами Марины Цветаевой, "сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные", было много. О чудачествах Б.Л. можно написать целую книгу. Но вот — лишь несколько случайных штрихов...

Когда кто-то относился к Б.Л. недоброжелательно, он мстил обидчику наивно, по-детски. Так он невзлюбил почему-то Луконина, который стал хозяйничать в стихотворном хозяйстве редакции Симонова. Я еще работала в "Новом мире", когда Луконин понадобился Б.Л. по каким-то литературным делам. Слышала, как он вызывал по телефону Лутохина. "Такого нет", — отвечал случайный человек, сидевший на месте З.Н.

— Ах, нет? Ну тогда Лутошкина! Нет? Ну тогда Лукошкина!

Этим, вероятно, он хотел показать Луконину неуважение и недоброжелательность. Про Симонова говорил мне: "Он еще лучший из этих архаровцев!".

Юмор у Б.Л. отличался своеобразностью. Он считал, например, очень смешным назвать гладиолус гладиолухом, и при этом сам громко и заразительно хохотал так, что, глядя на него, все начинали смеяться.

Пелагея Васильевна Балашова, уже старая женщина, бывшая в двадцатые годы председателем партколлегии Московского горкома партии рассказала (6.10.67) об одном случае, происшедшем на пороге тридцатых годов. Пришла к ней очень интеллигентная молодая женщина "по бытовому вопросу". Она жаловалась на мужа-писателя, который уходит от нее с сыном к другой женщине.

Предупредила, что хотя муж и беспартийный, но за него, по-видимому, заступится Луначарский. Просила воздействовать на мужа. А этим мужем оказался Пастернак.

И вот П.Балашова решает этого "беспартийного мужа" вызвать на серьезный разговор в присутственное место. К ее удивлению, он приходит незамедлительно, спокойно выслушивает ее увещевания и деловито спрашивает — что ему надлежит делать.

Не встретив никакого сопротивления, Балашова предлагает ему написать письменное обещание исправиться. Он охотно берет перо, под ее диктовку неторопливо пишет это "обязательство", прощается и уходит...

Не думаю, чтобы старая женщина могла все это придумать.

Но если бы даже эпизод оказался легендой — как похожа она на человека, о котором рассказана. Ведь это так для него характерно — твердо стоя на своем, не спорить, не доказывать свою правоту (особенно — когда она очевидна), спокойно поддакивать даже брани, ему адресованной. С презрением относиться к тем, кто "всегда прав".

Уже позже, в романе "Доктор Живаго", он говорил устами своего героя: "Я не люблю правых, не падавших, не оступившихся. Красота жизни не открывалась им".

Люся Попова вспоминает о двух любопытных эпи-

зодах:

“Мы сидели у Б.Л. на даче и пили чай. Сахара почему-то не было, Б.Л. мазал черный хлеб горчицей и запивал этот бутерброд чаем.

Постучался нищий. Борис Леонидович вытряхнул ему всю имеющуюся у него мелочь, но, так как сам счел это недостаточным, — до того начал суетиться, что нищий явно застеснялся и заторопился уйти. Но Б.Л. его не отпускал:

— Вы извините, в доме ничего нет, — все оправдывался он. — Поехали за провизией; вы приходите завтра, и вот завтра все привезут, и я вам что-нибудь дам; а сейчас даже денег нету...

Нищий рвался в дверь, которую загораживал ему Борис Леонидович. Наконец, он прошмыгнул в нее и, напутствуемый громовым “так вы завтра непременно заходите” Бориса Леонидовича — буквально бежал.

А Б.Л. еще долго сам себя перебивал возгласами:

— Как неудачно, как неудобно: пришел человек, а ему совершенно нечего дать...".

А вот второй эпизод:

“Борис Леонидович рассказал мне, что на каком-то вечере к нему подошел неизвестный — высокий, хорошо одетый человек, и представился.

— Я понял, — гудел Б.Л., — что это Вышинский. И вдруг он стал говорить о том, как меня любят и ценят в эмиграции, какую радость я доставляю оторванным от родины людям. Я удивился — с какой, думаю, стати Вышинский так заботится об эмигрантах. И спросил у него совета по своим квартирным делам. Тут уж удивился Вышинский. А потом мне сказали, что это вовсе не Вышинский, а недавно вернувшийся из эмиграции Александр Вертинский...

Позднее Александр Николаевич мне рассказывал*:

— Был я на Пасху у Пастернака. Он такой оторванный от жизни, все витает в небе, ему надо было бы быть поближе к земле...

---

* Люся Попова была близко знакома с Вертинским.

А потом, когда я спросила об этом визите Вертинского у Бориса Леонидовича, он как-то смущенно загудел:

— Да, вы знаете, он действительно приходил и читал свои стихи. А я ему сказал: "да бросьте вы этим заниматься, это не искусство". И он, по-моему, обиделся. Ему бы прийти пораньше, а то мы уже успели выпить...

— Так не надо же, Борис Леонидович, читать его тексты, — сказала я, — его слушать надо; и "бросать этим заниматься" ему ни в коем случае не следует; ведь Вертинский есть Вертинский — он один такой на всю Россию.

— Да, вы знаете, может быть, я и напрасно его обидел. Сам он об этом ничего не сказал. Но, похоже, — обиделся.

А и впрямь он обиделся."

Уже после смерти Бориса Леонидовича писатель Александр Раскин рассказал, что ограбили одну из переделкинских дач по соседству с Пастернаками, и обеспокоенные домашние потребовали, чтобы Б.Л. предпринял какие-то защитные меры.

Он взял конверт и крупно написал: "Ворам". В конверт положил деньги и записку:

Уважаемые воры!

В этот конверт я положил 600 рублей. Это все, что у меня сейчас есть. Не трудитесь искать деньги. В доме ничего больше нет. Берите и уходите. Так и вам, и нам будет спокойнее. Деньги можете не пересчитывать.

Борис Пастернак.

О дальнейших событиях — словами А.Раскина.

"Конверт был положен на подзеркальник в передней. Шли дни. Воры не приходили. И потихоньку жена Бориса Леонидовича стала брать деньги на хозяйство из этого конверта. Так сказать, заимообразно. Возьмет и положит обратно. Возьмет и ... Но тут Борис Леонидович надумал проверить конверт и обнаружил недостачу. Он вышел из себя.

— Как, — кричал он, — вы берете деньги моих

воров!? Вы грабите моих воров? А что если они сегодня придут? В каком я буду положении перед ними? Что я скажу моим ворам? Что их обокрали?

В общем, перепуганная семья быстро собрала недостающую сумму, и шестьсот рублей (старыми деньгами) еще долго пролежали в конверте, так и не дождавшись "уважаемых воров".

В последний год, когда мы жили против "фадеевского шалмана", наша соседка, сторожиха Маруся, в обществе своего веселого дяди неопределенных занятий, усиленно гнала самогон. Впрочем, этим занималось большинство измалковских крестьян. После нескольких смертных случаев, зарегистрированных от паралича, Маруся попросила, опасаясь обыска, поставить трехлитровую банку с первачом в наш подвал. Люк в него находился в нашей комнате.

Борис Леонидович не только согласился, но и страшно обрадовался:

— Очень хорошо, Олюша, мы теперь с ними крепко связаны, они знают, что мы посвящены в их преступления и сами являются соучастниками наших!

Под "нашими преступлениями" подразумевались запрещенные встречи с иностранцами и наши разговоры о романе, уже широко шагавшем по свету. Друзья предупреждали нас о вставленном в стенку магнитофоне. Именно перед этим магнитофоном Б.Л. имел обыкновение иронически раскланиваться и приветствовать его. Мы настолько привыкли к существованию этой невидимки, что она поневоле становилась как бы явным нашим собеседником, и ласково называл ее Б.Л. "магнитофошей".

Как-то в том же последнем году жизни Б.Л. нам сообщили о том, что его хотят посетить две русские, но давно живущие за рубежом дамы, пребывающие сейчас в Москве в амплуа не то туристок, не то корреспондентов крупных газетных концернов. Одна из этих дам была дочь военного министра Временного правительства Гучкова-Трейль, вторая — не менее знаменитая Мария Игнатьевна Закревская (она же — графиня Бенкендорф, она же — баронесса Будберг).

Предполагавшийся визит Марии Игнатьевны Закревской особенно взволновал Б.Л.. Это была женщина

удивительной, авантюрной судьбы, очень близкая Максиму Горькому, официальная вдова Герберта Уэллса.

Анастасия Цветаева, гостившая у Горького на Капри, писала о Закревской:

“Высокая, статная, тонкая, с, пожалуй, круглым (но не полным) лицом, с огромным, властным, умным лбом, с большими черными глазами. Темные волосы зачесаны гладко назад.

Прекрасно воспитанная, светская женщина... Великолепно зная языки, она переводила на английский Горького (кажется, и “Детство Люверс” Пастернака)."

Боря назначил дамам день торжественного завтрака в квартире на Потаповском. И начал бурную подготовку к этому приему.

Приехав в семь утра из Переделкина на Лаврушинский, Б.Л. вызвал к себе парикмахера и начал звонить на Потаповский.

Ира спала у телефона. В восемь утра Б.Л. разбудил ее и позвал меня. Спросил озабоченно:

— Скажи, Олюша, у нас есть Уэллс?

— Есть. Двухтомник.

— Разверни и положи его на видном месте.

В половине десятого второй звонок:

— А Горький есть? Ты раскрой его небрежно. Там посвящение есть Закревской!

Когда в одиннадцатом часу прозвучал третий звонок, невыспавшаяся Ира слезливо мне закричала:

— Мамча! У нее биография длинная, не отходи ты от телефона. Классюша еще десять раз будет звонить.

Но на международном авантюристе, кажется, первом любовнике Марии Игнатьевны, дело кончилось: его мемуаров у нас не оказалось.

Для приема была еще большая банка паюсной икры. Я хотела, чтобы банка целиком стояла на столе, в то время как Б.Л. что-то говорил о маленьких розеточках. Очень скоро он убедился в моей безусловной правоте.

Приехал Б.Л., подстриженный и приодетый, а за ним и гости.

Хотя наш лифт благополучно работал, дамы почему-то предпочли на наш шестой (дохрущевский) этаж подниматься пешком. Молодая дошла легко, а вот баронессе было хуже.

Большая, грузная, полная, она никак не могла отдышаться, и, не давая Боре снять с себя шубу, что-то упорно нашаривала в своих бездонных карманах. Подарок Боре: большой, старомодный галстук — по-видимому, из наследства Уэллса. Но поиски продолжались. Они увенчались извлечением еще одного галстука для Б.Л. и подарка для меня — пары больших золотистых клипс.

Наконец, гости отдышались, разоблачились, и Б.Л., рассыпавшись в благодарностях за подарки, пригласил их в столовую, где уже был сервирован для завтрака стол.

Дамы сказали, что главная цель их визита, — интервью у Пастернака. Решено было его вести во время завтрака.

Боря был чрезвычайно любезен, галантен, говорил об Уэллсе, Горьком, вообще о литературе.

Баронесса, не обратив ни малейшего внимания на "гвоздь" усилий Б.Л. — книги Горького и Уэллса, с лихвой воздавала должное паюсной икре. Где-то между этим делом и потоками Бориного красноречия, дамы задавали какие-то, как нам казалось, совершенно нелепые вопросы. Например, "Какое варенье вы любите?", или "Галстуки каких расцветок вы предпочитаете носить?"

Б.Л. воспринимал эти вопросы как явно шуточные, отвечал смехом, пытался перевести разговор на более серьезные, главным образом литературные темы.

Когда наши гостьи ушли, я робко предположила, что вопросы задавались всерьез. Боря замахал руками и высмеял меня, не уловившую по невежеству европейский юмор разговора.

Как он был сконфужен, когда спустя примерно месяц прибыли английские и американские газеты! В них сообщалось, что лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак предпочитает клубничное варенье, носит пестрые галстуки и не прикасается к черной икре.

О рассеянности Бориса Леонидовича ходят легенды.

Например, 29.3.50 он писал близкому человеку: "Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтов. отделении я сдавал еще другие отправления и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень

возможно, что оно пропало там среди клочков оберточной бумаги, где-ниб. в корзине и не пошло к тебе".

Из другого письма тому же адресату: "Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи, — ты оставь без внимания то письмо".

Нет, это не была традиционная "профессорская" рассеянность. Скорее — самоуглубленность, без которой немыслим творец (художник или ученый — безразлично) такого масштаба, как Борис Леонидович.

Очень меткое сделала наблюдение Ася Цветаева, когда Б.Л. встречал ее, после Капри, в Москве: "Смотрит, глядя на человека, мимо него (через него, может быть). Поглощен не им — чем-то своим (и его в это свое вглатывая. Но можно в это "его" — и не попасть, за целый разговор)".

В 1935 г. после Парижского конгресса произошло (вернее, не произошло) событие, воспоминание, мучившее Б.Л. буквально до последних дней его жизни.

В Германии, в Мюнхене, жили его родители. Не виделся он с ними уже 12 лет (после своего отъезда из Берлина, куда семья выехала в 1921 г.). Родители надеялись, что на обратном пути из Парижа Б.Л., конечно, заедет к ним в Мюнхен.

— Но я не поехал из глупого самолюбия, — оправдывался потом Б.Л., — мне не хотелось, чтобы они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии... Я думал встретиться с ними на обратном пути, но назад я возвращался через Англию. В Берлин, правда, к приходу моего поезда приезжала сестра, но отца с матерью я так больше никогда и не видел.

Марина Цветаева в конце октября 1935 г. писала Б.Л.:

"... Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь) (...).

... Но — теперь ваше оправдание — только "та-

кие" создают "такое". Ваш был Гете, не пошедший проститься с Шиллером и 10 лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста — или еще чего-то, но (скобка!) — в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться — здесь уже "сердца" (физического!) не бережа. Ибо в этом вы — растратчики... Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) (...) лечитесь самым простым — любовью (...)".

Позднее (25.5.50) Б.Л. как бы отвечая на это письмо писал дочери Марины — Ариадне: "... проезжая на антифашистский съезд... я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались... этого много у меня в жизни, но, клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!".

В связи с этим интересны отношения Б.Л. к своим сестрам. Младшая из них — Лидия Леонидовна — писала брату, мне и Ире хорошие письма. Мы систематически обменивались фотографиями детей — у нее двое мальчиков и две дочери. Наш приятель и Ирин жених Жорж Нива был вхож в ее дом в Оксфорде. Он рассказывал о множестве портретов Б.Л. и Иринки, висящих в комнатах и вообще о "культе" Пастернака, который у них установился...

После гастролей МХАТа в Лондоне актриса Зуева (ей посвящено стихотворение "Актриса") привезла Б.Л. большое письмо от сестер.

В дальнейшей переписке велась речь о желании Лиды приехать в Москву. Но, давая своему издателю в Милане указания о переводе ей (а также и второй сестре — Жозефине) крупных денежных сумм, Боря все же боялся встречи.

Лишь после того, как, узнав о его тяжелой болезни, Лидия снова написала о своем желании приехать — Боря вдруг загорелся этой идеей и поощрил ее на поездку.

Дежурившие у его постели медсестры рассказывали, что он говорил: "Приедет Лида — она все устроит".

Смысл этих слов был ясен — ему казалось, что Лида хорошо относится к нам, его второй семье, не должна иметь пристрастий к первой и сумеет "примирить" меня с Зинаидой Николаевной. А ему этого очень хотелось.

Пока тянулись формальности с визой — произошло непоправимое. Кроме того, Лидия не решилась лететь. Поэтому она приехала в Москву только на третий день после Бориных похорон.

Она позвонила мне, мы условились встретиться на следующий день в Переделкине, на кладбище.

Я поехала туда с Ирой. Еще издали мы узнали ее: чем-то очень похожая на Борю, пожилая усталая женщина.

Часть вторая

ПОЭТ И ЦАРЬ

И Сталин в землю лег, и Пастернак,
Поэт и царь, тиран и Божий дух...

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

Пастернак и Сталин как бы — имена-антиподы.

В конце сороковых годов подвергался преследованиям тогда еще молодой поэт Наум Мандель (Коржавин), которому принадлежали строки:

И там в Кремле, в пучине мрака
Хотел понять двадцатый век
Суровый, жесткий человек,
Не понимавший Пастернака...

Когда в разгар травли конца 58 г. кто-то успокаивал Б.Л. тем, что, благо, уже не сталинские времена, иначе "из доктора Живаго получился бы доктор Мертваго" (недвусмысленно намекая на то, что при Сталине история с романом окончилась бы гибелью автора), Б.Л. отвечал: "А, может быть, и нет".

Действительно, трудно угадать, как реагировал бы на роман Сталин. Можно, однако, утверждать, что "не понимавший Пастернака" пытался временами его понять. И, быть может, только поэтому Б.Л. уцелел в годы массового уничтожения интеллигенции, когда погибали даже такие заведомые апологеты сталинизма, как Михаил Кольцов или Сергей Третьяков.

За четырнадцать лет нашей близости Б.Л. много раз по различным поводам говорил и писал о Сталине. В его рассуждениях было много противоречий, отражений текущих событий на прошлое, субъективности. Особенно часто к этой теме он обращался в 1956 г., после вызова в Верховную прокуратуру по поводу посмертной реабилитации В.Э.Мейерхольда. Характеризуя политические взгляды Мейерхольда, Б.Л. написал тогда, что В.Э. был всегда более советским человеком, чем он, Пастернак.

И, конечно, тема Сталина возникла вновь в дни травли, во времена Нобелевской премии.

С тех пор прошло много лет; новые тяжелые события наложили свой отпечаток на воспоминания тех лет. Я попытаюсь написать о главном, прибегая к памяти Пастернака и близких ему людей.

У ВОЖДЯ

Личная встреча Пастернака, Есенина и Маяковского со Сталиным состоялась, по-видимому, в конце 24 или начале 25 года*. Б.Л. рассказывал мне об этой беседе неоднократно, но спустя двадцать с лишним лет. Поэтому остался лишь самый общий смысл и впечатления, а на них не могли не сказаться наслоения последующих лет и событий.

Вспоминая об этой встрече, Б.Л. рисовал Сталина как самого страшного человека из всех, кого ему когда-либо приходилось видеть:

"На меня из полумрака выдвинулся человек, похожий на краба. Все его лицо было желтого цвета, испещренное рябинками. Топорщились усы. Этот человек-карлик, непомерно широкий и вместе с тем напоминавший по росту двенадцатилетнего мальчика, но с большим старообразным лицом".

Думаю, что тогда, после встречи, это впечатление у Б.Л. было несколько иным. Ведь было время, когда Сталин вдохновлял его на стихи. Но об этом чуть позже, а сейчас — о смысле встречи.

Тогда начались разговоры о том, что грузинских поэтов нужно переводить на русский язык. Б.Л., очевидно, подавал большие надежды. Сталин решил, опираясь на талант, который он чувствовал в Пастернаке, возвеличить грузинскую поэзию. Сам Б.Л. свою совместную с Маяковским и Есениным встречу со Сталиным объяснял надеждой последнего на то, что русские поэты поднимут знамя грузинской поэзии.

Разумеется, это стремление не помешало Сталину в последующие годы уничтожить многих грузинских поэтов и

* Некоторые из читавших эти воспоминания сомневаются в достоверности рассказа о такой встрече. Я здесь передаю только то, о чем неоднократно слышала от Бориса Леонидовича.

близких друзей Б.Л. — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили.

Хотя Есенин, Маяковский и Пастернак были приглашены одновременно, Сталин беседовал с ними раздельно. Он говорил, стараясь очаровать, говорил, что от них ждут настоящего творческого пафоса, что они должны взять на себя роль "глашатаев эпохи".

В те годы Борис Леонидович еще видел в Сталине подлинного вождя. В цикле "Несколько стихотворений" (шесть частей, шестнадцать машинописных страниц) упоминался Сталин. В примечаниях к рукописи этих стихотворений в подготовке к последнему однотомнику Б.Л. написал: "На стр. 3, 4, 5 я разумел Сталина и себя. Было напечатано в этом виде в "Известиях". Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него".

Первые две части под названием "Два стихотворения" были опубликованы в новогоднем номере газеты "Известия" за 1936 год. Одно из них ("Я понял: все живо...") вошло в однотомник 1965 года с пропуском четырех строф.

После первой строфы пропущено:

Бывали и бойни,
И поед живьем,
Но вечно наш двойня
Гремел соловьем.

Глубокою ночью
Загаданный впрок,
Не он ли, пророча,
Нас с вами предрек?

После пятой строфы пропущено:

Я понял: все в силе,
В цвету и в соку,
И в новые были
Я каплей теку.

После шестой строфы пропущено:

И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи.

Затем в "Известиях" шло стихотворение из трех частей; первая часть — "Мне по душе строптивый норов" — есть в однотомнике 1965 года. Вот вторая и третья части:

А в те же дни на расстояньи
За древней каменной стеной
Живет не человек, — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.

В собраньи сказок и реликвий
Кремлем плывущих над Москвой
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.

Но он остался человеком
И если, зайцу вперерез
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.

* * *

И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.

Я знаю — эти предельно крайние начала со временем будут исследовать и сопоставлять: "какой-нибудь поздний историк напишет внушительный труд". Я думаю об этом историке и беру на себя смелость предложить ему и свой материал. Пишу впрок.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

О телефонном разговоре с вождем, как писала Ахматова, "существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку"*.

Думаю, что об этом надо написать подробнее. И не только о том, что я помню из рассказов Бориса Леонидовича, но и о том, как об этих же событиях вспоминают Анна Ахматова и Надежда Мандельштам.

Я никогда не видела Мандельштама. Но когда вспоминаю рассказы о нем Б.Л., мне кажется очень близким портрет, нарисованный Юрием Олешей: мужская фигура, "неестественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крохотный камушек лица... Мандельштам был брит, беззуб, старообразен, но царственной наружности. Голова у него была всегда запрокинута; руки всегда завершали или начинали какой-то непрактический, не житейского порядка жест!".

Мандельштам из всех поэтов очевидно первый разгадал ужас, таящийся в личности героя, которому доступен "поступок ростом с шар земной", и написал о нем короткое стихотворение — страшный реалистический портрет деспота и услуги ему полулюдей. Это стихотворение Мандельштам хотел прочитать человеку, которого в поэзии считал себе равным.

В один из вечеров конца апреля 34 г. Б.Л. встретил на Тверском бульваре Осипа Эмильевича, и тот прочитал свое стихотворение:

---

* Анна Ахматова. Мандельштам (листки дневника). Альманах "Воздушные пути", N 4, Нью-Йорк, 1955 г.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей —
Он играет услугами полулюдей:
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет —
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина,
И широкая грудь осетина.

— Я этого не слыхал, вы этого мне не читали, — сказал Б.Л. тогда на бульваре, — потому что, знаете, сейчас начались странные, страшные явления, людей начали хватать; я боюсь, что стены имеют уши, может быть, скамейки бульварные тоже имеют возможность слушать и разговаривать, так что будем считать, что я ничего не слыхал*.

Говоря о стимуле написания этого стихотворения, О.Э. сказал, что более всего ему ненавистен фашизм во всех его проявлениях.

Каждое слово в этих стихах — реалистическое наблюдение, точная деталь. Вдова Мандельштама Надежда Яковлевна рассказала, откуда взялись некоторые из этих деталей. Демьян Бедный как-то записал в своем дневнике, что не любит давать книги Сталину, так как

---

* Позднее, когда Мандельштамы уже жили в Воронеже, Б.Л. упрекал Надежду Яковлевну: "Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!".

— Этот ход мысли и сейчас мне непонятен, — вспоминает Н.Я., — а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в нем противопоказано еврею, но он с ужасом отказался.

тот оставляет на листах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Бедного, разумеется, донес на него, и Демьян впал в немилость. О.Э., узнав об этом, получил строчку для крамольного стихотворения. А тонкую шею О.Э. приметил у Молотова: "Как у кота", — сказал О.Э. жене.

В ночь на четырнадцатое мая 34 г. пришли с ордером на арест, подписанным самим Ягодой; всю ночь шел обыск. Это было в присутствии Анны Ахматовой, и она вспонимает, что все совершалось под звуки гавайской гитары, мяукающей за стеной из соседней квартиры Кирсанова.

При обыске крамольного стихотворения не нашли (оно не было записано).

Б.Л. очень взволновал арест Мандельштама.

Помимо тревоги за судьбу человека волновало еще и то, что кто-то может бросить упрек, будто он не сдержал своего слова и кому-то рассказал о стихотворении.

Б.Л. метался по городу и всем рассказывал, что он тут ни при чем, что он не виноват, заранее оправдываясь и почему-то думая, что кто-то может возложить на него ответственность за исчезновение Мандельштама.

Что сделал Б.Л. для помощи Мандельштаму, я передам словами Ахматовой, а сейчас — как он рассказывал мне сам о своем телефонном разговоре со Сталиным.

Когда в коммунальной квартире номер девять четырнадцатого дома Волхонки раздался звонок из Кремля: "С вами будет говорить товарищ Сталин", — Б.Л. едва не онемел; он был крайне неподготовлен к такому разговору. Но в трубке зазвучал "его" голос — голос Сталина. Вождь говорил на "ты", грубовато, посвойски: "Скажи-ка, что говорят в ваших литературных кругах об аресте Мендельштама?".

Б.Л., по свойственной ему привычке не сразу подходить к теме конкретно, а расплываться сначала в философских размышлениях, ответил: "Вы знаете, ничего не говорят, потому что есть ли у нас литературные круги, и кругов-то литературных нет, никто ничего не говорит, потому что все не знают, что сказать, боятся" и т.п.

Длительное молчание в трубке, и затем: "Ну хорошо, а теперь скажи мне, какого ты сам мнения о Мандельштаме? Каково твое отношение к нему как к поэту?".

И тут Б.Л. с захлебами, свойственными ему, сам начал говорить о том, что они с Мандельштамом поэты совершенно различных направлений: "Конечно, он очень большой поэт, но у нас нет никаких точек соприкосновения — мы ломаем стих, а он академической школы", и довольно долго распространялся по этому поводу. А Сталин никак его не поощрял, никакими ни восклицаниями, ни междометиями, ничем. Тогда Б.Л. замолчал. И Сталин сказал насмешливо: "Ну вот, ты и не сумел защитить товарища", и повесил трубку.

Б.Л. сказал мне, что в этот момент у него просто дух замер: так унизительно повешена трубка; и действительно, он оказался не товарищем, и разговор вышел не такой, как полагалось бы. Тогда, крайне недовольный собой, расстроенный, он и начал сам звонить в Кремль и умолять телефонистку соединить его со Сталиным. Это была уже смехотворная сторона дела. Ему отвечали, что соединить никак не могут, "товарищ Сталин занят". Он же, беспомощно и взволнованно доказывал, что Сталин ему только что звонил и они не договорили, а это очень важно!

Взволнованный и возбужденный до крайности, он забегал по своей коммунальной квартире и всем встречным соседям говорил: "Я должен ему (т.е. Сталину) написать, что вашим именем делаются несправедливости; вы не дали мне высказать до конца — ведь все неприятности, сейчас происходящие, связываются с вашим именем, вы должны в этом разобраться..."

Такое письмо действительно было им отправлено*.

В день ареста Мандельштама Пастернак сделал не просто бесповоротный шаг; то, что он сделал, превышало меру сил человеческих, было, по словам Ахматовой, почти чудом:

---

* Об одном из последующих своих писем Сталину, он рассказал в автобиографическом очерке:
"Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре съезда писателей".

“Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в "Известия" к Бухарину, а я в Кремль к Енукидзе. Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Енукидзе. Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: “А может быть, какие-нибудь стихи?”. Этим мы ускорили, и, вероятно, смягчили развязку... Сталин велел пересмотреть дело и ... позвонил Пастернаку... Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопочет. “Если мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти”. Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин не узнал бы об этом деле. “Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?”. “Писательские организации не занимаются этим с 1927 года”. “Но ведь он ваш друг?” Пастернак замялся, и Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: “Но ведь он же мастер, мастер?” Пастернак ответил: “Это не имеет значения”. Борис Леонидович думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стих, и этим он объяснил свои шаткие ответы. “Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить”. “О чем?” — “О жизни и смерти”. Сталин повесил трубку.

Еще более поразительные сведения о Мандельштаме приводит в книге о Пастернаке Х.: там чудовищно описана внешность и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее “лояльного мужа”. Надя никогда не ходила к Борису и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины, которой принадлежит знаменитая бессмертная фраза: “Мои мальчики (сыновья — *О.И.*) больше всего любят Сталина — потом маму...”.

... Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор и все было напрасно”.

А вот что пишет Н.Я.Мандельштам:

“Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал

жаловаться, что плохо слышит, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети... Б.Л. в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. А мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил — "про коммунальную кончил?" Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается, и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации "или ко мне" — и не хлопотал о Мандельштаме. — "Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стену лез, чтобы ему помочь".

Ответ Пастернака: "Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали"*.

Затем Пастернак прибавил что-то насчет слова "друг", желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие "дружбы", разумеется, не укладывались.

Эта ремарка была очень в стиле Пастернака, и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: "Но ведь он же мастер, мастер?" Пастернак ответил: "Да дело не в этом". — "А в чем же?" — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. — О чем? — О жизни и смерти, — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку...

Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к допросу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, ко-

---

* Один из вариантов рассказа Б.Л. об этом моменте разговора хорошо запомнил Евг. Евтушенко:

— Если бы у меня товарища арестовали, я бы лбом стену прошиб.
— Но если уж вы мне звоните, Иосиф Виссарионович, это означает, что вопрос будет решен положительно и что Мандельштам будет освобожден.

торая, если его не знать, могла бы быть обращена против него! *. Между тем, реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака...

...Б.Л. остался недоволен своим разговором со Сталиным и многим жаловался, что не сумел его использовать, чтобы добиться встречи... Б.Л., подобно многим людям нашей страны, болезненно интересовался Кремлевским затворником...

... И вот... удивительная черта эпохи: почему неограниченные владыки, обещавшие организовать, чего бы это ни стоило, настоящий рай на земле, так ослепляли своих современников. Сейчас никто не усомнится в том, что в столкновении двух поэтов с властителем и моральный авторитет, и чувство истории, и внутренняя правота были у поэтов.

Между тем, Б.Л. тяжело пережил свою неудачу и сам мне говорил, что после этого долго не мог писать стихов... Мне кажется, Пастернак верил, что в его собеседнике воплощается время, история и будущее, и ему просто хотелось вблизи посмотреть на такое живое и дышащее чудо.

Сейчас распространяют слухи, что Пастернак так струсил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О.М. Незадолго до его болезни мы встретились с ним на улице, и он мне об этом рассказал. Я предложила ему вместе записать разговор, но он этого не захотел. А может, события развернулись именно так, что ему было не до прошлого.

Что можно инкриминировать Пастернаку, особенно если учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости? В нынешних версиях говорится, будто Сталин требовал, чтобы Пастернак поручился за О.М., а он отказался от поручительства. Ничего подобного не было, ни о каком поручительстве речь даже не заходила.

О.М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писатель-

* По-видимому, это реплика о "точках соприкосновения", о которой я написала ранее. О.И.

ских организациях, которые "этим не занимаются с 27 года". — Дал точную справку, — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: — Зачем запутывать Пастернака? Я сам должен выпутываться, он здесь ни при чем. И еще: — он совершенно прав, что дело не в мастерстве; почему Сталин так боится мастерства, это у него вроде суеверия; думает, что мы можем нашаманить. — И наконец: — А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр.

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если бы Пастернак запел соловьем о мастерстве и мастерах. Может, прикончили бы О.М., как Михоэлса, или уж во всяком случае приняли бы жестокие меры, чтобы уничтожить рукопись... Будь они более высокого мнения о поэтическом наследстве Мандельштама — ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось — "развеять прах по ветру".

Заграничная версия разговора со Сталиным совершенно нелепа. Там пишут, будто О.М. прочел стихи у Пастернака при посторонних, а бедного хозяина "таскали в Кремль и мучили". Каждое слово показывает полное незнание нашей жизни..."

В период воронежской ссылки Б.Л. с Ахматовой ходили к Катаняну просить о переводе О.Э. в какой-нибудь другой город, но им отказали.

И, наконец, Н.Я. вспоминает: "Единственным человеком, посетившим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О.М. Кроме него никто не решился зайти..."

В беседе с З.А.Масленниковой 7.9.58 (она вела дневник и точно знает даты своих с Б.Л. бесед) концовка разговора с "вождем" выглядела иначе:

— А о чем бы вы хотели со мной говорить? — спросил Сталин.

— Ну, мало ли о чем, о жизни, о смерти, — ответил Б.Л.

— Хорошо. Как-нибудь, когда у меня будет больше свободного времени, я вас приглашу к себе, и мы поговорим за чашкой чаю. До свидания.

И далее Б.Л. сказал:

— Когда я впоследствии вспоминал разговор, мне не хотелось изменить в своих ответах ни слова.

Не верю, что Б.Л. успел забыть о мучительном недовольстве собой, об унизительно брошенной Сталиным трубке. Думаю, что не мог он этого забыть, а просто не хотел “ворошить старое” в разговоре с симпатичным ему, но сравнительно мало знакомым человеком. Разумеется, свидетельства Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам, чье восприятие было современным разговору и непосредственным, не говоря уже о слышанном мною от Б.Л., гораздо ближе к истине.

НЕ ЖЕРТВУЙТЕ ЛИЦОМ...

В середине августа 34 г. я зашла в Московский редакционно-издательский институт, на последнем курсе творческого факультета которого я училась. Занятия вскоре должны были начаться, и в институте было суматошно и людно. Заглянула в деканат — и вдруг такая удача: мне дали пригласительный билет на открытие Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

Вечером семнадцатого августа я была в числе первых, кто занял гостевые места в Колонном зале Дома Союзов в Охотном ряду. Я впервые увидела и услышала Горького. Он был сгорбленный, высокий, потирал руки, окал, похожий на свой памятник при жизни. Я была так поглощена его созерцанием, что даже не очень вслушивалась в слова доклада. Я знала, что Пастернак находится в президиуме. Но из моей дали разглядеть его как следует не могла.

Желающих пойти на съезд в институте было много, билетов — мало. Мне не удалось побывать на последующих его заседаниях, но по газетам я тщательно следила за всем, что там происходило. И особенно за всем, конечно, что было связано с именем моего любимого поэта — Пастернака.

Доклад о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР сделал Н.Бухарин. Оценку Пастернаку он дал высочайшую:

> “Это поэт-песнопевец старой интеллигенции, ставшей интеллигенцией советской... Пастернак

оригинален... В этом его сила, потому что он бесконечно далек от шаблона, трафаретности, рифмованной прозы... Таков Борис Пастернак, один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, нанизавший на нити своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей".*

Во время одного из заседаний съезда произошел эпизод, описанный множеством авторов. Так, И.Эренбург вспоминает:

"Б.Л.Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал".

Другие свидетели этой чрезвычайно характерной для Б.Л. сцены рассказывают, что она длилась довольно долго, ибо Б.Л. упорно хотел снять с плеча метростроевки тяжелый отбойный молот, а она упорно не отдавала. Может быть, это свойственное ему милое позерство? А может быть — он был искренне убежден, что девушка пришла с отбойным молотком прямо с работы, и бросился снять с ее плеча эту тяжесть.

Вечером 29 августа он взошел на трибуну съезда.

"...Мое появление на трибуне не самопроизвольно. Я боялся, как бы вы не подумали чего дурного, если бы я не выступил.

... Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю (смех), но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку.

---

* Стенографический отчет Первого съезда ССП, "Гослитиздат", 1934, стр. 494, 495.

Поэзия есть проза... голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т.е. факта с живыми последствиями.

...Чистая проза в ее первозданной напряженности и есть поэзия.

... Не жертвуйте лицом ради положения.

... При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям" *.

По-видимому, последние слова были данью нарождающемуся стилю славословия Сталину, но сделано это было не в явном виде.

Что же касается непрерывных "восхищенных улыбок" Б.Л., которые так запомнились на съезде Эренбургу, то похоже, что не все их заметили. Например, Эм.Миндлин в своей книге** вспоминает об одном своем разговоре с Андреем Платоновым: "... он выслушал мой рассказ о сетованиях Бориса Пастернака на Первый писательский съезд...

Пастернак говорил мне, что ... надеялся услышать на съезде писателей совсем не то, чему посвятили свои выступления ораторы. Пастернак ждал речей большого философского содержания, верил, что съезд превратится в собрание русских мыслителей. Речь Максима Горького показалась ему одинокой на съезде. То, что Пастернак считал важнейшим для судеб русской литературы, на съезде не обсуждалось. Пастернак был разочарован.

— Я убийственно удручен, — повторял он несколько раз. — Вы понимаете, просто убийственно!

— У Пастернака не из-за съезда тягостно на душе, — тихоголосо сказал Платонов. — Я думаю, у него было бы такое состояние, о чем бы ни говорили на съезде. Все дело в характере самого Пастернака, а не в

---

* Там же, стр. 349.

** Эм. Миндлин. Необыкновенные собеседники. "Советский писатель", 1968.

характере писательских выступлений на съезде. Конечно, Борису Леонидовичу трудно... так ведь... всем трудно".

Б.Л. не дождался конца съезда и вечером 30 августа после речи заведующего отделом культуры ЦК А.Стецкого уехал в Одоевский дом отдыха. Первого сентября, по предложению А.Фадеева, съезд избрал Б.Л. членом Правления ССП.

Можно ли говорить о личных отношениях со Сталиным Пастернака? ("Как будто у нас с ним переписка и мы по праздникам открытками обмениваемся", — как-то раздраженно заметил Б.Л.). Но он был членом Союза писателей, входил в Правление Союза. Действуя во имя Сталина и от имени Сталина, этот союз определял литературную политику страны. А вершили эту политику живые люди — Фадеев, Ставский, Сурков, Соболев, Федин. Среди них Б.Л. был обречен на духовное одиночество.

...БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ

В июне 35 г. в Париже состоялся Международный конгресс писателей в защиту культуры. В нем принимали участие Генрих Манн, Андре Жид, Барбюс, Брехт, Мальро, Арагон...

В четвертой книге своих мемуаров Эренбург вспоминает, что за несколько дней до его открытия французские писатели обратились к советскому послу с просьбой прислать Пастернака и Бабеля, а они в состав делегации включены не были. Бабель и Пастернак прилетели в Париж, когда конгресс уже работал. Об этом есть в письме Марины Цветаевой*.

---

* Книга "Письма к А. Тесковой". Изд-во Чехословацкой Академии наук. Прага, 1969, стр. 135.

"...Борис Пастернак, на которого я годы подряд — через сотни верст — оборачивалась, как на второго себя, мне на Пис. Съезде* шепотом сказал: — я не посмел не поехать, ко мне приезжал секретарь Сталина, я — испугался".

И далее она поясняет, что Б.Л., якобы, не хотел ехать без жены, а "его посадили в авион и повезли".

Я не помню, чтобы Боря мне впоследствии рассказывал об этом эпизоде, но сомневаться в свидетельстве Цветаевой, разумеется, нельзя. Весьма примечательно, что спустя год после телефонного разговора с Пастернаком Сталин снова о нем вспоминает, посылая к нему своего секретаря.

Прилетев в Париж, Б.Л. сказал Эренбургу, что врач установил у него психастению, что он страдает бессонницей, когда ему объявили, что он должен лететь в Париж — находился в доме отдыха.

Гораздо позднее (летом 58 г.) Борис Леонидович объяснял свое тогдашнее состояние последствиями поездки по колхозам: "В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать".

После возвращения с конгресса, 15 ноября 35 г. он писал Г.В.Бебутову (литературоведу, впоследствии редактору последнего прижизненного издания книги Б.Л. "Стихи о Грузии. Грузинские поэты". Тбилиси, 1958):

> "Сейчас я и сам с трудом понимаю, что со мной творилось, но это было нечто вроде психастении, и продолжалось с апреля месяца до конца августа. В Париж мне пришлось поехать в самом ее разгаре...

---

* М.И., очевидно, так называет конгресс писателей в защиту культуры.

> После столь растянувшейся бессонницы, от которой я не надеялся избавиться, так она укоренилась, я не мог, конечно, остаться тем, каким был до нее. Я должен был измениться, и об этом не жалею. Я стал трезвее и уравновешеннее, и Вы будете несправедливы, если это письмо Вам покажется сухим"*.

Андре Мальро представил Б.Л. конгрессу словами: "Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени".

В своей речи Б.Л. говорил главным образом о болезни, лишь несколько слов сказав о поэзии. Но сколь значительными были эти слова:

> "Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так, что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником".

Переводивший речь Бориса Леонидовича Андре Мальро прочитал затем французский перевод стихотворения "Так начинают. Года в два...". Зал ответил долгой овацией.

Затем о Б.Л. говорил Тихонов: "...Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое течение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!".

В статье Эренбурга для "Известий" о выступлении Тихонова было написано так: "Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими апло-

---

* Литературная Грузия, N 3, 1966 г., стр. 73.

дисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги".

Спустя полгода "Комсомольская правда" обвинила Эренбурга в том, что он, приветствуя Пастернака, сказал: "Совесть только у него одного!".

ВОЙНА...

Войну Б.Л., по свидетельству многих очевидцев, встретил с подъемом, с энтузиазмом. С первых же дней июльских бомбардировок Москвы он дежурил на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке и не раз сбрасывал с крыши попавшие на нее "зажигалки":

... Тротуар под небоскребом
В страшной глубине
Мертвым островом за гробом
Представлялся мне.

И когда от бомбы в небо
Кинуло труху,
*Я и Анатолий Глебов**
Были наверху.

Чем я вознесен сегодня
До семи небес,
Точно вновь из преисподней
Я на крышу влез?

Я сейчас спущусь к жилищам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой...

---

* Псевдоним Анатолия Глебовича Глебова-Котельникова (1899-1964) — автора рассказов о Турции (находился там на дипломатической работе) и ряда пьес.

Знавшие его в те дни писатели рассказывали, что на дежурство он шел, как на праздник, на служение ближним. А ведь праздник этот был полон смертельных опасностей.

В начале сентября 41 г. Б.Л. писал: "Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь, вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обученье строю и стрельбе". Спустя три дня: "Вчера у меня счастливый день. Утром я стрелял лучше всех в роте (все заряды в цель) и получил "отлично". В декабре 42 г.: "Три недели тому назад я выразил желание побывать на фронте Фадееву и в редакции "Красной звезды". Последние две недели я каждую ночь (в редакции работают ночами) звонил в "Красную звезду" и каждый раз мне отвечали, что меня снарядят на днях".

В 42 г. Б.Л. писал: "Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше двенадцатиэтажного дома, — свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств, рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка".

Он сделал все, что от него зависело, чтобы попасть на фронт, но только 28 августа 1943 г. ему удалось вместе с бригадой писателей выехать в дивизии, освобождавшие Орел.

По свидетельству тех, кто был на переднем крае рядом с ним, Б.Л. легко переносил тяготы походной жизни и рвался туда, где опаснее. Он читал свои стихи раненым, много беседовал с бойцами. Перед отъездом Б.Л. от имени всей писательской бригады написал обращение к бойцам:

"Бойцы Третьей Армии! В течение двух недель мы, несколько писателей, находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах...

...Как веками учил здравый смысл и часто повторял товарищ Сталин, дело правого должно было рано или поздно взять верх. Это время пришло, — правда восторжествовала. Еще рано говорить о бегстве врага, но ряды его дрогнули и он уходит под ударами вашего победоносного оружия, под уяснившеюся очевидностью своего неотвратимого поражения, под давлением наших союзников, под непомерною тяжестью своей неслыханной исторической вины.

Тесните его без жалости, и да пребудет с вами навеки ваша исконная удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы — наша гордость. Мы любуемся вами".

Итогом пребывания на фронте явился цикл "Стихи о войне", очерки "Освобожденный город" и "Поездка в армию".

Кроме того, воспоминания о фронтовой поездке Б.Л. почти документально использовал для эпилога романа "Доктор Живаго", начинающегося словами: "Летом тысяча девятьсот сорок третьего года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла возвращались порознь в свою общую войсковую часть..." А далее говорится: "На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой "зоны пустыни", стертых с лица земли отступавшим неприятелем".

А в очерке "Поездка в армию" об этом же городишке Б.Л. писал: "Это были развалины Черни, районного города области, начало нашего последующего шествия по нескончаемой дороге пустырей и пожарищ, первое преддверие того, что язык вражеских приказов называет так всеизвиняюще просто "зоною пустыни" ("Новый мир" N 1, 1965 г., стр. 170).

Так же и в "разрушенном до основания городе Карачеве" Б.Л. был действительно и описал его в том же очерке, как и в романе.

... И МИР

И вот эта война завершилась беспримерной победой. Наступил долгожданный мир, как ожидалось, не только на фронтах, но и в тылу. Думалось, что с преступлениями ежовщины война покончила так же, как и с преступлениями фашизма. Хотелось, чтобы мир принес милосердие миллионам наших сограждан, возращавшимся из вражеского плена... Многое ожидалось от великой победы...

Но в лагеря потянулись новые эшелоны заключенных. Здесь были не только бандеровцы и власовцы, но (гораздо больше) — советские солдаты и офицеры, чьи эшелоны нередко шли из фашистского плена прямиком в родные концлагеря; умилившиеся "прощением" родины репатрианты из многих стран Востока и Запада; тысячи "космополитов безродных" (то бишь, попросту говоря — евреев из антифашистского комитета и других организаций); тысячи партийных работников по "ленинградскому делу" и им подобным... А переселение целых народов в Сибирь; моральное распятие Анны Ахматовой и Михаила Зощенко; преследования Шостаковича и других композиторов; средневеково-мрачное антисемитское дело "врачей-убийц"; и теперь уже полное обожествление личности вождя — "величайшего полководца всех времен и народов" и одновременно — "корифея всех наук".

Не сразу и не все поняли, что сталинско-бериевскими усилиями великая победа в войне начала оборачиваться внутренним поражением. Много лет спустя известный советский поэт сказал об этом невиляюще четко:

...И несмотря на лавры в битвах,
В своей стране ведя разбой,
Собою были мы разбиты,
Как Рим разгромлен был собой...

А тогда, вскоре после войны, близкий нам Костя Богатырев (о нем мне еще придется писать) перевел стихотворение немецкого поэта Эриха Кестнера "Другая возможность":

Когда бы вдруг мы победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом.

....

Когда бы вдруг мы победили,
Мы стали б выше прочих рас:
От мира бы отгородили
Колючей проволокой нас.

Когда бы вдруг мы победили,
Все страны разгромив подряд,

В стране настало б изобилье...
Кретинов, холуев, солдат.

....

Тогда б всех мыслящих судили,
И тюрьмы были бы полны,

....

Когда б мы только победили...
Но, к счастью, мы — побеждены.

Написано о послекайзеровской Германии. Они — побеждены, а мы в этой войне — победители. Так вот, Б.Л. временами казалось, что многие из гипотетических бед той несостоявшейся победы — состоялись после победы нашей, и состоялись у нас...

Тщетность ожидания благих перемен мы почувствовали прежде всего на литературе и искусстве. После ряда выступлений и указаний "корифея" по вопросам искусства и истории тучи начали сгущаться и непосредственно над Б.Л. Его имя стали поносить на разных литературных собраниях, а на совещании молодых писателей на него с резкой речью обрушился Фадеев.

Но главный удар был нанесен газетой "Культура и жизнь" от 22 марта 1947 года. Это была статья А.Суркова "О поэзии Б.Пастернака": поэт, говорилось там, "бравирует отрешенностью от современности... Занял позицию отшельника, живущего вне времени... Утверждает последовательную отрешенность поэзии от общественных человеческих эмоций... субъективно-идеалистическая позиция... проповедь условности мира... с нескрываемым восторгом отзывается о буржуазном Временном правительстве... живет в разладе с новой действительностью... с явным недоброжелательством и даже злобой отзывается о советской революции... Прямая клевета на новую действительность...". И общий категорический вывод Суркова: "Советская литература не может мириться с его поэзией".

Это была по сути не статья, а откровенный политический донос, опубликованный к тому же в центральной печати:

"В наши дни политический донос — это не столько поступок, сколько философская система", — говорил Б.Л.

Прочитав статью Суркова, Б.Л. звонил своим приятелям и даже просто знакомым и говорил:

— Вы читали, как меня публично высекли? Но ничего, я себя неплохо чувствую.

Однако подобно тому, как в средневековой Европе достаточно было объявить женщину ведьмой, чтобы ее тут же публично сожгли, в послевоенной сталинской Москве довольно было небольшой доли обвинений Суркова, чтобы человека спровадили в лагерь или уничтожили. Никто не был застрахован от страшного ярлыка "враг народа".

По Москве распространился слух, что Сталин выразил недоумение — зачем нужно МХАТу ставить "Гамлета" в переводе Пастернака. А.Гладков в книге "Встречи с Пастернаком" пишет: "Разумеется, этого было достаточно, чтобы репетиции немедленно остановились. Сталин был против "Гамлета", вероятно, потому же, почему он был против постановки "Макбета" и "Бориса Годунова" — изображение образа властителя, запятнавшего себя на пути к власти преступлением, было ему не по душе".

Но Б.Л. предвидел это заранее. Еще в 1942 г. в Чистополе он говорил:

— Если после войны все останется по-прежнему, я могу оказаться где-нибудь на севере, среди многих старых друзей, потому что больше не сумею быть не самим собой...

— Нам бы сейчас нового Толстого, — говорил он, — чтобы он по ним ударил своей бесцеремонной правдивостью...

Оригинальные стихи Пастернака теперь появлялись редко. Во второй раз, как и в 37 г., он вынужден был сказать: "Личное творчество кончилось". Он снова ушел в переводы.

"... Переводить мне — значит утверждать себя на вторичных, подчиненных позициях, что при нынешней обострившейся борьбе за существование и двойственности моего бытового положения для меня вредно, чтобы не сказать гибельно" (письмо в Грузию от 10.12.43).

"... Переводить мне давно пора бросить, а заниматься только своим... Именно друзья должны были бы препятствовать тому, чтобы я занимался переводами... Переводы отняли у меня лучшие годы моей деятельности, сейчас надо наверстывать это упущенное..." (из письма грузинскому редактору от 23.8.57).

Ахматова вспоминала, что при ней Мандельштам в своей единственной за всю жизнь квартире в Нащокинском говорил Пастернаку: "Ваше полное собрание сочи-

ний будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений". И добавила от себя: "Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно".

Но что оставалось делать, если оригинальные произведения пропускались через идеологические рогатки, не оставлявшие художнику никакой свободы выбора. Надо было либо приспосабливаться, либо зарабатывать свой хлеб переводами.

Евгений Замятин предпочитал "найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности". И уехал на Запад, что Пастернаку было противопоказано.

— Ты NN* знаешь? Он тут ко мне приходил несколько раз, все пытался как-то помочь, стихи напечатать и так далее. С ним можно говорить. Он все понимает. О-о-очень хороший и несомненно о-о-очень талантливый человек. И, понимаешь, вдруг решил подарить мне свою книгу. Я никогда ничего не читаю. Слишком время дорого, чтобы читать то, что сейчас пишут. А тут решился — он сам мне так понравился!

— Ну и как?

— Представь себе — заурядно: не может быть, чтобы не мог иначе. Но у нас ведь если печатают, то писать не дают. А уж коли пишешь, то не печатают...".

Оставалось одно — переводы для хлеба и свободное творчество — в стол.

"Потребность в заработке, которая, Бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод". (Из письма от 19.2.50 Ариадне Эфрон).

Но и с переводами все обстояло не так уж просто. Журнал "Новый мир" (N 8 за 1950 год) опубликовал разгромную рецензию Т.Мотылевой на перевод "Фауста".

---

* Речь шла об очень известном и широко публикующемся прозаике.

“... Переводчик явно искажает мысль Гете... для защиты реакционной теории ”чистого искусства"... вносит в текст эстетско-индивидуалистический оттенок... приписывает Гете реакционную идейку... искажает социально-философский смысл...". И в результате ученый-литературовед Тамара Мотылева выносит безапелляционный приговор: “Задача создания полноценного советского перевода ”Фауста" не выполнена".

Б.Л. в связи с этим писал 21.9.50 Ариадне в ссылку:

“Была тревога, когда в ”Нов. мире" выругали моего “Фауста” на том основании, что, будто бы, боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все “иррациональное” передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится".

Какая горечь звучит в словах письма Б.Л., посланного им 28 мая 1959 г. в Париж Борису Зайцеву:

“Я послал Вашей дочери ”Фауста". Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам предисловия. А может быть только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... “работы мысли” у нас есть другие специалисты, наше дело подбирать рифмы...".

Каждое звено из цепи всех этих событий больно переживалось Борисом Леонидовичем, обдумывалось и обсуждалось на все лады с кем можно и с кем нельзя. Он был настолько потрясен фактом возрождения “владычества выдумки” и возобладания “колдовской силы мертвой буквы”, что как-то осенью сорок девятого года сказал мне:

— Если бы в скверном сне привиделись нам ожидавшие нас после войны наваждения — можно было бы только пожалеть, что вместе с гитлеровцами не сгинули и сталинисты; перевес в победе наших союзников — культурных наций, воспитанных на демократических традициях — не принес бы народу и сотой доли бед, возрожденных после победы Сталиным...

Эти размышления в конце концов и определили окончательную концепцию романа “Доктор Живаго” в том виде, в каком его знает читатель. Александр Глад-

ков дословно записал слова Б.Л. о причинах возникновения романа:

"Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радостные ожидания перемен, которые должна принести война России. Она промчалась, как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, не органичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть. Но все же победила инерция прошлого".

Все снова и снова возвращаясь к размышлениям о войне, мире и сталинщине, Б.Л. в романе писал:

"Война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления...

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только... на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всей грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной..."

Среди множества рукописей и документов Пастернака, прошедших сквозь все бури последующих лет и сохраненных у меня по сей день, есть машинописный экземпляр "Нескольких стихотворений". На последних трех страницах склеенного цикла стихов сохранилась карандашная запись, сделанная рукой Б.Л. Вот она:

"Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон. Сегодня (17.11.1956), разбирая те немногие дополнения, кот. у меня есть, и напав на эти стихи, вспомнил отчетливо: я не всегда был такой, как сейчас, ко времени

написания 2-ой книги докт. Живаго. Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось) все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, м.б. как ее предчувствие, в 1940 г. (На ранних поездах). Трагический тяжелый период войны был живым (дважды подчеркнуто Пастернаком. — *О.И.*) периодом и в этом отношении вольным радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 г.) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз. Я хотел бы что-ниб. в этом роде сказать в предполагаемой в качестве введения к однотомнику автобиографии. Это очень важно в отношении формирования моих взглядов и их истинной природы".

Казенные придурки, наветы завистников, "глухая пора листопада", затянувшаяся на долгие, долгие годы — не ожесточили Бориса Леонидовича; в сердце его и в творчестве осталось самое главное, самое нужное людям: НАДЕЖДА. Потому он и считал главным трудом своей жизни роман "Доктор Живаго", что надеялся показать читателям часть их собственной судьбы; тяжкой судьбы, подчас трагической в своей безвыходной повседневности, и все же оставляющей проблеск надежды.

Но этот проблеск надежды лежит вне плоскости слепой веры в Бога или в чудо. Юрий Живаго говорит умирающей Анне Ивановне:

"...смерть, сознание, вера в воскресение...

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо... одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

...Человек в других людях и есть душа человека... В других вы были, в других и останетесь. И какая вам

разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего...

Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни...

Смерти не будет потому, что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная...".

И, наконец, о смерти и искусстве:

"... искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь...".

Одно и то же событие рассматривается Пастернаком как поражение и одновременно как победа, как жертва и как искупление, как смерть и как воскресение. Поражения пастернаковских героев в житейских делах оборачиваются их безусловными победами в области Духа.

Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

Особенно ярко это дано в концовках трех стихотворений Юрия Живаго:

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

....

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

....

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

ДЕНЬ АРЕСТА

Между тем беззакония ширились, а с ними и преследования Пастернака. Говоря словами Ахматовой,

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад...

Шестое октября тысяча девятьсот сорок девятого года. В этот день мы встретились в "Гослитиздате", где Боря должен был получить деньги. Перед тем шел разговор о том, чтобы мне послушать новые главы из первой части романа "Доктор Живаго". И потому он сказал: "Лелюша, давай я тебя встречу вечером и почитаю. Слава Богу, никого в Переделкине не будет, и я тебе прочитаю еще одну главу".

К этому времени наши отношения достигли какого-то удивительного периода — и нежности, и любви, и понимания. Осуществление замысла "Доктора Живаго", как главного труда жизни, этот захватывающий его целиком наш роман — все это так глубоко он выразил одной фразой письма в Грузию:

> "Нужно писать вещи небывалые, совершать открытия и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное все вздор".

Мы присели ненадолго в скверике, где еще не было памятника Лермонтову, на одной из его осенних скамеек. Я обратила внимание на то, что нас пристально разглядывает человек в кожаном пальто, подсевший на ту же скамейку. Помню, я сказала: "А знаешь, Боря, арестован Ирин учитель английского языка Сергей Николаевич Никифоров".

Мне нужно подробнее рассказать об этом человеке — такую мрачную роль сыграл он в моей судьбе.

Еще в 1948 году, когда дети вернулись из Сухиничей, где они гостили у моей тетки Надежды Ивинской, я поселила их на даче в Малаховке. А мы с Борей

проводили наше "Лето в городе...". Однажды я поздним вечером приехала к ребятам с продуктами. По дороге от станции остановилась, чтобы переложить в другую руку сумку, и вдруг вижу — на дороге сидит огромная розовая кошка, величиной с доброго пса. Увидев ее, я настолько оторопела (таких кошек никогда не встречала), что начала громко звать: кис, кис, кис. На этот зов из калитки вышла дама в кружевном старомодном платье, похожем на пеньюар, и сказала: "Вам нравится эта кошка? Это особенная, хотя и сиамская, но особой разновидности — пушистая. У вас есть возможность спустя некоторое время взять такого котенка".

И вот, чтобы получить котенка, я и познакомилась с ней и ее мужем, Сергеем Николаевичем. Ольга Николаевна была женщина необыкновенно услужливая, работала косметичкой "при Моссовете", где, как она говорила, знала людей, ведавших распределением квартир. Услышав о Б.Л., она сделала мне странное предложение: "Хотите, Ольга Всеволодовна, я вам устрою с Борисом Леонидовичем отдельную квартиру. Мне только нужны деньги, а я вас вставлю в списочек...". Ну, я и сказала об этом Боре, но он отказался: "Какие-то странные списки, не надо, брось это все, даже не говори".

И вдруг мы узнаем, что эта Ольга Николаевна арестована. Конечно, мы тогда еще не знали, что она — профессиональная мошенница. Не раз она до и после того отбывала тюремное заключение. Но Боря сказал: "Вот видишь, Лелюша, я тебе говорил, что это очень странно — какая-то косметичка достает квартиру; вечно ты всем веришь — и получается глупо".

Весть об аресте О.Н. принес нам ее потрясенный муж. Этот пожилой человек, который по желанию Б.Л. давал Ирочке уроки английского языка, приходил к нам домой, был услужлив и мил, Ирочка делала успехи. О деятельности своей Олечки он якобы ничего не подозревал.

Но прошел месяц — и пришла весть об аресте Сергея Николаевича. Об этом-то я и рассказала Боре на осенней скамейке у Красных ворот.

Мы поднялись и направились к метро. Кожаное пальто последовало за нами.

Мне не хотелось расставаться с Борей даже на несколько минут. И у него было такое чувство, что рас-

ставаться нам в этот день нельзя. Но я в то время переводила книгу “Корейская лирика” и условилась с ее автором Тю-Сон-Воном, что он вечером принесет правку. Поэтому ехать в Переделкино сразу я не могла, — только попозже вечером. За этим разговором мы вошли в метро и сели в поезд: Боре надо было сделать пересадку у “Библиотеки Ленина”, а мне сойти на “Кировской”.

Я оглянулась — человек в кожанке был тут же.

— Ну, Лелюша, — сказал Б.Л.,— если уж ты сегодня не сможешь приехать, то завтра утром я буду у тебя. А сегодня я прочитаю этот кусочек Асееву.

Казалось, все было так хорошо, прочно, я шла — и как-то особенно наслаждалась свободой, такой нашей душевной близостью.

Боря посвятил мне тогда перевод Фауста. И я сказала, что отвечу в стихах. Он очень просил записать их. И вот я вошла в свою маленькую комнату на Потаповском, села за машинку, и меня охватило странное, не вяжущееся с недавним радостным настроением, чувство тревоги.

Когда в восемь вечера оборвалась моя жизнь — в комнату вошли чужие люди, чтобы меня увести — в машинке осталось неоконченное стихотворение:

... Играй во всю клавиатуру боли,
И совесть пусть тебя не укорит,
За то, что я, совсем не зная роли,
Играю всех Джульетт и Маргарит...
За то, что я не помню даже лица
Прошедших до тебя. С рожденья — все твое.
А ты мне дважды отворял темницу
И все ж меня не вывел из нее...

Я не верила, что такое может произойти со мной. Мне стало больно глотать. За что же, — думала я. Неужто за знакомство с Ольгой Николаевной? За деньги, одолженные Николаю Степановичу? И уж совсем дикой казалась мысль — за Борю?

И вдруг вспомнилось недавнее странное чувство, что в этот вечер надо быть вместе... А “они” начали рыться в вещах, швырять их, а маленький Митька, который прибежал из школы устраивать ежа на балконе, я по-

мню, смотрел круглыми глазами. Один из тех, что устраивал обыск в квартире, положил ему руку на голову, — "хороший малый", — и помню, как Митька недетским движением стащил со своей головенки эту руку. А Ирочка в это время была в школе. Но дома были мама, отчим, ко мне как раз пришел Алексей Крученых.

Особенно потрясен был мой отчим, переживший в прошлом мамин арест "ни за что". Он плакал на лестнице и твердил мне сквозь слезы: "Ты скоро вернешься, ты никого не ограбила, не убила!".

Еще когда обыск шел при мне, я заметила, что, перебирая книги и бумаги, они отбирают все, связанное с Пастернаком. Все его рукописи, все отрывки записей — все это было отложено и забрано. Все книги, которые Боря за это время надарил мне, надписывая широко и щедро, исписывая подряд все пустые странички — все попало в чужие лапы. И все мои записки, все мои письма — и ничего более.

Меня вскоре увезли, а обыск продолжался.

Узнав о моем аресте, Б.Л. вызвал по телефону Люсю Попову на Гоголевский бульвар. Она застала его на скамейке возле метро "Дворец Советов". Он расплакался и сказал:

— Вот теперь все кончено, ее у меня отняли, и я ее никогда не увижу, это — как смерть, даже хуже.

В разговорах с малознакомыми людьми он стал называть Сталина не иначе, как "убийцей". Разговаривая в редакциях журналов, не раз задавался вопросом: "когда же кончится раздолье подхалимам, которые ради своей выгоды готовы шагать по трупам?". Много встречался с Ахматовой, хотя в эти годы большинство ее знакомых обходило ее десятой улицей. Усиленно работал над второй частью романа "Доктор Живаго".

РАССКАЗ ИРЫ

Спустя много лет об этой ночи и последующих днях моя дочь Ирина вспоминала:

"В 49 году осенью, мне кажется, в ноябре, я возвращалась из школы. Я позвонила в дверь, и ее стремительно отворил ослепительно улыбающийся военный. На нашей вешалке, наверное, штук десять роскошных шинелей с голубыми погонами и столько же фуражек. Из маленькой комнаты, которую занимала мать, шел густой дым от папирос и слышались негромкие голоса. Поскольку я училась во второй смене, стало быть, все это происходило часов в шесть. Была уже осень, на улице темно. В нашей комнате горел верхний свет, что бывало в исключительных обстоятельствах. И все мое бедное одиннадцатилетнее существо сжалось от страха и от предчувствия беды. Я повесила свое пальтишко на вешалку и, бросив взгляд в комнату, увидела заплаканное воспаленное лицо бабушки, тетю Надю, похожую на призрак, и мрачного деда.

Но это было бы все еще ничего. Кроме них, в комнате находились посторонние, и только теперь, читая воспоминания других людей, прошедших через это, знаю, что они не настолько уж странны, а обычны. На стуле, опустив голову, сидел наш дворник с длинными усами, в ватнике и в фартуке. Это был неизбежный представитель власти. Тут же на маленьком диванчике сидел Крученых, завсегдатай маминых приемов, до смерти напуганный, а рядом с ним брат деда, дядя Фоня, как мы его тогда называли, пришедший, видимо, в гости и застигнутый врасплох, с безумными вытаращенными голубыми глазами.

Я прошла в комнату, где спали мы с Митькой, и сестра бабушки тетя Миля с волнением объяснила мне, что идет обыск, что мать час назад увезли на Лубянку в машине. Что мне было делать? Я демонстративно взяла какую-то книгу, легла на свою кровать и начала

читать. Я читала книгу, а что-то происходило. Как я узнала уже потом, происходило и смешное, и трагическое. Например, у всех требовали документы, "бумаги", а дядя Фоня, брат деда, работал тогда в коктейль-холле на улице Горького ночным сторожем. Он часто приносил нам соломку от коктейлей и салфетки деду, все что мог — он тогда уже был немного не в себе. Так вот, когда у него потребовали бумаги, он очень долго не понимал, чего от него хотят, потом решил, что его уличают в краже соломок и прочих вещей, полез в карман и стал выгребать салфетки, думая, что бумаги — именно это.

Крученых же, который строго соблюдал режим дня (для него это был просто пункт помешательства), в 11 часов во что бы то ни стало захотел домой, где у него снотворное и где он привык спать. Его не отпускали, и он очень настаивал, кричал, потом, наконец, принял таблетку и лег у нас на крохотном диванчике.

Меня все время мучила мысль, помню это до сих пор, что рыбам не меняли воду. У нас была одна огромная рыба, холодноводная, которой надо было менять воду каждый день. К ночи она начинала задыхаться, подплывать к поверхности воды, пускать пузыри, огромная пасть трагически разевалась, и меня это всегда очень беспокоило, а тут я не могла выйти в кухню за водой. Бабка хранила молчание. Хлопали двери, кто-то уходил, приходил. Потом стали передаваться новости. Оказывается, дед слышал, как вернувшийся военный, отвозивший мать, сказал, что плохо довезли, что она плакала в машине. Глухой тетке из Сухиничей громко кричали в уши, что "плохо довезли", она никак не могла понять. Часа в два, кажется, все кончилось, потому что погасили свет, и мы должны были спать. Мы лежали в темноте с Митькой. Мы делали вид, что спим, но бабка с дедом не спали и вели с военными какие-то переговоры.

Я все время упорно ловила слова "детский дом". Мол, поскольку у обоих нет ни матери, ни отца, нас должны по всем советским законам отдать в детский дом. Мол, в детском доме хорошо, а бабке с дедом не справиться с нашим воспитанием, потому что дед получает 66 рублей зарплаты, а бабка и вовсе ничего. И бабка, и дед отвечали им не слишком решительно, по-

тому что у нас у всех про запас как спасение была мысль о Борисе Леонидовиче, который нас не оставит и не позволит отдать в детский дом. Мы знали, что помощь, которую он нам оказывал все время, будет продолжаться. Естественно, что бабушка боялась открыть наши карты, сказать, что у нас есть какие-то шансы на жизнь, и 66 рублей — это не все, чем мы располагаем.

Но те, видимо, не очень настаивали, и к утру, часов в шесть, бабушка сказала нам, что они с дедом подписали бумагу, согласно которой берут нас под опеку и в детский дом не отдадут. Таково мое самое сильное воспоминание, связанное с первым арестом мамы.

Как мы узнавали о матери? Был дан телефон наших соседей, и следователь звонил иногда бабушке. Он был страшно любезен, чем она восхищалась; мы чувствовали себя изгоями в этом обществе, любезность следователя была прямо подарком, милостью. Поэтому были надежды, надежды, надежды... Бабушка передавала какие-то деньги, какие-то передачи. Один раз ей позвонила незнакомая женщина, сидевшая вместе с матерью, и просила о встрече. Бабушка поехала к ней. Мы ждали ее возвращения. Вернувшись, она сказала, что все очень плохо, что мать беременна, больна.

Потом мы получили письмо уже из Мордовии, и с тех пор эта Мордовия вошла в нашу жизнь довольно прочно. Мы получали регулярно письма, просьбы. Посылки из Москвы отправлять было нельзя, и Митя, маленький (ему тогда было 8 лет), ездил с бабушкой в Перово. Покупались консервированные супы, гороховые каши, не потому, что совсем не было денег, но, видимо, бабке казалось это целесообразным. Все это укладывалось, и раз в месяц Митя ездил с бабушкой в Перово. Потом она рассказывала, какой был страшный ветер, как у нее из рук вырывало посылку, вообще она любила рассказывать всякие ужасы.

Я писала матери письма, хотя живая связь с нею, как с реальным человеком, у меня совершенно прервалась, и бабушка каждый раз, надо сказать, заставляла меня писать.

Борис Леонидович действительно не оставил нас. И хотя он приходил теперь довольно редко, но его помощь была, кажется, единственным, чем мы жили. И потом уже, спустя много времени, когда меня спрашивал на

Лубянке следователь, — что, мол, меня могло связывать с Б.Л., то я тогда ему сказала, что благодаря Борису Леонидовичу мы просто выжили — в физическом смысле этого слова: мы ели что-то, могли на что-то пойти в кино и даже за 800 рублей (за 80, по-нынешнему) бабушка нам снимала какое-то подобие дачи. Пока Б.Л. не заболел (в конце 52 г. у него был инфаркт) он сам приходил к нам. Он приносил нам деньги. Каждый раз было какое-то неловкое чувство.

Вспоминаю одну сцену, когда он пришел в черной своей шубе, в которой, кажется, ходил до последних дней, и в черной каракулевой шапке, сидел за столом с бабушкой, а она, как я уже говорила, всегда рассказывала самое ужасное — что мать умирает от голода, у нее и подагра, и пеллагра, и цинга, и т.д., это мне показалось ужасно унизительным. Б.Л. отвечал, что у него сейчас трудно с деньгами, но он все помнит. Я сделала презрительное лицо и погрузилась в книгу. Тогда Б.Л., как всегда очень непосредственно, совершенно не приспосабливаясь к возрасту, что именно было как раз верно, недаром я это запомнила, сказал мне: "Я понимаю, конечно, Ирочка, ты не хочешь, чтобы я ушел, ты не для этого читаешь, но я действительно спешу".

Скоро умер дед, и однажды бабушка взбежала, задыхаясь, на наш шестой этаж, упала на стул и сказала в ужасе, что теперь все кончено, у Б.Л. инфаркт. Нас охватила паника. Теперь-то я знаю по письмам и еще по кое-каким документам, что как только Б.Л. привезли в больницу и он смог взять в руки карандаш, он нацарапал на бумаге записку М.Баранович*, по которой она должна была передать нам 1000 рублей (100 — по-новому) и все время держать с ним связь. Так что мы не пропали, деньги действительно поступали. Потом, когда он уже поправился, но ходить не мог на шестой этаж по крутой лестнице, бабушка встречалась с ним на бульваре на Чистых прудах. И вот на одну из таких

---

* Марина Казимировна Баранович — машинистка, печатавшая большинство произведений Б.Л.Пастернака.

встреч она взяла меня. Я помню, когда впервые после болезни увидела его весной, сидевшего на лавочке все в той же черной каракулевой шапке. И как мы бросились к нему через снег, я так давно не видела его. И только после этих долгих месяцев отсутствия, тогда на бульваре, ощутила такую какую-то особую связь с ним. Я бросилась к нему, и мы поцеловались. Б.Л. сказал: "Ирочка, я так давно тебя не видел, как ты похорошела, у тебя выровнялись глазки".

"ЗА БЕССМЕРТНОГО СТАЛИНА"

И вот в первый раз, в октябре 49 г. я переступила какую-то роковую грань, какой-то Рубикон, отделяющий человека от заключенного. Уже меня так унизительно осматривали дежурные женщины: уже все лежало у них в руках — все мои любимые женские штучки: колечко, часики — все уже было у них, даже лифчик отобрали, — потому что на лифчике можно повеситься, так мне объяснили потом.

Сидя в одиночке, я все время думала — как же я не увижу Борю, как же так? Боже мой, что же мне делать, как его предупредить? Какая у него будет ужасная первая минута, когда он узнает, что меня нет. И потом вдруг пронзила мысль: наверное, его тоже арестовали; когда мы разошлись, он не успел доехать, как схватили и его.

(А он писал Ариадне Эфрон, попавшей из лагеря в ссылку: "милая печаль моя попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше").

Я не помню, сколько я сидела в этой одиночке, кажется, трое суток. Помню только, что взяла как-то лямку от рубашки и, обернув вокруг горла, начала притягивать к ушам странным движением. Вдруг два человека ворвались ко мне в маленький бокс и потащили меня куда-то далеко-далеко по коридору и втолкнули в камеру, где было уже четырнадцать женщин. Паркетный пол, привинченные к полу кровати, хоро-

шие матрацы. Все женщины в белых повязках на глазах, защищающих от ослепительно яркого света ламп. "Лампа сатанячья, разрывающая глаза...", — писал потом другой зэк.

Вскоре я поняла, что это была одна из изощренных пыток — пытка бессонницей (ночью допросы, днем — "спать не положено" и ярчайший свет прямо в глаза). Инквизиция здесь явно отстала — не тот был уровень электрификации...

Эта хитрая пытка страшно угнетала арестованных. Людям начинало казаться, что время остановилось, все рухнуло; они уже не отдавали себе отчета, в чем невиновны, в чем признавались, кого губили вместе с собой. И подписывали любой бред, называли имена, нужные их мучителям, чтобы выполнить некий бесовский план уничтожения "врагов народа".

Все это мне предстояло понять в ближайшие дни. А пока что после отупения и ужаса крохотной одиночки без воздуха и света я увидела: на столе — чайник, шахматы. Со мной не могли наговориться, расспрашивали обо всем на свете. Я уже рассказала и о своих детях, и о том, что совершенно не понимаю, в чем причина ареста; уверена была, что не сегодня, так завтра выйду на свободу — ведь "они" же убедятся, что взяли меня совершенно напрасно. Говорила всякие смешные вещи, как все впервые попавшие в заключение люди.

Потянулись однообразные длинные дни ожидания. Меня никто не вызывал, никто, казалось, не тревожился моим существованием. Сутки сменялись сутками, с ночных допросов приходили мои сокамерницы.

Была среди них пожилая женщина, Вера Сергеевна Мезенцева — милая, голубоглазая, с румянцем во всю щеку. Она была врачем кремлевской больницы; в новогодней компании был провозглашен тост "за бессмертного Сталина"; и вдруг кто-то сказал, что бессмертный очень болен, у него якобы рак на губе от трубки и дни его сочтены; а другой врач сказал, что он якобы лечил двойника Сталина. По доносу стукача, который, как правило, в те годы находился в каждой компании, вся эта группа неосмотрительных врачей "поселилась" в нашей и соседней камерах. Вере Сергеевне, лишь присутствовавшей на этой вечеринке, грозило минимум десять лет лагерей, и она это понимала.

С первых дней моего пребывания в камере она дружески нежно отнеслась ко мне, расспрашивала о переживаниях, связанных с арестом; о последних минутах мистического моего прощания с Борей, когда мы не могли расстаться, хотя должны были через несколько часов встретиться. Мы с ней гадали, как он примет это известие, как он войдет в мой дом, что станет делать дальше. Позже, когда меня начали уводить из камеры на допросы, я стремилась скорее туда вернуться и кинуться на шею Вере Сергеевне.

Запомнилась еще молоденькая, очень красивая девушка со сросшимися бровями и какими-то ослепительно серыми глазами с длинными ресницами. Я так на нее воззрилась, что она меня сейчас же спросила: "Я на кого-то похожа, по-вашему?" Я тогда сказала ей: "Вы мне напоминаете почему-то Троцкого". А она мне ответила, смеясь: "Так ведь я его внучка, действительно я на него похожа, все это видят". Это была Сашенька Моглина, дочь родной дочери Троцкого, которая с сыном уехала за границу. Отец Сашеньки (один из редакторов "Правды") женился вторично на некоей Кацман. Когда Моглина забрали и расстреляли, мачеху Сашеньки, разумеется, вызывали, допрашивали и, вскоре, с перепугу она призналась, что воспитывает родную внучку Троцкого. К этому времени Сашенька окончила геолого-разведочный институт: кто-то бросил в ее почтовый ящик иностранную газету, в которой сообщалось, что брата ее убили неизвестные лица, а мать покончила с собой. Эта девушка, почти еще ребенок, была арестована по формальному обвинению за переписанные в тетрадку за два года до того опубликованные стихи Маргариты Алигер:

Разжигая печь и руки грея,
наново устраиваясь жить,
мать моя сказала: "Мы — евреи,
*как ты смела это позабыть?"**

---

* Слова из поэмы "Твоя победа", в книге "Избранное" ("Советский писатель", 1947 г., стр. 177).

С Сашенькой, когда ее вызвали "с вещами", мы расстались очень тяжело (ее выслали вместе с мачехой, сидевшей где-то в соседней камере, на дальний север на пять лет как "социально-опасный элемент").

Очень многое забылось, а в ушах до сих пор еще звучит ее крик, когда ее отрывали от меня. Она плакала, а у меня разрывалось сердце. Нигде так не сродняешься, как в камере. Никто так не слушает, и не говорит, и не сочувствует, как соседи, видящие в твоей судьбе свою.

ПЕТРУНЬКИНА ЖЕНА

Однажды ночью (спустя месяц-два после моего ареста) к нам втолкнули смехотворную фигуру — приземистую коротышку-бабу с непомерно большим лицом и коричневыми глазками-щелками. Баба была заплакана и напугана. Нам рассказала, что она из хора Пятницкого — и действительно, был у нее чудесный мягкий голос, она умудрялась и в камере напевать русские песни. Ими заслушивались и надзиратели за дверью: прежде чем ворваться в камеру — "петь не положено, лишение прогулки" — давали допеть песню до конца.

Эта баба (звали ее Лидией Петровной) села из-за собственного мужа, несчастного пьяницы-бухгалтера. Она сама же его и посадила. Приехали они в гости к родным ее Петруньки куда-то за город (кажется, в Загорск). Он напился с братом, а она с маленькой своей дочуркой заперлась от него.

Но Петрунька, не будь дурак, захотел ночевать в постели жены, а не на раскладушке, и начал настойчиво стучаться в запертую дверь. Лидия Петровна не отворяла. Тогда злосчастный бухгалтер, почувствовав, на свою беду, прилив мужской силы, стал требовать и грозить:

— Отвори, девка! — твердил он, матерясь, — лучше отвори! Знаешь, что я сейчас сделать могу, я не только эту дверь сорвать могу, но и Кремль взорвать!

Наутро Лидия Петровна за завтраком сказала родным, что накануне Петрунька по пьянке грозился взорвать Кремль, и попросила их повлиять на зарвавшегося Петруньку: не попасть бы ему за подобные слова в беду. И кто-то из родичей действительно принял меры. В результате у Петруньки где-то рядом с нами теперь допытывались — в какой он террористической организации состоял и на когда был назначен взрыв Кремля.

Дура-жена, обливаясь слезами от жалости, продолжала свидетельствовать, что Петрунька действительно покушался в ту ночь на правительственную резиденцию, но только на словах. По тогдашним обычаям Петруньке грозил восьмилетний срок, да и ей за недоносительство пять лет полагалось. Но за помощь (хотя и невольную) в разоблачении разбойника ее обещали выпустить. И действительно, как ни странно, выпустили. Лидия Петровна вышла на волю, записав предварительно рыбьей иголкой на платочке наши адреса.

Немного забегая вперед, скажу, что у меня к тому времени выяснилась беременность, о чем Лидия Петровна, выйдя на волю, сообщила моей маме, вызвав трагикомическую ситуацию с Борисом Леонидовичем.

Кстати, как только была установлена моя беременность, в решетчатое окошко нашей камеры стали вдвигать белый батон, пюре вместо каши и винегрет. Кроме того, мне разрешили двойную норму продуктов из тюремного ларька. Самая же главная и ощутимая милость ко мне была проявлена так. Спать днем было не положено, несмотря на то, что подследственный проводил в кабинете следователя часто всю ночь, а весь день ходил по камере и думал, думал. Едва он начинал клевать носом, как врывался надзиратель и будил его. Ко мне же после подъема обязательно входил дежурный и, тыча в меня пальцем, произносил с уважением: “Вам положено спать, ложитесь”. И я падала в сон как в бездну, без сновидений, обрывая на полуслове рассказ об очередном допросе. Милые мои соседки по камере шептались, чтобы меня не будить, и я просыпалась только к обеду.

У МИНИСТРА НА ДОПРОСЕ

Конечно, не все соседки были столь уж милы. Была, например, какая-то странная, загадочная Лидочка (фамилию ее не запомнила), сидящая уже шесть лет. Она оказалась "наседкой", сотрудницей Лубянки, доносящей начальству о всех разговорах в камере номер семь*.

— Ну, Олечка, — сказала она мне, — вас обязательно выпустят, потому что если не вызывают так долго, значит, нет состава преступления.

Наступили четырнадцатые сутки со дня моего ареста. Мы с Сашенькой и Верой Сергеевной поужинали картофелем с селедкой и после обычных разговоров (а как там родные? А что нас ждет? И даже — о последних, просмотренных еще на воле кинофильмах) легли спать.

Но не успела еще заснуть, как вдруг: "Ваши инициалы? Одевайтесь на допрос!" Я назвала инициалы. — "Инициалы полностью!" — сказал дежурный. Каждый раз, справляясь об инициалах, требовали, чтобы их называли "полностью".

Дрожа от нетерпения, я начала натягивать на себя переданное из дому мое крепдешиновое синее в большую белую горошину платье. Его очень любил Б.Л.; не раз встречая меня в нем, он говорил: "Лелюша, вот такая ты должна быть, вот такая ты мне и снилась". В этот раз я надевала это платье с особенным чувством любопытства и надежды: вот сейчас предстоит какая-то

---

* Она была затем зверски убита заключенными, узнавшими "наседку": засунули в выгребную яму и держали, пока не захлебнулась. Такова страшная судьба восковой девочки в бережно хранимых шелковых платьицах, мечтающей о "царской милости". А была она при немцах женой полицая, все кого-то опознавала в течение шести лет на Лубянке, получая папиросы от следователя.

особенная страница моей жизни, и после этого я безусловно выйду отсюда, буду идти по улицам Москвы, и какая будет неожиданность Боре, который войдет утром на Потаповский и увидит меня.

Но пока что я шла по длинным коридорам Лубянки, проходила мимо запертых таинственных дверей; из-под них иногда вырывались лишь какие-то бессвязные восклицания. Конвоир остановил меня у двери с номером 271. Это была, скорее, дверь в шкаф, чем дверь в комнату. Когда я вошла в этот шкаф, мне показалось, что он перевернулся, как избушка на курьих ножках, и, когда остановилось это вращение, я очутилась в большой комнате, где стояло не менее десяти человек в погонах и со знаками отличия. Однако меня провели мимо расступившихся и умолкших военных к другой двери.

Я оказалась в огромном, хорошо освещенном уютном кабинете, обшитом, как мне показалось, пушистой серой замшей. Наискосок по диагонали стоял огромный стол, покрытый зеленым сукном. Лицом ко мне сидел за ним красивый полный человек. Первое мое впечатление, что этот человек был именно красивый, выхоленный, полный, кареглазый, с разлетающимися бархатными бровями, в длинной гимнастерке кавказского образца с мелкими пуговками от горла.

Он указал мне на стоящий поодаль от него стул и предложил сесть. На столе стопкой лежали книги, взятые из моей квартиры во время обыска. Одна была особенно мой любима — ее привез из-за границы Фадеев. На ее заглавном листе пастернаковскими размашистыми “журавлями” во всю страницу летела надпись: “Тебе на память, хотя она в опасности от такого обилия безобразных моих рож”. Книга начиналась чудесным графическим портретом мальчика лет семи. Мальчик болтал босой ножкой и что-то рисовал в тетрадке на едва обозначенном штрихом столе. Это был Боря, запечатленный своим отцом, Леонидом Осиповичем Пастернаком. А далее шел автопортрет художника, красивого седого человека в мягкой шляпе. В его вдохновенном и прекрасном лице, добром, мудром и спокойном, проглядывались Борины сдвинутые, неправильные, выразительные черты древнего африканского бога.

Была еще маленькая красная книжечка стихов; когда-то само счастье расписалось Бориной рукой на

ней в аппрельское утро: "Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя". И дата — 4 апреля 1947 года, когда наша близость казалась Боре потрясающим подвигом и наградой.

И еще были книги стихов и переводов Б.Л., подаренные мне за последние годы с автографами; много книг на английском языке.

И все это — на столе в самом страшном здании в мире — книги эти любимые уже трогали чужие, враждебные руки. Я вся подобралась, чтобы встретить свою судьбу: "отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства".

И человек за столом сурово спросил:

— Ну что, антисоветский человек Борис или нет, как по-вашему?

И сразу же полунасмешливо:

— Почему вы так озлоблены? Вы же за него боялись почему-то! Сознайтесь, нам все известно. Ведь вы боялись?

— За любимого человека всегда боятся, — ответила я, — выйдет на улицу, кирпич может упасть. Относительно того, антисоветский ли человек Б.Л., — на вашей палитре слишком мало красок; только черная и белая. Трагически недостает полутонов.

Человек за столом повел бровями:

— Откуда к вам попали эти книги, — он кивнул на пачку изъятых у меня книг, — вы, вероятно, понимаете, почему сейчас находитесь здесь?

— Нет, не понимаю, ничего за собой не чувствую.

— А почему вы собрались удирать за границу? У нас есть точные сведения.

Я с возмущением ответила, что никогда в жизни не собиралась удирать за границу, и он досадливо отмахнулся от меня:

— Вот что, советую вам подумать, что за роман Пастернак пускает по рукам сейчас, когда и так у нас столько злопыхателей и недоброжелателей. Вам известно антисоветское содержание романа?

Я снова возмутилась и тут же довольно сбивчиво попыталась рассказать сюжет написанной части романа, стараясь взять в основу содержание главы "Мальчики и девочки", которую незадолго до того Б.Л. читал у Ар-

дова, где среди слушателей были Ахматова и Раневская (тогдашнее название впоследствии не сохранилось).

Человек за столом прервал меня:

— У вас еще будет время подумать и ответить на эти вопросы. Но лично я советую вам усвоить, что мы все знаем, и от того, насколько вы будете правдивы, зависит и ваша судьба, и судьба Пастернака. Надеюсь, когда мы еще раз встретимся, вы не будете ничего утаивать об антисоветском лице Пастернака. Он сам об этом достаточно ясно говорит. Уведите ее, — царственным жестом указывая на меня, сказал он вошедшему в этот момент конвоиру. Часы, висящие в конце бесконечного коридора Лубянки, показывали три часа ночи.

ВОТ ВАШ СКРОМНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Трехчасовой сон под светом ослепительных ламп не дал отдыха. День прошел как в тумане. Я начала понимать, что такое пытка бессонницей и светом. Мысли путались, я изнемогала. Едва дождалась отбоя и закрыла косынкой глаза от мощных ламп, как загремела дверь, и — "ваши инициалы полностью...".

И опять меня вели по длиннейшему коридору — на этот раз в кабинет попроще, занятый незнакомым мне человеком в гимнастерке. В ответ на его первые вопросы я сказала, что уже была вызвана, и у меня, очевидно, другой следователь, а не он.

— Ну конечно, — сказал он, — вот ваш скромный следователь — это я. Представляюсь: Анатолий Сергеевич Семенов. А вчера вас допрашивал сам министр Абакумов; что же вы не догадались, видите, какой у меня скромный кабинет; и ничего похожего на вчерашнее вы здесь не нашли. Ну так вот — давайте рассказывать.

— О чем же я буду вам рассказывать? — спросила я.

— Ну вот, относительно того, как вы с Пастернаком собирались удрать за границу, поносили советскую власть, говорили о том, что правительство вам не нравится, слушали заграничную брехню, расскажите, что

это за роман Пастернака? он с вами, конечно, делился. Что думает дальше в нем писать? С какими знакомыми вы встречаетесь? — вот все, что вам надо обдумать и что нам с вами надлежит рассмотреть.

— Хорошо, я вам все напишу и все вам сделаю, но мне надо домой, — сказала я с нелепейшею наивностью, — вы же знаете, что это совершенно все дико, там дети, я не чувствую за собой никакой вины.

Потом уже я уяснила на своей шкуре основной принцип деятельности МГБ тех лет: "был бы человек, дело найдется". Вернее, умом я знала его давно — ведь в нашем доме жило много военных (в том числе и Гамарник); ночные аресты безвинных людей превратились в страшную повседневность. Но как метко Б.Л. подметил: "Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключиться с другими". На этот раз грянул мой черед, и привыкнуть к этой мысли было трудно.

Семенов усмехнулся:

— Ну, через полгода, через восемь месяцев мы установим, есть у вас вина или нет.

Я похолодела: некая грань перейдена, дверь захлопнулась, и мне отсюда уже не выйти.

И вот ночь за ночью пошли допросы. Семенов не был со мной особенно груб. Он говорил насмешливым издевательским тоном, бесконечно повторял стереотипные фразы о том, что Пастернак садится за стол Англии и Америки, а ест русское сало. Эта формула мне уже и тогда надоела, и впоследствии пришлось ее слышать не раз. И, наконец, он прямо сказал, что Пастернак по сути уже давно стал английским шпионом.

Наверно, на втором же моем допросе он дал мне несколько листов бумаги и попросил вкратце написать о содержании романа "Доктор Живаго".

Я начала писать о том, что это фамилия интеллигента, врача, трудно пережившего эпоху между двух революций. Это — творческая личность, поэт. Если не сам Живаго, то его товарищи должны дожить до нашего времени. Ничего порочащего советскую власть в романе не будет. Должна быть написана правда, свидетельство эпохи, что и нужно получить от каждого настоящего писателя, если он не замыкается в личном мирке, но хочет рассказать о своей эпохе.

Вот я уже исписала неразборчивым почерком несколько листков, когда Семенов небрежным жестом взял один из них и с недовольной миной сказал:

— Не то вы пишете, не то! Вам надо просто написать, что вы действительно читали это произведение, что оно представляет собой клевету на советскую действительность. Вы прекрасно знаете — нам попадались некоторые страницы. И не стройте из себя дурочку. Вот, например, стихи — "Магдалина", разве это стихи нашего поэта? К какой это эпохе относится? И потом, почему вы ни разу не сказали Пастернаку, что вы советская женщина, а не Магдалина, и что просто неудобно посвящать любимой женщине стихи с таким названием?

— Почему вы решили, что они посвящены мне?

— Но это ясно, ведь мы же знаем об этом, так что вам запираться нечего! И вам надо говорить правду, это единственное, что может как-то облегчить вашу участь и участь Пастернака.

Недовольный моим изложением романа, Семенов начал перебирать лежавшие перед ним бумаги с какими-то стихами, записками, обрывками.

Так потянулись мои лубянские будни: оказалось, что будни бывают и в аду. Допросы продолжались почти каждую ночь. Я как-то держалась только потому, что из-за моей беременности получила разрешение спать до обеда. Послеобеденный досуг (и он есть в аду) заполняли по-разному. То что-то мастерили при помощи иголки, сделанной из рыбьей кости, в которой проделывали ушко для нитки; то гладили платья, готовясь на допросы: смачивали их водой и сидели на них. А главное время занимали разговоры и чтение стихов.

Долго велись разговоры о каком-то страшном Дороне. Он будто бы считал своим долгом выносить драконовские приговоры по самым пустячным делам.

Иногда нашу жизнь разнообразили приходы новых заключенных. Вдруг входила женщина, крестилась и плакала; потом входила другая, начинала с проклятий: оказалось — нахватала пощечин от следователя на первом же допросе.

За время бесчисленных ночей мы с Семеновым даже как-то привыкли друг к другу и стали заниматься раз-

говорами о поэзии вообще и Пастернака в частности. Я читала ему по памяти куски из "Лейтенанта Шмидта", и он говорил мне:

— Вот же мог писать ваш Пастернак! Вот видите, это вы его испортили! А теперь его со словарем надо читать ведь непонятно — что такое, например, "нард" из Магдалины:

Обмываю нардом из ведерка
Я стопы пречистые твои .

Что это такое, интересно?

Я отвечала дерзко, что не обязана ему объяснять, но затем все же пыталась растолковать, что нард — это пахучее вещество из корневищ ароматических растений (потом Б.Л. нард заменил на благовонное масло миро:

Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои).

Как-то, перепутав Магдалину с Мадонной, Семенов спросил:

— Ну что вы Магдалиной представляетесь? Уморили двух мужей, честных коммунистов, а теперь бледнеете, когда об этом подлеце разговор идет, а он ест русский хлеб и садится за английский стол!

Мне так надоело это пресловутое сало, что я с досадой пыталась объяснить, что это сало все же окуплено и "Лейтенантом Шмидтом", и даже Шекспиром и Гете.

В другой раз Семенов начинал сомневаться в моей любви к Б.Л.:

— Ну что у вас общего, — раздраженно спрашивал он, — не поверю я, что вы, русская женщина, могли любить по-настоящему этого старого еврея; вероятно, какой-то расчет тут был! — (Евреи всегда старые — метко подметил Ремарк — они и рождаются стариками. На каждом с рождения лежит печать двухтысячелетних гонений). — Я же видел его, не могли вы его любить. Просто гипноз какой-то! Кости гремят, чудовище. Ясно — у вас расчет.

И еще один ход:

— Пусть ваш Пастернак напишет что-нибудь подходящее, и родина его оценит.

Вероятно, как во времена Радищева, Пушкина, Полежаева, так и сейчас по отношению к Б.Л. жандармы претендовали на роль первых ценителей художественного слова. И вели на художников пухлые тайные дела, терзая в застенках если не их самих, то близких и дорогих им людей. Сына Анны Ахматовой Льва Гумилева арестовывали трижды. В общей сложности он провел в тюрьмах и лагерях одиннадцать лет и несколько лет в ссылках. Анна Андреевна писала: "Три месяца его избивал следователь Бархударьян и... вынудил Гумилева подписаться под чудовищным обвинением: будто бы я, Ахматова, подготавливала его для убийства А.А.Жданова... Мне никогда не было плохо, как теперь. Каждый лишний день разлуки приближает конец". Кроме того, Гумилева обвинили еще в одном кошмарном "злодеянии": якобы он критиковал постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград". Хотя Анна Андреевна уверяла, что, заранее опасаясь подобных обвинений, он ни с кем не говорил о "постановлениях".

Надежда Мандельштам рассказала об Андрее Белом: он только и делал, что провожал в ссылку и встречал тех, кто отсидел свое и возвращался (до 34 г. были и такие). Не раз уводили на Лубянку и его жену. "Почему берут ее, а не меня", — жаловался он.

Уже где-то в середине 59 г. Боря вложил в конверт тысячу рублей и, надписав на нем адрес, дал задание Ире — отвезти деньги вдове Белого, Клавдии Николаевне. Оказывается, что еще тогда старания Каверина, Паустовского, Вигдоровой выхлопотать пенсию Бугаевой (Васильевой) не увенчались успехом. Я так и не знаю, успела ли она хотя бы раз получить пенсию до своей смерти. А тогда Ира поехала со своим женихом Жоржем Нива; тот очень увлекался творчеством Белого, писал диссертацию. Приехали они куда-то на Гоголевский бульвар, Жорж остался, а Ира вошла. Рассказала потом, что попала в огромную старую квартиру, пропыленную и заваленную рухлядью. Встретила ее старушка, видимо — компаньонка Бугаевой, и объяснила, что хозяйка квартиры очень тяжело больна, к ней нельзя. Только через открытую дверь Ира увидела старинную кровать и человеческую фигуру на ней, под кучей тряпья. Ира передала деньги и вышла на бульвар к разочарованному Жоржу...

Но за десять лет до того — в сорок девятом — во внутренней тюрьме Лубянки, трепеща за свободу и жизнь моего любимого, я видела призраки невозвратившихся: Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Тициан Табидзе, Егише Чаренц, Павел Васильев, Борис Корнилов, Иван Катаев, Бенедикт Лившиц, Бруно Ясенский... сколько их еще — "замученных живьем", застреленных, превратившихся в "погостный перегной"?

...Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой... *

Однажды, когда во время допроса в железные ворота Лубянки раздался громкий стук, Семенов с улыбкой обратился ко мне:

— Слышите? Вот это Пастернак ломится сюда! Ну ничего, скоро он сюда достучится...

Я и сейчас не представляю себе, чтобы Семенов не понимал всей абсурдности моего дела. Возможно, он учитывал и то, что имя Пастернака и полное отсутствие моей вины делали вероятным мое сравнительно скорое освобождение. Быть может, именно поэтому он не был со мной груб, как следователи моих товарок по камере. С его соизволения мне выдали для чтения среди других редких книг однотомник Пастернака. Похоже, что он позаботился и о том, чтобы эту книгу оставили у меня до конца моего пребывания на Лубянке.

---

* Н.Заболоцкий.

"СВИДАНИЕ"

Медленно, неумолимо шли мои будни во внутренней тюрьме Лубянки, пока следствие не перевалило за полугодичный срок, с самого начала обещанный мне Семеновым.

И вот однажды на допросе появился третий человек. Это был другой следователь, при котором Семенов вел себя со мной гораздо резче обычного. Он мне сказал:

— Ну вот, вы так часто просили о свидании, и мы сейчас вам его даем; приготовьтесь к свиданию с Пастернаком!

У меня все внутри похолодело, и вместе с тем меня охватила необычайная радость — я даже забыла, что увижу сейчас Борю в таком состоянии — арестованного (тогда я была уверена в этом), униженного, наверное, измученного. И все же мне казалось, что будет большим счастьем, что я его обниму, найду в себе силы сказать ему какие-то нежные ободряющие слова...

Оба следователя подписали бумажку, выписали пропуск, вручили его конвоиру, и я вышла с ним, прямо шатаясь от счастья. Меня усадили в темный "воронок" и куда-то повезли (как говорили потом — на областную Лубянку, хотя я не знаю точно). А затем началось длительное хождение по бесконечным незнакомым коридорам. То и дело встречались лестницы — вверх, но чаще — все вниз и вниз. Это — тоже, видно, был один из приемов изнурить человека, лишить его воли сопротивляться.

Между тем стало ясно, что ведут меня куда-то в подвал. Когда я уже окончательно была измучена, где-то в полутемноте меня втолкнули в дверь и захлопнули ее напрочь с каким-то могильным железным лязгом. Я со страхом обернулась, но никого не было. Когда глаза привыкли к полумгле, я увидела известковый пол с лужами воды, покрытые цинком столы, и на них — укрытые кусками серого брезента неподвижные чьи-то тела.

Специфический сладкий запах морга. Трупы... Один из них, значит, и есть мой любимый?

Я опустилась на известковый пол; ноги мои при этом оказались в луже, но я ничего не замечала. И, как ни странно, вдруг прониклась полным спокойствием. Почему-то, как будто Бог мне внушил, я поняла, что все это — страшная инсценировка, что Бори здесь не может быть.

Позже выяснилось, что едва ли не в этот самый день Борис Леонидович писал строки из "Свидания":

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

....

И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

....

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Но в этот день на свете мы еще были: он — в Переделкине, я — в морге Лубянки.

Я не знаю, сколько прошло времени, но вот опять залязгала дверь, и опять меня повели — на следующий этап "свидания". Я шла вверх и вниз по бесконечным коридорам и — дрожала; не от страха — от простуды. Холод и сырость на полу морга разом охватили меня, и больше не отпускали.

Когда меня ввели в ярко освещенную комнату, Семенов с многозначительной улыбочкой сказал:

— Простите, пожалуйста, мы перепутали, и вас отвели совсем не в то помещение. Это вина конвоиров. А сейчас приготовьтесь, вас ждут.

Открылась еще одна дверь — за нею, к моему величайшему удивлению, оказался не Боря, а Сергей Николаевич Никифоров, учитель английского языка Ирочки, о котором я уже подробно писала раньше.

Пожилой, благообразный С.Н. неузнаваемо переменился: оброс щетиной, брюки расстегнуты, ботинки без шнурков.

— Вам известен этот человек? — спросил Семенов (вот тебе и свидание с любимым!).

— Известен, это Никифоров, Сергей Николаевич.

— Вот видите, вы даже не знаете, каких людей принимаете, — с усмешкой заметил Семенов, — он вовсе не Никифоров, а Епишкин, бывший купец Епишкин, бежавший за границу! Неразборчивый вы человек, Бог знает, кто у вас бывает в квартире.

(Потом выяснилось, что купец Епишкин в годы первой мировой войны уехал в Австралию, а после революции вернулся и, женившись, взял себе фамилию жены).

— Скажите, Епишкин, — обратился к нему его следователь, — вы подтверждаете вчерашние показания о том, что были свидетелем антисоветских разговоров между Пастернаком и Ивинской?

— Да, подтверждаю, был свидетелем, — с готовностью ответил Епишкин.

— Сергей Николаевич, как вам не стыдно! — возмущенно сказала я. — Вы ведь даже не видели нас вместе с Б.Л.!

— Не переговаривайтесь, отвечайте только на заданные вам вопросы, — одернули меня.

Допрос велся в какой-то неимоверно обидной форме, хотя и был по сути смехотворным.

— А вот вы рассказывали, что Ивинская делилась с вами планами побега за границу вместе с Пастернаком и они подговаривали летчика, чтобы он их перевез на самолете, вы подтверждаете это?

— Да, это было, — тупо отвечал Епишкин.

Но опять я возмутилась наглой ложью, и хотя Семенов жестом показал мне на губы, чтобы я молчала, у меня опять прорвалось:

— Как же вам не стыдно, Сергей Николаевич?

Возмущенная, я не находила других слов.

— Но вы же сами все это подтвердили, Ольга Всеволодовна, — пробормотал Епишкин.

Стало ясно: его убедили дать заведомо ложные показания, прибегали, наверное, к беспардонной провокации — утверждали, что все равно я уже призналась во

всех этих несовершенных и незадуманных преступлениях.

— Расскажите, как вы слушали антисоветские передачи у приятеля Ивинской Николая Степановича Румянцева, — продолжал свое следователь Епишкина, развязный и наглый молодой человек с прыщавым лицом.

Но тут, похоже, Сергей Николаевич понял, что я на допросе ничего не измышляла на его счет. И он начал мяться, путаться ("Да все это, наверное, не так" и т.д.).

— Так что же, вы нам лгали? — набросился на него следователь.

А тот все хныкал, увиливал, от его когда-то самоуверенного спокойствия не было и следа.

Здесь я еще добавила, что Никифоров-Епишкин видел в лицо Пастернака всего-то два раза, и то на публичных вечерах, куда я ему помогла пройти.

Когда Епишкин со своим следователем удалились, Семенов самодовольно сказал:

— Вот видите, не все такие, как ваш следователь. Поедем-ка домой. В гостях хорошо, а дома лучше...

Снова коридоры, снова “воронок”... Едва я добралась до “родной” камеры, как была разодрана чудовищной болью: начался выкидыш. Ожидание свидания с Борей, кошмарные минуты (или часы?) на известковом полу морга, дурацкая очная ставка, — все это было нервным потрясением, и оно не прошло безнаказанным. Я оказалась в тюремной больнице. Там и погиб, еще не успев появиться на свет, наш с Борей ребенок.

* * *

Уже после смерти Сталина, когда остался позади кошмар лагеря, я получила письмо. На конверте стоял обратный адрес: “Мордовская АССР, п/о Явас, п/я ЖХ 385/7 Епишкин С.Н.”

Вот часть этого письма (с точным сохранением орфографии и пунктуации оригинала):

> “Недавно и случайно я узнал, что Вы дома. Я долго обдумывал — написать ли Вам? В конечном раздумье — совесть честного человека — а я всегда таковым был, в том же глубоком океане людей, в который Вы

возвратились, — подсказала мне, что я должен оправдать то положение, в которые я когда-то поставил Вас, и поверьте — вынужденно, при тех обстоятельствах, которые тогда существовали. Я знаю, что эти обстоятельства в то время, Вам также были известны и испытаны до некоторой степени и Вами. Но к нам мужчинам оне применялись конечно выразительнее и круче, нежели к женщинам. До моего свидания с Вами тогда, я отклонил, — хотя и подписанные мною — два документа. Но много ли таких, которые смело, но справедливо, идут на эшафот? К сожалению я не принадлежу к таковым; потому что я не один. Я должен был думать и пожалеть свою жену.

Говоря яснее, тогда, то время было, такого, что по положению как бы, один тянул другого в одну и ту же пропасть. Отклоняя и отрицая эти подписанные мною два документа, я твердо знал, что оне были ложно, не мною, средактированы; но я вынужден был, как я сказал, хоть на время, но избавить себя от обещаемых эшафотов...”

Перечитывая это письмо и сопоставляя свою растерянность первых дней ареста и ужас морга с поведением Епишкина (и многих тысяч подобных ему), я особенно остро понимаю единственное, в чем можно обвинить заключенного — это дача ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но не в растерянности и страхе. Епишкин был не один. Слишком многих первые же дни заключения превращали в доносчиков, обвинителей и вообще рабов инквизиции. У Епишкина, хотя и поздно, но все же пробудилась совесть.

И поэтому и я с Борей, и мама, и дети — мы все простили Епишкина, когда после смерти Сталина он вернулся в Москву. Моя мама до недавнего времени (пока он еще мог работать) ему помогала, подыскивала желающих брать уроки английского языка. Сейчас его, кажется, уже нет в живых.

ПАСТЕРНАК И ЛУБЯНКА

Трагическое и смешное часто уживаются рядом.

Я уже говорила, что "Петрунькина жена" — Лидия Петровна — исполнила свое обещание: освободившись, она дала знать моей маме, что я скоро должна родить. К этому времени мне устроили "свидание" в морге, и ребенок погиб. Но на воле никто не знал, что нашему с Борей ребенку не суждено было появиться на свет Божий.

И Боря стал метаться по Москве, рассказывать всем знакомым и малознакомым, что я скоро рожу в тюрьме, и искать сочувствия.

Между тем, спустя месяц я вышла из больницы, допросы пошли своим чередом, хотя обвинения следователь уже высасывал из пальца, очевидно, нагоняя себе требуемые часы.

Наконец, на допросах мы начали разбирать бумаги, стихи и записки, собранные следователем. Львиная доля шла на уничтожение, в печь, а некоторые возвращались родным. В частности, следователь "постановил" кое-какие книги с надписями "личного характера" вернуть Пастернаку. Для этого его вызвали на Лубянку.

Здесь начинается фарс. После получения вызова Б.Л. позвонил Люсе Поповой. Вот как она об этом рассказывает:

> "Вы знаете, я иду в такое страшное место, — говорил Б.Л., — вы же понимаете, куда я иду, я нарочно не хочу говорить, куда я иду, — глухому бы ясно было, куда именно он идет!
>
> — Вы знаете, они сказали, чтобы я немедленно пришел, они мне что-то отдадут. Наверное, мне отдадут ребенка. Я сказал Зине, что мы его должны пригреть и вырастить, пока Люши не будет.
>
> — Ну, и как Зинаида Николаевна среагировала на это? — спросила я.
>
> — Это был ужасный скандал, но я должен был вытерпеть, я тоже должен как-то страдать... Какая же там жизнь у этого ребенка, и, конечно же, меня вы-

зывают, чтобы забрать его. И вообще, если я там останусь, я хочу, чтобы вы знали, что я вот туда пошел.

— Может быть, мне подъехать и там побыть где-нибудь поблизости, пока вы выйдете? — предложила я.

— Нет, я не знаю, где назначить, я еду прямо сейчас. Если выйду, сразу позвоню".

И вот Б.Л. явился на Лубянку и с ходу начал препираться со следователем Семеновым, требуя от него выдачи "моего ребенка". Но вместо ребенка ему была выдана пачка его же писем ко мне и несколько книг с его надписями, в том числе и злосчастная книжечка в красном переплете, на титульном листе которой стояла дата "4 апреля 1947 года".

Множество следователей находили причину зайти в комнату, где Б.Л. скандалил с Семеновым, чтобы посмотреть на живого Пастернака.

Полный смятения и недоумения от того, что ребенка не отдают, он потребовал бумагу и карандаш и тут же написал письмо министру госбезопасности Абакумову.

Начальные строки этого письма мне затем и показывал Семенов, заслоняя все остальное, и говорил:

— Вот видите, и сам Пастернак признает, что вы могли быть виновны перед нашей властью.

В действительности Б.Л. писал, что если они считают, что у меня есть вина перед ними, то он готов с этим согласиться, но вместе с тем это вина его; и если есть у него кое-какие литературные заслуги, то он просит, чтобы учли их и посадили бы его, а меня отпустили.

Я понимала, что в этом вполне искреннем письме министру была, конечно, некоторая свойственная ему игра в наивность, но все, что он ни делал — все было мило и дорого мне, и все казалось доказательством его любви.

Он позвонил Люсе Поповой и сказал:

— Мне ребенка не отдали, а предложили забрать мои письма. Я сказал, что они ей адресованы, и чтобы отдали их ей. Но мне все же пришлось взять целую пачку писем и книг с моими надписями.

— Не привезете домой ребенка, — сказала Люся, — так привезете какие-нибудь нежные письма, или что-то еще, что будет не лучше ребенка.

И посоветовала не везти домой всю пачку, а перебрать и перечитать письма и надписи.

— Да, вы всегда трезво смотрите на вещи, — отвечал Б.Л., — с вами одно удовольствие разговаривать, но не будет у меня больше никто ничего читать.

Тем не менее он вырвал некоторые надписи, а затем после моего возвращения заново их восстанавливал.

* * *

Наступил день, когда какой-то прыщавый лейтенант объявил мне заочный приговор "тройки": пять лет общих лагерей "за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже".

Сколько месяцев меня допрашивали, сколько бумаги извели — на одно только единственное лицо — Пастернака.

Подобно тому, как на Пушкина велось досье в Третьем отделении при Николае Первом, так и на Пастернака всю его творческую жизнь велось дело на Лубянке, куда заносилось каждое не только написанное, но и произнесенное им в присутствии бесчисленных стукачей слово. Отсюда и "прогресс": Пастернак попал не просто в число крамольных поэтов — но и попросту в английские шпионы. В этом была своя логика: в Англии жил и умер его отец, остались сестры. Значит — шпион. Значит, если не его самого, то хоть меня нужно отправить в лагерь.

Спустя годы Боря писал обо мне в Германию Ренате Швейцер *.

---

* В начале пятьдесят восьмого года Б.Л. получил из ФРГ либретто оперы по роману Гофмана "Эликсир дьявола". Либретто написала совершенно Б.Л. неизвестная молодая поэтесса Рената Швейцер, музыку — ее отец. Авторы спрашивали у Б.Л. мнения о работе, которую хотели посвятить ему. — Либретто написано хорошими стихами, — говорил Б.Л., — а преувеличение Гофмановских ужасов лишь оздоровляет атмосферу. Б.Л. написал Ренате, между ними завязалась дружеская переписка. Рената издала книгу "Дружба с Борисом Пастернаком." Мюнхен, 1963 г. (на немецком языке).

"Ее посадили из-за меня как самого близкого мне человека по мнению секретных органов, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных показаний для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали..." *.

И вот — пересыльная тюрьма в Бутырках — истинный рай после Лубянки. А затем этап: в пульмановский вагон нас запихали как сельдей в бочку — весь вредный элемент, попавший на бутыркинский пересыльный курорт из Лефортова и Лубянки. Передых кончился. Поезд тронулся в неизвестность, пока — в духоту и смрад. Я попала на третьи багажные нары и видела, как в небе плавает удивительно свежий и свободный молодой месяц. На меня навалилась монархистка Зина и шептала о том, что прорицательница, за которую она села, матушка разогнанного монастыря, предсказала скорый переворот и свободу. Я сочиняла стихи о разлуке и тосковала, глядя на месяц. Очень хотелось верить Зине.

А затем пеший переход с заключенным стариком-генералом; он меня успокаивал, что "скоро все окончится". И, наконец, лагерь.

ЖУРАВЛИ НАД ПОТЬМОЙ

Когда сейчас крутится магнитофонная лента — когда "в милый край плывут, в Колыму" душу раздирающие галичевские "Облака" и освобожденный после двадцати лет лагерей бывший зэк вспоминает, как он "подковой вмерз в санный след", в лед, что он "кайлом ковырял"

---

* Письмо от 7.5.58. Написано на немецком языке. Опубликовано в книге: Рената Швейцер. Дружба с Борисом Пастернаком. Мюнхен, 1963 г., стр. 43.

— у меня перед глазами возникает другая картина. Вспоминается один мой лагерный день тысяча девятьсот пятьдесят второго года...

Знойное, раскаленное небо над сухими мордовскими полями, где "над всходами пляшет кнут...". Всходов, правда, еще нет: серая, растрескавшаяся земля. Ее должны поднять политические, "пятьдесят восьмые", под кнутом и окриками надсмотрщиков и холуев — выдвиженцев из вырождающихся "политических".

Медленно плывут облака над Потьмой. Кипенно-белые, жаркие облака. Над неподъемной, сухой землей. Полдень. Работаем с семи утра. Еще восемь часов стоять под жгучим солнцем до конца рабочего дня. Я в бригаде Буйной, агрономши из зэков. Это сухонькая, маленькая остроносая женщина. Похожа на какую-то хищную птичку. Бригадирша гордится доверием лагерного начальства. Нас, московских "барынь", она ненавидит острой ненавистью. Попасть в бригаду Буйной сущее наказанье. Я к ней попала как разжалованный, не справившийся с обязанностями бригадир. Командные должности мне спервоначалу давали из-за моего пятилетнего срока — такие сроки были редкостью и всегда вызывали недоумение у лагерного начальства. В бригаде Буйной "справлялись" — конечно, не дотягивая до нормы — только дебелые "спидницы" — западные украинки, бандеровки, и власовки (правда, одна старуха получила двадцать пять лет за то, что напоила молоком неизвестного мужика, оказавшегося бандеровцем), всю жизнь с детства работавшие на земле.

Буйная орет на всех с утра, меня дергает за руку, сует мне в руки кайло. Я уныло пытаюсь подковырнуть землю — не ковыряется. О норме или "полнорме" и мечтать нечего.

Дострадать бы день до конца, проклиная солнце, этот раскаленный шар, работающий во всю июньскую мощь и долго-долго не желающий садиться... Хоть бы ветерок! Но если дует — то горячий, не облегчающий... Только бы "домой", в зону!

Буйная имеет десять лет. Что-то неладно у нее было с коллективизацией, два сына сидят в уголовных лагерях на Севере. Она работает вовсю, висит на доске лагерных ударников. Ее обязанность — никому не да-

вать поблажки. Надо покупать себе право ходить в барских барынях, показывая даже конвою, как она умеет издеваться над белоручками. Сдохла потом в лагерной больнице от туберкулеза.

Помню свое отчаяние: норма передо мной — несколько кубометров спрессованной жаром земли, надо поднять, перерыть ее непривычными руками, когда и само-то кайло подымаешь с трудом.

Чтобы окончательно не одуреть от жары, закрываемся нелепыми шляпами из марли, кое-как накрученной на проволоку. Буйная презирает нас за это. Сама она от солнца не закрывается — кожа лица одубела, съежилась, а ведь ей лет сорок, не больше. Мы стоим по рядам, вразброд, на сухой, раскаленной земле.

Серые платья с выжженными хлоркой номерами на спинах и подолах сшиты из чертовой кожи, все — на манер рубашек. Ветерка этот материал не пропускает. Пот катится струями, жжет грудь, мухи липнут, на дороге ни тени. Вот когда...

В белом мареве тонет дорога,
И свисает с креста головой
Труп от жажды уснувшего Бога...

В висках стучат и стучат какие-то строки. Вспоминаю, твержу из своих тюремных стихов:

... Так бывает, что радужный глаз у орла
Мутной пленкою вдруг заплывает,
И волна превращается в ворох стекла...
Это так... Но чудес не бывает...

Кайло не подымается. Кирзовые башмаки сорок четвертого размера, как бы в насмешку надетые на мои ноги (мне и тридцать шестой был велик) не оторвешь от земли. Бога нет. Чудес не бывает.

Буйная вырывает у меня кайло, шипя от злости. Она напишет рапорт, что я кантуюсь... "Барыня, москвичка, белоручка! работать надо, а не даром пайку жрать...". Жара, отчаянье, сознание полной безысходности. Сколько таких еще дней впереди? В Мордовии лето безжалостно длинное. Хоть бы осенняя слякоть, топать по месиву мордовских дорог — и то лучше. Хоть бы отсыревший ватник, только бы не зной в чертовой коже! А то просто ад! Так оно и есть, наверное, в аду.

А нормы нет, и полнормы нет, значит, не будет ни писем, ни посылок. Это уже "полторы беды" — прав Галич.

Стихи надо запоминать, записывать их негде — все уничтожают безжалостные ночные шмоны.

Пытаюсь запомнить:

... Я пройду до тени на дороге
С твоего высокого креста...

Как Боря — не знаю. Писем нет. Давно уж, как-то случайно, почему-то в предбаннике, на окне нашла открытку*. Вижу — моя фамилия... Журавли, летящие с воли, беззаботные Борины журавли.

Случайная, давняя весть. И ничего не понять. День, наконец, кончился. Идем, подымая пыль. В закатном, предвещающем на завтра такой же зной солнце — деревянные ворота. Надзирательницы выбегают "шмонать" — не пронесли ли чего? Ночью лежу и придумываю, как улизнуть с завтрашнего развода! После выкидыша на Лубянке мучают кровотечения. А на жаре и вовсе не вынести, но добром освобождений за кровотечения не дают. И все же решаюсь остаться на свой риск. Заранее вымачиваю в тазу у своих нар единственное платье. Другое в починке у монашек. Мечтаю о дне в зоне, в тени бараков. Вспоминаю, какой мне прислали недавно голубой халатик. Легкий. Пришлось сдать. Ввиду усиления режима собственные вещи все заперты в каптерке без права их брать.

Остаюсь в рубашке. Уж теперь и идти-то не в чем, значит, осталась. Но развод еще не кончен, просто леденею от ужаса. Когда вызывали мою бригаду — хватились меня, и по рапорту Буйной меня вытаскивают на развод, грозят всеми карами, и я стою на разводе в мокром, наскоро отжатом платье. Оно сейчас же покрывается серой мелкой пылью и колдобеет на жестком солнце. И с утра-то жарит! А что будет дальше?

---

* По-видимому, зэчка, разносящая письма после проверки их местным цензором, мылась в бане и забыла эти открытки в предбаннике на подоконнике.

Четырнадцать часов до возвращения в барак. Я никогда не забуду, как стояла мокрая, под насмешливыми взглядами начальства, пропускающего на крыльце вахты полевые бригады. Пошла-таки! Испугалась, что останусь без известий о доме. Завидую монашкам. Они готовы ко всему. Их вытаскивают, как мешки, бросают в грязь и пыль у вахты. Они лежат под жгучим зноем в тех позах, которые принимают при падении. Солдаты равнодушно кидают их по сторонам вахты, одинаково жалких — старух и молодых красивых женщин. На работу монашки не выходят, предпочитают сидеть в штрафных бараках, в клопиных безвоздушных карцерах. Писем им не надо. У них есть вера. Они — счастливые. Своих палачей открыто презирают, поют себе свои молитвы — и в бараке, и в поле, если их туда вытащат силком. Администрация их ненавидит. Твердость духа истязаемых ими женщин их самих ставит в тупик. Не берут, например, даже своей нищенской нормы сахара. Чем они живут — начальники не понимают. А они — верой. Помню, как бравый молодец, начальник режима, впоследствии разжалованный за связь с заключенной нарядчицей, являлся в штрафной барак, и монашки, не обращая никакого внимания на него, продолжали свои службы. Одна из монашек ехидно советовала ему:

— Сыми, сыми шапочку-то! Люди молятся...

Молодец в кубанке растерянно оглядывается и, сдергивая свою кубанку, чертыхается. Добиться — ничего нельзя!

Оставаясь в зоне в период моей работы в КВЧ, я часто была свидетельницей таких издевательств над монашками, что охотно шла за зону... Кто же виноват, что так жжет солнце?!

А этот ужас развода, каменные лица начальства на крыльце и эти брошенные навзничь живые мешки. За руки и за ноги монашек (трудоспособных!) волокут в карцер. А мы слабаки. Нам нужны вести из дому.

Все это описывать ни к чему. Просто надо проклясть негодяев, чьей волей творилось подобное!

И вот вспоминаю, как неожиданно окончился для меня день моего особого позора и униженья, день, когда меня выгнали на развод в мокром, прилипнувшем к телу платье. Итак — багровый мордовский закат, облака

зловещего цвета — завтра будет такая же жара. Мы подошли к воротам, насилу дождалась я благословенных команд: "Кончай работу!", "Становись в строй...". Овчарки охраны вывалили языки от усталости и жары. Перед воротами клубы пыли, еще одна мучительная операция — проверка; просто рвешься к рукам, ощупывающим тебя — скорее в зону, упасть на нары, сполоснуть лицо, а на ужин можно и не идти...

Бросаюсь на матрац, прямо в огромных башмаках, перетянутых белыми тесемками вместо шнурков. Ноги ноют, насилу раздеваюсь, теперь уснуть, и, может, приснится птица — к освобождению. Но — кто-то трогает меня за плечо. Вызывает дневальная "кума"...

Зачем еще?

Одеваюсь под ехидными взглядами соседок. Меня окружают одни "спидницы", ненавидящие москвичек с таким смехотворным сроком. Пять лет! Такие, как я, в их представлении чуть получше наших общих начальников. И правда, мы жалкие, не потерявшие надежду на пересмотр, на случай, а не на Бога. Мы продаемся за письма, работаем по воскресеньям. Мы участвуем в жалких лагерных постановках — хор государственных преступников исполняет "Широка страна моя родная!". У нас нет гордости. Ни одна "западница" не пойдет работать ни в воскресенье, ни в другой религиозный праздник — хоть вытаскивай ее, как монашку, и бросай на землю. Ни одна. А мы идем! Из нас вербуют малое начальство, нарядчиков, старост, дневальных, работников КВЧ — "придурков". Нас правильно презирают "спидницы"!

А тут меня еще ночью вызывают... Ясно — стучать! Выхожу из "купе", стараюсь не смотреть на соседок. А на улице прекрасная мордовская ночь. Низкая луна, освеженные поливкой цветы. Белые бараки. Милые белые домики в цветах — кто узнал бы сверху, какой внутри смрад, духота, стоны... Адские камеры одиночек и отверженных. Николай Асанов, вернувшись из лагеря, писал: "Оно меня устраивает, братство таких же одиночек, как и я...". А здесь даже это братство поругано. Здесь нет у нас настоящих друзей — их так мало, мы слишком устаем, чтобы искать по зоне друг друга.

Иду под деревьями. В уютном домике с освещенным зеленой лампой окном — змеиное логово "кума".

Вхожу. И вдруг, после опроса, кто я и что, "кум", приземистый толстяк с бугристым лицом, неохотно бурчит:

— Вам тут письмо пришло, и тетрадь. Стихи какие-то. Давать на руки не положено, а здесь садитесь, читайте. Распишитесь потом, что прочитано...

Он углубляется в какую-то папку, а я читаю:

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш...
Пойду размять я ноги,
— За дверью ты стоишь...

Летят Борины журавли над Потьмой! Он тоскует по мне, он любит меня, вот такую, в платье с номером, в башмаках сорок четвертого размера, с обожженным носом...

... *Деревья и ограды*
Уходят в даль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу...

И много. И евангельский цикл. Наверное, потому и нельзя на руки выдать, но почему-то нужно доказательство, что я читала и письмо на двенадцать страниц, и стихи — всю зеленую книжечку.

— На руки нет распоряжения отдавать... — бормочет мне "кум", а я все прошу — отдайте, отдайте...

Значит — чье-то распоряжение? Кто-то занимается нашим делом? Боря пишет — "хлопочем и будем хлопотать!".

Как же меня обокрали, не отдали этого письма, проклятые! Сижу долго, ночь на исходе, возвращаюсь под бледными рассветными звездами. Не ложусь, стараюсь рассмотреть свое лицо в обломок стертого зеркала. Глаза, правда, еще голубые, но так погрубело лицо и с носа слезает три шкуры. Вот так красавица. И зуб сломан сбоку. А ведь Боря пишет мне нежной и прежней: "Тебе, моя прелесть, в ожидании пишет твой Боря...". А тут еще год — и я старуха.

Боже! Уже скоро развод, впереди жаркий, беспощадный день, конвой, башмаки сорок четвертый, агрономша Буйная...

Но теперь можно терпеть.

Я соображаю, что со мной не так просто. Что Боря не дает им покоя, моим мучителям, а они не знают, что с нами делать. Боря пишет: "Я прошу их, если есть у нас вина, то она моя, а не твоя. Пусть они отпустят тебя и возьмут меня. Есть же у меня какие-то литературные заслуги..."

Вспоминаю, как на каждый стук на дворе Лубянки Семенов говорил с улыбкой:

— Слышите? Это Пастернак сюда стучится.

И уверял, что Пастернак сознает вину перед Родиной, раз уж пишет: "если я виноват, заберите меня!" И сейчас то же пишет. И ясно, что всесильный Комитет делает какие-то нам исключения... Но — в руки стихов не было распоряжения отдавать! А читать — было! И все двенадцать страниц любви, тоски, ожиданий, обещаний, и каких стихов — все остается у "кума". Но что ж! Пролетели журавли над Потьмой, и можно найти силы после бессонной ночи идти на развод, жаться "стукачкой" под осуждающими взглядами "спидниц". Предстоит счастливый день, а вечером усну, и дай Бог увидеть во сне журавлей!

Большие и всякие птицы снятся к свободе...

ПИСЬМА

Я вынесла из лагеря записку и четыре открытки от Бори. Записка была вложена в письмо мамы от 4 ноября 1952 г.:

> "Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла, и что впереди, но ни слова об этом! Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду

узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь".

Но Б.Л. писал, и не раз. Только письма его не доходили: "не положено писать не ближайшим родственникам". Тогда он стал писать от имени мамы. Эти открытки очаровывали и смешили меня — трудно было даже вообразить, что моя мама, при ее складе характера, могла писать такие поэтические и такие сложные письма.

На всех стоит мой тогдашний адрес: ст.Потьма Мордовской АССР, поселок Явас, п/я 385/13, О.В.Ивинской, и адрес отправителя: Москва, Потаповский пер., 9/11, кв.18, от Марии Николаевны Костко.

"31 мая 1951 г. Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне всю в длинном и белом. Он куда-то все попадал и оказывался в разных положениях, и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того, я послала как-то несколько книжек. Видимо, все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.

Твоя мама".

"Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б.Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это — ты, не разумея под этим ни семейной, ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает?

Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя.

Твоя мама".

(Дата на почтовой печати — 7.8.51).

"10 апр. 1953. Олюша, доченька моя, родная моя! Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого, страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами! Ты будешь здесь с детьми и с нами, и жизнь широкою дорогою опять будет лежать перед тобой. Вот главное, о чем хочется говорить, чему радоваться. Остальное так несущественно! Твой бедный Б.Л. был очень болен, — я тебе уже об этом писала. Осенью в октябре у него был инфаркт сердца и он около 3-х месяцев пролежал в больнице. Потом 2 месяца прожил в санатории. Сейчас более, чем когда-либо, полон он единственною мыслью: дописать до конца свой роман, чтобы, в случае непредвиденности, не оставлять ничего недоделанного. Сейчас мы виделись с ним на Чистых прудах. Он в первый раз после долгого перерыва видел Ирочку. Она очень выросла и похорошела".

* * *

"12 апр. 1953. Ангел мой Олюшка, дочурка моя! Доканчиваю открытку, которую начала тебе позавчера. Вчера сидели мы с Ирой и Б.Л. на бульваре, читали твое закрытое письмо, прикидывали, когда тебя можно ждать тут и перебирали воспоминания. Как чудно, по своему обыкновению, ты пишешь, и какое грустное-грустное у тебя письмо! Но ведь когда ты его писала, не было еще указа об амнистии, и ты не знала, какая радость нам вскоре всем готовится. Теперь единственная забота, чтобы это ожидаемое счастье не истомило нетерпением, чтобы предстоящее избавление не заразило своей близостью и громадностью. Итак, зарядись терпением и не теряй спокойствия. Наконец-то мы почти у цели. Все впереди будет так хорошо. Я чувствую себя хорошо и довольна видом Б.Л. Он нашел, что глаза у Ирочки,

уголками расходившиеся кверху, выровнялись. Она очень похорошела. Прости, что пишу тебе глупости.

Твоя мама".

Мои лагерные годы были тяжелыми и для Б.Л. Он взвалил на себя все заботы о моей семье, хотя возможностей у него было совсем немного. Без него мои дети просто не выжили бы.

Вскоре после моего ареста с Б.Л. случился инфаркт. Ему тогда едва исполнилось шестьдесят лет, а ведь здоровье, и моральное, и физическое, он имел необычайно крепкое.

Позже, вспоминая о нашей разлуке, он писал:

... *В года мытарств, во времена*
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

....

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может!
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

....

И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

Моя мама сохранили одно из писем от Б.Л., написанное им, едва он начал поправляться после инфаркта.

Заказное

Москва

Потаповский пер. (близ Чистых прудов)
д. 9/11, кв. 18
Марии Николаевне Костко
от Б.Пастернака, Москва 17
Лаврушинский пер. д. 17/19, кв. 72
2 янв. 1953

Дорогая Мария Николаевна! Я взял на себя смелость попросить Марину Казимировну вскрыть и про-

читать мне Ваше письмо по телефону. Как я узнал и почувствовал Вас в нем! Сколько в него вложено горячей Вашей души, как полно оно сердца и жизни! Крепко, крепко, крепко целую Вас за него. Я должен был сдержаться, чтобы тут же не позвонить Вам, я и сейчас сдерживаюсь, чтобы не разволноваться. Спасибо, спасибо! Ирочка, дорогая моя девочка, спасибо тебе, и тебе, Митечка, за ваши волнения и слезы. Я и вам, милые дети, и твоим мечтаниям и молитвам, Ируся, обязан частью выздоровления.

Теперь скорее о деле, дорогая Мария Николаевна. Прилагаю Вам доверенность на получение денег в "Гослитиздате" на Новой Басманной, 19 (или 18). Я не знаю, сколько будет денег по ней: если много, то это будет Вам на следующие месяцы, если мало, то на январь. Об истинном количестве мы при платеже узнаем. Об этих деньгах и о том, что я доверяю их Вам, я говорил по телефону с людьми в двух отделах "Гослитиздата": в редакции русской литературы с Николаем Васильевичем Крюковым, тел. Е 1-96-29 и в бухгалтерии, с Валентиной Васильевной Масленниковой, тел. Е 1-89-45. С первым перезванивайтесь, чтобы он эту выплату устроил и ускорил, у второй узнаете, сколько Вам будет получить, и когда. Того и другую предупреждайте, чтобы "по этому" заработку они "не звонили мне на дом", что у меня был друг (мужчина), попал в беду, 4 года отсутствует, дети учатся, одни, Вы — бабушка и эти деньги предназначаются им особо от других моих дел.

Кроме того я через Марию Хрисанфовну просил передать Вам, что в издательстве "Советский писатель" (Гнездиковский пер. д. 10) вышли стихотворения Тю Сон Вона в переводе, который в объявлении назван "авторизованным". Очень возможно, что это перевод Ольги Всеволодовны, это надо было бы выяснить, и тогда Вам может быть можно было бы получить что-нибудь за перевод, для детей, м.б. неофициально.

Дома я как-нибудь наведу об этом справки, но это будет нескоро.

Я кончаю. Простите за такое короткое и скупое письмо, писать пока еще мне запрещено и вредно.

Вследствие неподвижности при двухмесячном лежании пластом усилилась моя нескладица с головой

и шеей, которая осенью, после работ на огороде, почти не чувствовалась.

Но слава, слава Богу! Я и в минуты опасности, в ночь, когда меня привезли в больницу, не уставал благодарить провидение за прожитую мною жизнь и не желал другой. Я был спокоен и плакал от умиления, что если это конец, то как он милосерден и мягок. Я верил, что силы, к которым я взывал на пользу Вам и другим моим друзьям и в защиту моей семьи, будут и после меня продолжать свое действие. Еще раз крепко целую Вас, Иру, Митю. Сердечный привет Марии Хрисанфовне и Людмиле Николаевне.

З.Н. спасла меня. Я ей обязан жизнью. И все это, и все остальное, и все что я испытал и видел, — так хорошо и просто! Как велики жизнь и смерть, и как ничтожен человек, когда он этого не понимает!

Разумеется параллель с покойным Д.И. * все время стояла предо мной. И не пугала.

Ваш Б.П.

ХОТЬ БЫ МОЛЧАТЬ ОНИ УМЕЛИ...

Когда началась травля Шостаковича, Б.Л. решил послать Дмитрию Дмитриевичу подбадривающее письмо. Он набросал черновик и показал мне. Помню, я сказала:

— Подожди немного, не отправляй; увидишь, он завтра покается и будет бить себя в грудь.

Письмо, тайком от меня, Б.Л. отправил. Как же он был обескуражен, когда оказалось, что как в воду я глядела! Всего было вдоволь — и раскаяний, и битья себя в грудь. И запомнила я очень характерную для Б.Л. фразу:

---

* Дмитрий Иванович Костко — мой отчим; умер в 1952 г.

— О, Господи! Хоть бы молчать они умели! И это было бы подвигом!

Люся Попова вспоминает Пастернака в дни травли Ахматовой и Зощенко:

— Я против этого постановления прежде всего потому, что оно безграмотное, — говорил Б.Л. — При чем тут акмеизм? Я всех этих ярлыков вообще не люблю и не признаю и не могу со всем этим согласиться.

Между тем Б.Л. был членом правления ССП, к нему пришел посыльный с повесткой на заседание. "Я не могу быть, — сказал Б.Л., — я нездоров, у меня радикулит".

А ему говорят: надо что-нибудь другое, радикулит уже у Федина. Тогда он взял эту повестку и на обороте написал:

"Постараюсь быть, если буду здоров и вообще ничто не помешает". И не пошел: "Анна Андреевна мой друг, я не считаю возможным так поступать по отношению к ней".

Его вывели из правления ССП, но никто не слышал от него никаких жалоб или сокрушений по этому поводу.

Говоря об "Иване Грозном" Эйзенштейна, Б.Л. возмущался попыткой оправдать и возвеличить опричнину:

— Какая подлость! Какие они свиньи — и Эйзенштейн, и Алексей Толстой, и эти все. Я с ними не мог общаться, на многие годы почти отказался от встреч с людьми. Я не терплю нашей интеллигенции за раболепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди!

Б.Л. ненавидел "каждую торжествующую казенную церковь". Его гражданственность и патриотизм не имели ничего общего с казенным оптимизмом и квасной народностью. Удивительно, что и сегодня некоторые люди, даже близко знавшие Б.Л., не понимают социального содержания его поэзии. Н.В.Банников утверждает, что Б.Л. "не был социальным мыслителем". А в письме Максима Горького: "...Это — голос настоящего поэта, и — социального поэта в лучшем и глубочайшем смысле понятия".

Мог ли эти стихи написать поэт, который "не был социальным мыслителем"?

Я льнул когда-то к беднякам —
Не из возвышенного взгляда,
А потому что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекатной.

И я старался дружбу свесть
С людьми из трудового званья,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас,
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча.
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

“ДУША МОЯ, ПЕЧАЛЬНИЦА...”

— Отклик художник должен получать при жизни, — говорил Б.Л. — слава, или признание, или еще какой-то ответ от жизни должен быть, это нужно... Потому что искусство живет в других...

Награда к Боре пришла вовремя. Не рано, но и не слишком поздно. И она была велика: он чувствовал, он понимал, нет, он даже знал, что он классик, что его произведения останутся в истории и в сердцах человеческих.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямей возник.
Но пусть и так — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Не один Пастернак знал себе цену: “Все настоящие поэты знали себе цену, с Пушкина начиная. Цену своей силе”. (М.Цветаева).

И потому он с полным правом мог писать:

Как птице мне ответит эхо
Мне целый мир дорогу даст...

Аля Эфрон как-то записала: “Пастернак тщеславен, как каждый истинный талант, знающий, что не доживет до признания современников, не ставящий их ни в грош, ибо они не в состоянии понять его, и вместе с тем жаждущий именно их признания. Что до посмертного признания, в котором он (талант) убежден, ему в сущности так же мало дела, как рабочему до посмертной зарплаты...”.

Да, Борис Леонидович знал себе цену, но предъявлял к себе все более и более высокие требования. Описывая рассказ Пастернака о замысле романа, Герд Руге приписал Б.Л. буквально следующие слова: “Я подумал:

ты должен стоять по стойке "смирно" пред собственным именем. Я подумал, что это имя надо еще заслужить; не стихами, а прозой, чем-то, что потребует больше работы, усилий, времени и, может быть, будет стоить еще чего-то иного".

Конечно, мне трудно представить, что Б.Л. захотел стать по стойке "смирно" по какому бы то ни было поводу; но основная мысль верна: он всегда себя считал в неоплатном долгу не только перед своими читателями, но и попросту перед всеми людьми, которые жили и страдали с ним на Земле.

Беды и нужды народные отзывались эхом в его делах и творениях.

Б.Л. не мог не почувствовать ужаса к человеку-рабу. Вернее — пауку, опутавшему паутиной доносов, демагогии и репрессий всю страну.

Он вспоминал, что особенно явственно ощутил этот ужас в ночь, когда к нему прибежала Анна Ахматова с просьбой о помощи. Арестовали ее мужа — Н.Н. Пунина*.

К утру Б.Л. сам отправил письмо Сталину в защиту Пунина. Вскоре Ахматовой предложили взять мужа на поруки. Когда затем Пунин оставил Анну Андреевну, Б.Л. искренне возмущался его неблагодарностью.

Ясно осознавая опасность, нависшую над ним самим, Б.Л. открыто сочувствовал узникам сталинских концлагерей. В 1937 г. был арестован грузинский поэт Тициан Табидзе. Б.Л. с Тицианом связывали глубокие личные симпатии, поэтическая дружба. Еще в 1934 г. на Первом съезде писателей Тициан говорил: "... имя признанного поэта революции остается за Маяковским, так же как имя непогрешимого мастера — за Борисом Пастернаком". А в тридцать шестом, когда развернулся период политических проработок и над всеми нависла угроза террора, Б.Л. писал Тициану: "... надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом без страха и пощады, но в себя, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать...".

---

* Н.Н. Пунин — искусствовед, художественный критик.

Долго о судьбе Табидзе ничего не было известно. Только в октябре 1955 г. выяснилось, что он был зверски уничтожен спустя два месяца после ареста. Все эти годы Б.Л. волновала судьба Табидзе, что по тем временам было опасно: обо всех исчезнувших полагалось забывать сразу. Но Б.Л. вплоть до выяснения судьбы Тициана, постоянно возвращался в разговорах и в письмах к этой опасной теме.

Вот несколько отрывков из его писем в Грузию:

"Мои мысли о нем слишком близки к моим мыслям о самом себе, хотя его, бедного, уже нет, а я жив и продолжаю отделываться скандальностью своего положения" (21.3.41).

"Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, это мое отношение к земле и поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне..." (30.3.44).

Временами Б.Л. охватывала надежда на лучший исход для Тициана. Двадцать восьмого января 1946 г. он писал в Ленинград своему другу поэту Сергею Спасскому (тоже вскоре арестованному): "... (Евгений Дмитриевич) недавно тут был и принес радостную новость: Тициан жив и дело его пересмотрят".

Но надежда сменилась отчаянием: "... я давно не верю в возможность того, чтобы Т. был жив. Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы" (7.7.53).

И наконец, узнав о гибели Тициана в сталинском застенке, Б.Л. писал: "... Бедный, бедный Тициан, которому суждено было пройти путь мученичества, сердце мне всегда это говорило, я это подозревал" (4.10.55).

Борис Леонидович сокрушался о судьбе не одного только Тициана. Боль за всех, кто пал жервой преследований и террора не давала ему жить.

Когда драматург А. Гладков рассказал Б.Л. о письме брата из колымского лагеря (тот сообщил о "драгоценном подарке" — книжке стихов Пастернака), Б.Л. разволновался и громко (разговор происходил в трамвае) расспрашивал о заключенном: "Спасибо за то, что вы мне сказали. Мне очень это нужно. Спасибо ему за то, что он об этом написал. Спасибо им всем, что они меня помнят...".

Спустя несколько лет Александр Гладков, сам уже отбывший срок в Обозерском лагере, встретил Б.Л. и рассказал ему, что однотомничек стихов возил с собой все годы заключения и читал его по утрам, просыпаясь в бараке раньше остальных: “Если мне что-нибудь мешало, то чувствовал себя потом, как будто не умывался”.

— О, если бы я знал это тогда, в те темные годы! — ответил Б.Л., — мне легче жилось бы от одной мысли, что я тоже там...

Многие заключенные из лагерей писали ему, и Б.Л. отвечал им, посылал продовольственные посылки, книги, стихи.

Некоторые из его писем постигла необычная судьба. Об одном из них рассказал Варлам Шаламов в новелле “За письмом”. После лагеря автор отбывал ссылку в глухом уголке Колымы. Получил радиограмму: “Приезжайте письмом”. Ехать надо было в Магадан — пятьсот километров на собачьих и оленьих упряжках, кузовах случайных попутных грузовиков (в колымские-то морозы!). Пятисуточный тяжкий мерзлый путь. И в конце его:

> “На следующий день я постучал в квартиру, вошел и мне подали в руки письмо, написанное почерком мне хорошо известным, стремительным, летящим, и в то же время четким, разборчивым.
>
> Это было письмо Пастернака”.

Люся Попова вспоминает: “Б.Л. мне давал несколько раз письма, ему все писали какие-то заключенные. Он мне давал эти письма целыми пачками и говорил: посмотрите, вы знаете, вот пишут эти люди, и я рад, что мне пишут и что я могу облегчить их участь. Я искупаю свою вину перед ними за то, что я не с ними вместе, что я на свободе. Люди моего круга уничтожены судьбой, а я на свободе, здоров и ем, что хочу; это страшно меня угнетает, и я чувствую себя виноватым”.

Когда Б.Л. предложили получить дополнительный потиражный гонорар за издание его переводов Шекспира, он отказался:

— Я и так много получил.

В бухгалтерии, конечно, удивились, но гонорар списали и даже как-то поправили за этот счет редакционные дела.

Но в этот период у Б.Л. накопилось довольно много писем от заключенных. И вот Боря явился к директору "Гослитиздата" Котову и заявил:

— Анатолий Константинович, выписывайте мне гонорар за тираж переводов Шекспира — людей сажают, а я им не могу помочь; деньги я пошлю арестованным.

Гонорар был списан, но какие-то деньги ему все же выдали. И он, скрывая это от домашних, обратил их на помощь несчастным зэкам.

Систематически он высылал в Туруханскую ссылку от тысячи до двух тысяч рублей Ариадне Сергеевне Эфрон (дочери Марины Цветаевой). Он тяжело переживал гибель Цветаевой и ее семьи, тем более, что и сам звал М.Ц. вернуться на родину.

Помнится еще один характерный случай. Приехала девушка — дочь заключенного. Когда-то этому человеку Б.Л. в ответ на его письмо выслал книжку своих стихов с подписью и продовольственную посылку. И вот дочь по просьбе отца пришла к Б.Л. поблагодарить его. Б.Л. с трудом заставил ее взять для отца еще продуктов и хотел вручить деньги. Та отказалась наотрез. Тогда он попросил ее под каким-то предлогом зайти к Поповой. А сам позвонил Люсе и сказал, что боится — вдруг девушке не хватит денег на обратную дорогу: "узнайте деликатно у нее, и как бы еще от себя дайте ей деньги, потому что от меня она ничего брать не хочет, и я уже не могу ей дать".

Когда в 1951 году Б.Л. узнал об аресте Кости Богатырева, он сразу же предложил его родителям материальную помощь. Отец Кости, Борин давний знакомый Петр Егорович, был известным фольклористом, профессором, и в деньгах не нуждался. Сына его за "террор против вождя всего прогрессивного человечества" приговорили к расстрелу с заменой на двадцатилетнее заключение в режимном лагере.

И вот Б.Л. послал Косте в лагерь увесистый том избранных произведений Вильяма Шекспира:

> "Дорогому Косте с наилучшими надеждами и горячим поцелуем.
>
> Б.П.
>
> Это — пустяки, а через месяц будет Фауст. Мужайтесь, Костя, Вы молодец, как я всегда и думал".

“Пустяками” Боря назвал помещенные в однотомнике свои переводы трагедий “Ромео и Джульетта”, “Король Генрих IV”, “Гамлет”, “Отелло”, “Король Лир”, “Макбет”, “Антоний и Клеопатра”.

Но вот вышел “Фауст”, и Б.Л. сразу же отправляет экземпляр Богатыреву:

> “Дорогой Котя!
>
> Ждать осталось недолго! Мужайтесь, крепитесь. Спасибо за память. Папа Вам обо мне напишет. От души желаю Вам в нужном количестве сил и здоровья, нет, в избытке, больше, чем нужно. И терпения, терпения.
>
> Всегда Ваш
>
> Б.Пастернак.
>
> 27 января 1954 г.
> Москва”.

Этот экземпляр книги сохранился. Ниже подписи Бори стоит казенный синий штамп:

> “Разрешаю к личному пользованию. Начальник лаготделения N 14 майор Фадеев. 12-VIII-1954”.

Об этих годах и печалях:

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Египетских гробниц.

Душа моя, скудельница,
Все виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.*

Но из всех узников концлагерей и обитателей бесчисленных ссылок Б.Л. больше всего печалился и заботился об Ариадне Эфрон.

Алю Эфрон — Ариадну Сергеевну, дочку Марины Цветаевой — я знала задолго до ее возвращения из Туруханска, где длилась многолетняя ее ссылка. Знала, так сказать, заглазно — по откровениям и рассказам Бориса Леонидовича.

Ей он писал туда, что с ним случилась беда — оторвали меня от него в страшную осеннюю ночь 1949 года.

Мне говорил задолго до нашего с Алей свидания:

— Вы будете, как сестры. Я всю жизнь должен заботиться о ней. Ее я посвятил в наше святая святых, в мою вторую жизнь, и знаешь — она рада за меня, — как она замечательно об этом пишет!

Я читала чудесные Алины письма к нему, к дорогому и родному для нее Боре. Представляла ясно, как морозной звездной ночью идет она в дальнее почтовое отделение, в валенках, по снегу получать бесценные, ласковые слова. Как искрится снег в бескрайнем туруханском просторе, какую радостную связь с далеким недосягаемым миром имеет она через ободряющие эти слова. Не зная Али — я тоже писала ей и получала от нее ответы. Ежемесячно Б.Л. посылал ей деньги, книги и получал ответы от нее.

---

* На эти слова композитор Г. Свиридов написал музыку; продавалась пластинка с записью этой песни (а также песен на стихи Пастернака "Снег идет" и "Ночь") в исполнении женской хоровой капеллы под управлением Юрлова.

Письма Али оттуда были не только нежными, но и четкими, тоже ободряющими своего друга — и написаны характерным, прямым, разборчивым почерком, совсем как ее душевная суть — ясная, твердая, отчетливая для самой себя.

— Какая она Аля? Опиши! — как-то попросила я. Он замешкался.

— Знаешь, она особенная — пусть тебя не отталкивает, что она некрасива. У нее голова как-то несоразмерно мала, на Марину не похожа, — но зато какая душа, умница какая!

Все оказалось, конечно, чистой ерундой — впрочем, кроме определения души и характера Али, которого он впоследствии даже побаивался. Слишком ультимативна и пряма была она (как и мать ее — Марина) даже в осуждении его бытовых неувязок, и это, конечно, не могло нравиться такому мягкому соглашателю в житейских недоразумениях.

Аля — когда я увидела ее — поразила меня прекрасными — тяжело-синими огромными глазами — из-за них, должно быть, и казалось, что лицо соразмерно таким глазищам должно быть больше. Не знаю — у Бори вообще, по-моему, было неправильное понятие о красоте. Ему, например, казалась красавицей Берггольц — белесая, круглолицая, с челкой. А Аля казалась некрасивой. Когда я с возмущением сказала ему, что, по-моему, она чудесна, и внешностью тоже — он радостно удивился:

— Как хорошо, что вы понравились друг другу! Как это прекрасно!

И Аля вошла к нам в дом сразу как родная, как будто и до встречи незримо жила с нами. Во все сразу вжилась. Конечно, долгая жизнь в тяжелых условиях отразилась на ее лице: не сразу, но неотвратимо появились мешки под чудесными ее глазами. Как-то отреклась она от себя как от женщины слишком рано, замкнулась в посмертных делах Марины, в наших путаных семейных делах, за которые честно осуждала Борю. И пилила меня за недостаточность сил — ей хотелось, чтобы я ставила ультиматумы, вела его тверже; считала меня, наверное, чересчур слабой и слишком "бабой".

Больше, чем меня, она любила мою Ирину. Сама не имея детей, видела в ней, наверное, какую-то свою

воплощенную мечту, и Ире стала она ближе, чем я. Расходилась она с Ирой в одном (вместе со мной): часто осуждала ее за то, что лишает Ирка себя огромной радости — любви к животным. Переживала Ирины девичьи перипетии тоньше, чутче, чем я. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что я-то тогда была счастливей их всех — и беспощадней, потому что сама беззаветно любила, и все они чувствовали, как Боря любит меня.

— Оставьте ее, — говорила Аля, когда по мнению всех наших друзей я совершала явные ошибки в самое смутное наше время, — у Оли есть шестое чувство для Бори. Ей лучше знать.

Аля вязала какие-то бесконечные шарфы — для успокоения нервов — и мужественно без боязни разделила все, что пришлось на нашу долю. Осуждала меня за легковерие, доверчивость, глупое поведение на следствии, когда меня арестовали после смерти Б.Л. Переживала за Иру всю жизнь; жалела матерински, и общалась с ней постоянно, даже тогда, когда мы с ней в жизни на время как-то разошлись. У Иры спрашивала: "Ну, как мама? Не пищит? Ну, значит, все у нее в порядке".

Я помню, как после Бориной смерти смутное состояние отчаяния и предчувствий повело меня к Але в Тарусу. Я вся была с нею всей душой. Встречали людей, с благоговением вспоминавших ее отца — Сергея Эфрона. И ее трезвый разговор о каких-то конкретных заботах возвращал меня к обязанностям и заботам.

— Уйди в какое-то бытовое! Это поможет. Ты — обязана!

Зато, когда услыхала, как я поневоле тяну за собой Ирину прямо в тюрьму, со всем на следствии соглашаясь и не отрицая — она с тревогой и осуждением говорила Ире, что "мать с ума сошла, размазалась по стене". По самой своей сущности Аля оправдывать и прощать не могла, не умела.

Понять, наверное, не могла безысходность моего отчаяния и безразличия ко всему: Боря умер — для меня кончилось главное, отпала сердцевина, одиночество свело с ума и вместе спасло переменой обстановки. Боря не просто умер, а вывел и меня из жизни. Аля этого не понимала: для нее родные — мертвые — не умирали, обязанности по отношению к близким ни на мгновение не переставали существовать.

"НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТОГО НЕБОЖИТЕЛЯ"

Много раз Б.Л. вспоминал о попытке получить его подпись под письмом, одобрявшем очередной смертный приговор "врагам народа". Это его привело к необходимости снова письменно обратиться к Сталину. Один из таких рассказов Б.Л. записан дословно на террасе большой дачи двумя его посетителями независимо друг от друга:

> "В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался подписать. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он не досмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза писателей приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.
>
> Дома меня ожидала тяжкая сцена. З.Н. была в то время беременна Леней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал...
>
> В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг. Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у нас с ним переписка. Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни

и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали!..".

Можно себе представить возмущение Б.Л.: он устоял против напора власти и семьи, устоял перед угрозой своей собственной свободе и жизни — и не дал своей подписи, но все же увидел в газете свою фамилию под подлым письмом. Протесты и опровержения не помогли: произвол оказался сильнее.

Трудно сказать, почему преследователи поэта ограничились публичными поношениями и моим арестом, почему с Пастернаком не покончили, так же как с Мандельштамом, с миллионами других людей. Даже в эпоху 1937-1939 гг. какое-то снисхождение ему все-таки оказывалось. Что касается моего ареста, то пять лет лагерей – это, по тем временам, скорее милость, чем кара. В конце концов не только я (что я? кто я — подруга крамольного поэта!) а даже законная жена "всесоюзного старосты" М.И.Калинина тоже сидела в лагере, и, как говорят, милостиво отпущенная на похороны мужа, была снова водворена за решетку.

Распространялись слухи (об одном из них Б.Л. рассказал той же Люсе Поповой), будто при докладе документов, обосновывающих арест Б.Л., Сталин сказал: "Не трогайте этого небожителя...".

Может быть, этот слух имел основания. Во всяком случае, сам Б.Л. считал, что Сталин не хотел уничтожать ни его самого, ни меня. Недаром после моего возвращения из лагеря в 1953 г. Б.Л. сказал: "А все-таки моя звезда тебя спасла". И его аллегорическая "Сказка" прямо на это указывает.

В литературных кругах не сомневались, что арест Б.Л. был предрешен; но арест не состоялся, а почему — никто не знал. Об этом подробно рассказано у А. Гладкова. "Никаких иллюзий у человека, потерявшего в годы культа Сталина столько любимых людей и не раз в глухую ночь в Переделкине ждавшего стука в калитку агентов Ежова и Берия, быть не могло. Что тогда сохранило Пастернака? Трудно сказать. Известно только, что в 1955 г. прокурор Р., занимавшийся делом реабилитации Мейерхольда, был поражен, узнав, что Пастернак на свободе и не арестовывался: по материалам "дела", лежавшего перед ним, он проходил соучастником некоей вымышленной диверсионной организации работников искусства, за со-

здание которой погибли Мейерхольд и Бабель. Еще в этом "деле" мелькало имя тоже не арестовывавшегося Ю.Олеши... На каком-то этапе изготовления этой зловещей инсценировки, видимо, где-то было решено ограничиться арестованными Мейерхольдом и Бабелем".

Илья Эренбург в своих мемуарах писал:

"Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали?" ("Люди, годы, жизнь").

...ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ...

Б.Л. как-то назвал Сталина "гигантом дохристианской эры человечества".

Быть может, эти слова объясняют замысел евангельского цикла стихов. Это была форма протеста, самая сильная форма из всех, доступных гению Пастернака: "воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет...".

Заведующий отделом прозы "Нового мира", старый почтенный литератор Николай Иванович Замошкин говорил мне:

— Обождите, Ольга Всеволодовна, и эти стихи будут изучать наши потомки, как чудо двадцатого столетия.

Он же первым обратил внимание на вселенский пейзаж "Рождественской звезды": ... зима... степь... поле в снегу... верблюды... ослики... гнезда грачей... овчарки...

Все это рисует сцену Рождества вне времени и конкретного географического места. Вместе с тем ландшафт и обстановка "Рождественской звезды" неизбежно ассоциируется с русской зимой, русским пейзажем. И в романе Юрий говорит, что "надо написать русское поклонение волхвам, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом".

Да, это не древняя Иудея, это — Земля и это — Россия. И как лаконично и обще показана роль легенды для людей и их искусства:

... И страшным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков! все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...

Однако официальной критикой этот цикл стихов — очевидная вершина творчества поэта — был встречен в штыки, как его могли бы встретить воинствующие безбожники двадцатых годов: "Ах, Христос, ах, Магдалина — крой их, Ванька — Бога нет!".

Мне кажется, между Пастернаком и Сталиным происходил безмолвный и необычный поединок. Б.Л., изучавший философию в Марбурге, не любил "сочинений, посвященных целиком философии". "По-моему, — писал он, — философия должна быть скупою приправою к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен".

Век прогресса, подгоняемый двигателями космических ракет, остался без тормозов морали. Отсюда "все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться редкостью...".

Все, что думал, говорил, писал Пастернак, противоречило не конкретным лозунгам, не отдельным высказываниям, не Сталину лично, а всему убогому умственному укладу сталинизма, и может быть, судьба Пастернака сложилась так, а не иначе именно потому, что убожество не боится того, чего не понимает. Между тем, Пастернак писал ясно: "... для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму недоставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения. А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое...".

АНКЕТА

Выросший в атмосфере христианской культуры, еврей по национальности, Б.Л. был сторонником ассимиляции:

"Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были им так близки, если бы они их лучше знали.

Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни".

Знакомый Б.Л. литератор из Чехословакии рассказал, что после публикации "Доктора Живаго" в Израиле местные критики обрушились на автора за эту ассимиляторскую позицию. А Боря, слушая, только посмеивался: "Ничего, я выше национальности..."

"... Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще в добавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздра-

жает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое...".

Когда после освобождения я рассказала о всех против него антисемитских выходках на Лубянке ("как вы, русская женщина, могли полюбить этого старого еврея" и пр.), он сперва отмалчивался; а потом заговорил, вздыхая, какой, мол, счастливый Шолохов с такой анкетой, где нет ничего "спорного". В другой раз он пошутил (и повторял потом эту шутку не раз), что неплохо бы поменяться с Шолоховым национальностями.

Второго мая 1959 г. Б.Л. писал Жаклин де Пруаяр:

"Я был крещен в младенчестве моей няней, но вследствие направленных против евреев ограничений и притом в семье, которая от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызвало некоторые осложнения и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910-1912, когда вырабатывались корни, самые основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни..."*.

Мне кажется, религиозность Пастернака сродни религиозности Льва Толстого или Альберта Эйнштейна. Существо ее он сам раскрыл в романе: "... он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли

---

* Перевод с французского. Борис Пастернак. Стихи и поэмы. 1912-1959. Изд. Мичиганского университета, 1961, стр. XI.

и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам".

В своем интервью шведскому ученому А.Нильсону Б.Л. говорил:

> "... Мы узнали, что мы только гости в этом мире, путешественники между двумя станциями. За то короткое время, которое мы живем на земле, нам нужно уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь жизнь немыслима... Это означает возрождение нашей внутренней жизни, возрождение религии не как церковно-религиозной догмы, но как жизнеощущения".

И потому к Библии он относился главным образом как к неиссякаемому источнику творческого вдохновения и основе бесчисленных художественных замыслов: "Библия не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества".

Это — о религиозности Бориса Леонидовича. А вот что касается национальности, то отношение к ней, мне кажется, было больным его местом. Не то, чтобы он ее стеснялся — этого не было. Но, являясь по духу глубоко русским поэтом, он терялся и не знал, что делать и что говорить, когда оказывалось, что его еврейское происхождение никогда не забывают и никогда не прощают. Что делать, если, по словам Цветаевой:

В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

В этих словах — выстраданная боль Марины за поэтов, везде и всегда (за редчайшим исключением) гонимых и преследуемых, как "жиды". И страсти Христовы у нее ассоциируются прежде всего со страданиями Иисуса как еврея:

По всей земле — от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа! .

Здесь она как будто перекликается с Зинаидой Гиппиус:

Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он един,
Склонясь, умыл усталым ноги,
Слуга — и Господин.
Он с нами плакал, — Повелитель
И суши, и морей...
Он царь и брат нам, и Учитель,
И Он — еврей... .

А все же отношение Бориса Леонидовича к этой проблеме было сложным, иногда противоречивым, временами даже на первый взгляд по-детски наивным и смешным. Помню, когда уже я вела все его литературные дела во всех издательствах, а он работал, он звонил мне из Переделкина на Потаповский и предупреждал:

— Тебе, Лялюша, придется, может, анкету там заполнить, (шел разговор о договоре на перевод Кальдерона), так ты запиши мои паспортные данные.

Он продиктовал мне, что нужно, но когда зашла речь о графе "национальность", он несколько раз замешкался и затем пробормотал:

— Национальность смешанная, так и запиши. А год рождения тысяча восемьсот девяностый; я, правда, прибавил в свое время года четыре, но пусть уж будет как в паспорте, спорить не стоит.

Я, смеясь, со всем согласилась. Золотой мой! Словно какие-то анкетные данные, даты, года могли для меня что-то значить! Он всегда был стройный, молодой, самый красивый, и всегда наивный и смешной, как избалованный ребенок.

Конечно, подспудное отношение Б.Л. к анкетным "проблемам" было гораздо сложнее. Он пытался его раскрыть в одном из своих писем, адресованных в июле 1959 г. Жаклин де Пруаяр *:

"... Почему я сторонюсь точных биографических данных, почему я избегаю их, стараюсь обойтись без них? Когда вы рассказываете о себе, вы производите

---

* Оригинал на французском языке.

впечатление, будто вы одобряете, оправдываете то, что вы есть или чем вы были. Если это не так, то вы открыто восстаете против того, что вы есть, осуждаете себя, сожалеете, что вы такой и строите целую философию, осуждающую вас. Я не хочу ни того, ни другого. Я не хочу обсуждать ничего из того, к чему я имею отношение: ни еврейского вопроса, ни причин славянского нигилизма и покорности, ни распространенных теорий искусства, ни революции, ни контрреволюции, ни увлечений моей молодости, ни моей женитьбы, ни моей дружбы. Все мои неприязни всегда были несправедливы и остаются несправедливы. Во всех раздорах был неправ я, а не мои противники. Но могу ли, хочу ли я исправиться? Решительно нет. Это нечто фатально непобедимое. То баснословно малое, чем я являюсь в чистой правде, я вложил в мои очерки, в мой роман...".

И в другом месте того же письма Б.Л. четко очерчивает "список действующих лиц" своей жизни: "Бог, женщина, природа, призвание, смерть... Вот настоящие близкие участники, друзья и собеседники. Все, что имеет значение, ими исчерпывается...".

"КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ЛИШЕН ВЕЛИЧЬЯ..."

Стихотворение "Культ личности ..." написано непосредственно после самоубийства Фадеева и выражает отношение Б.Л. к Хрущеву и его окружению.

Борис Леонидович с большим сочувствием, терпимостью и даже болью относился к тем, кто не смог быть таким последовательно искренним и стойким, как он сам. Одним из таких людей был Александр Фадеев. С Фадеевым, безоговорочно отдавшим свой несомненный талант службе сталинскому режиму, у Б.Л. были сложные отношения.

В свое время Фадеев потратил много энергии и времени, чтобы помешать Пастернаку в работе над по-

эмой “Зарево”. Там полемика с лжеискусством сталинских времен была слишком очевидна:

... В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падучею,
Горел и был страданьем светел.

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б с позволенья вашего
*И мы, как Хемингуэй и Пристли...**.

Во время войны, в Чистополе, Б.Л. рассказывал: “Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение "человек с двойной душой". У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются...".

И еще: “в Переделкине Фадеев, иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной”.

Мы знали, что Фадеев очень любил стихи Б.Л., читал их запоем. Эренбург рассказал об одном из таких случаев:

“Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличал "отход от жизни" некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького возле дома, где я живу. Александр

---

* В “Сырье к однотомнику” сохранился текст “Зарева” с надписью Пастернака: “Зарево. Полный текст: появившееся в печати вступление и оставшаяся ненапечатанной первая глава предположенной, начатой и брошенной без продолжения поэмы. Именно ее непоявление в “Правде”, для которой писалась поэма, отвратило от мысли продолжать ее”.

Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: "Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..". Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить: "Хорошо?" ("Люди, годы, жизнь").

И вот когда Сталин умер и, как сказал Эренбург, наступила оттепель, произошло неожиданное.

К нам, во двор кузьмичевского домика, вбежала неожиданно восьмилетняя Верочка, внучка Кузьмича, и сообщила, запыхавшись, что застрелился Федин. Борис Леонидович удивился: от великолепного лицемерного Кости Федина никто такого поступка не мог ожидать.

Но вскоре выяснилось, что застрелился Фадеев, а не Федин.

— Это еще можно объяснить, — говорил Б.Л., — это снимает многое из его вольных или невольных вин.

Слова эти подтвердил затем публично, когда мы подошли к Дому Союзов, где в Колонном зале стоял гроб с телом Фадеева. Я осталась у служебного входа, а Боря вошел. О дальнейшем я узнала от двух писателей, стоявших в это время в почетном карауле у гроба. Б.Л., остановившись у изголовья, долго и внимательно всматривался в лицо умершего. А затем громко, отчетливо, так, чтобы слышали все окрест: "Александр Александрович себя реабилитировал!.." И, низко поклонившись, пошел к выходу...

Мне думается, что трагедия Фадеева в чем-то сродни трагедии Маяковского. Но Маяковский застрелился еще в тридцатом году, а талантливый молодой писатель пошел на службу диктатуре личности, да к тому же еще на чиновничьей должности. А другой его почти сверстник и соратник по первым послереволюционным годам вершинных достижений советской литературы — Пастернак — остался писателем. Вопреки окружающему его приспособленчеству к сталинскому диктату, он сохранил свое мастерство и свою совесть. Быть может, поэтому Фадеев ходил пьяный каяться Пастернаку и сквозь пьяные слезы так преклонялся перед его поэзией. Предательство человека по отношению к самому себе почти всегда кончается его духовной гибелью. Так случилось и с Фадеевым. Он нашел в себе мужество самому себе подписать смертный приговор.

Теперь — несколько слов о втором из двух главных источников стихотворения "Культ личности...". Разоблачение Сталина и массовую реабилитацию безвинно репрессированных Б.Л. всегда относил к заслугам Хрущева, независимо от того, какими мотивами Н.С. руководствовался, готовя двадцатый съезд. Но его словоохотливое и бурное невежество поражало Борю. Да и его ли одного? Даже наш хозяин, рабочий, относился к Никите с издевкой, но жену предупреждал: "Потрафляли на одного столько лет, а теперь потрафляй на другого; лучше молчать!"

С горечью наблюдал Б.Л. хрущевскую "оттепель" и не верил ей, ибо на на наших глазах она то опять переходила в угрожающие заморозки, то становилась распутицей, вязкой грязью, липнущей к ногам:

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу.
Плетусь по жидкой размазне.

— Так долго над нами царствовал безумец и убийца, — говорил Б.Л., — а теперь — дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие; теперь нас захватило царство посредственностей...

В этот период Б.Л. с упоением читал английскую книгу Дж.Оруэлла "Скотный двор". Это — фантастически-гротескная история скотного двора, после "революции", опрокинувшей власть людей, быстро эволюционировавшего в барский хутор. Так что в конце "животные перед окном переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью, со свиньи обратно на человека, но невозможно было разобрать кто есть кто". Особенно любопытна была эволюция лозунгов новой власти; например, главный лозунг — "Все животные равны" — быстро эволюционировал к виду: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других...". Так вот, во главе двора стояла "величественного вида свинья с мудрым и благодушным выражением", очень напоминавшая Борису Леонидовичу тогдашнего главу государства. Иногда Боря смеясь даже говорил, что Хрущев надевает воротнички "не на то место".

С одной стороны — эти размышления, с другой — официальная версия самоубийства Фадеева от алкого-

лизма — вот и вырвался из души экспромт, не став собственно законченным стихотворением, несмотря на "варианты":

Культ личности лишен величья,
Но в силе — культ трескучих фраз,
И культ мещанства и безличья,
Быть может, вырос во сто раз.
(Вариант первой строфы)
Культ личности забросан грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо
Так, что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И видно, также культ мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

К параллели "Сталин — Хрущев" Б.Л. возвращался не раз и в осенние дни нобелевской травли. Были моменты, когда травля достигала трагического накала, вся логика событий требовала вмешательства Хрущева. Но этого не произошло. И тогда подсовывались второстепенные чиновники.

И Б.Л. вспоминал, что Сталин звонил ему по телефону и говорил с ним по поводу Мандельштама, что поэт — враг Сталина — враг народа, узник, смертник, самоубийца — при всех исходах оставался поэтом; самовластие понимало, что поэзия — это власть.

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Пока был жив Пастернак, в русской поэзии не было пустой вакансии. Уклоняясь от почестей (ни одной премии за всю жизнь, ни одного ордена), всю жизнь перенося улюлюканье, плевки и пощечины ду-

ховной черни, Борис Пастернак терпеливо и мужественно выполнял свое мессианское, жертвенное предназначение:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можешь, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

* * *

В день смерти Сталина мы с Борей были еще в разлуке: я в — в лагере, он — в Москве. Здесь, в Потьме, и там, в столице, и по всей стране шли волны паники. Огромное большинство, миллионы людей, оплакивали Сталина и в рыданиях спрашивали друг друга: что же теперь будет? И лишь немногие рисковали выражать свою радость открыто.

Прав был Б.Л., когда писал: "Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю".

Отношение Пастернака к Сталину было крайне сложным и противоречивым. Оно принимало разные оттенки и подчас претерпевало диаметрально противоположные влияния. Но во все времена разум Пастернака не мирился с произволом, как с системой. По самой сути своего характера он непрестанно стремился к полной свободе духовных поисков.

Он был предельно искренним, когда писал:

Живет не человек, деянье:
Поступок ростом с шар земной ...

Но не менее искренним он был и тогда, когда в мае 1956 года, готовя свой автобиографический очерк "Люди и положения" для однотомника стихотворений, дал окончательную и предельную по своей лаконичности оценку сталинщины: "Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года ...".

Всякий, кто читал "Бесов" Достоевского, понимает, что это означает — "шигалевщина" и в какую связь Пастернак поставил ее со сталинщиной.

Говорят, что истиным мерилом цивилизации служит человек, которого дает страна. Одно и то же время, одна и та же страна дали Пастернака, дали и Сталина. Они оба — мерила века. Мера человечности и мера жестокости, мера величия разума и духа и мера вероломства и подлости... Полярные меры. Предельно крайние начала. Противоречивые, как и век, их породивший.

На чьей стороне будут сердца лучших людей сегодня, завтра, через год, через век — нужно ли спрашивать?

"НАС МАЛО. НАС МОЖЕТ БЫТЬ ТРОЕ..."

Борису Леонидовичу был чужд когда-то брошенный Маяковским лозунг:

Чтоб больше поэтов,
хороших и разных!

"Всесильный Бог деталей" видно всегда протестовал в Пастернаке против ремесленной рифмованной речи или выражения в стихотворной форме неясных личных настроений. "Вечные" темы должны или снова попасть в фокус истинного художника, или же стихотворец должен найти в себе силу их не касаться.

Поэзия, отжатая предельно до хруста льдинок, так, чтобы в ее растворе "зрели прозы истинной крупицы"

— поэзия реалистических деталей или истинного волшебства — только такая поэзия была приемлема для Пастернака. Но не та, для которой нужна снисходительность, скидки на что-либо, то есть не та поэзия бабочек-однодневок, существование которой особенно характерно для литературного приспособленчества.

Борис Леонидович мог плакать над "пурпурово-серым кругом" мучительной блоковской музы, каждый раз умиляться и удивляться лаконизму веселой пушкинской строки, но рифмованные лозунги о производстве консервных банок в так называемой "поэзии" Суркова и присных, да графоманские открытия по поводу любовных настроений у молодых поэтов, повторяющих себя, друг друга и классиков, встречали у него в лучшем случае равнодушие, а по большей части — возмущение.

Некрасовская линия была для него одно время просто далека, а параллельная с ней лирика Тютчева и Фета казалась пределом поэтического виденья, истинным чудотворством.

Недаром Б.Л. избегал посещать литературные вечера, куда молодые поэты, жаждавшие прочитать ему свои стихи, наперебой приглашали. Вот тут-то и родилась его фраза: "Кто выдумал, что я люблю поэзию? Я терпеть не могу стихов".

В письме к М.Г.Вайнштейну 15.12.55 Б.Л. писал: "...мои читатели и почитатели... не поняли во мне главного: что я "стихов вообще" не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области". И далее: "Если вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных — это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношения между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают". И, наконец: "... вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности, и прочая, и прочая — знахарство и алхимия".

Но в последние годы, когда особенно возросла в нем потребность в простой человеческой доброте, его стали трогать до слез и сантименты Станюковича в случайно увиденной телевизионной постановке "Матрос Чижик", и, особенно, любимые мною строчки из некрасовского "Рыцаря на час":

В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...

....

Да! Я вижу тебя, Божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу...

— Как они все-таки писали!. — "Они" — в данном случае классики. И тут же, прочитав, вернее просмотрев стихи в "Литгазете":

— Смотри, как они здорово научились рифмовать! А вообще пустота, об этом лучше сказать в сводке, при чем тут поэзия? — "Они" — в данном случае современники.

Частенько он бывал, наверное, несправедлив. Так, прочитав несколько строчек из поэмы Твардовского "За далью даль", которую сам же мне принес, он сказал: "Вот все гладко, все на месте, лучше чем у нас, а длинно и непонятно — зачем зарифмовано". Я робко возразила, помню, что Твардовский настоящий поэт, и именно с собственным виденьем мира, с собственной темой и почерком. Б.Л. недоверчиво выслушал, перечитал и согласился со мной.

Но главное — он терпеть не мог красивостей. Например, в новых, на мой взгляд, прекрасных, стихах Заболоцкого ему не понравились скворцы, распевающие "В самом горле у рощи березовой...". Не потому ли, что увидел отголоски своей образной манеры в чужой интерпретации, вдруг для него зазвучавшей выспренно и даже слащаво.

Еще 10 мая 1952 г. Борис Леонидович сделал надпись:

"Анне Андреевне Ахматовой, началу тонкости и окончательности, тому, что меня всегда ободряло и радовало, тому, что, мне сродно и близко и что выше и больше меня.

Б. Пастернак."

Но последних стихов Анны Андреевны он не любил, вернее — просто с трудом читал. Очевидно, раздражала манерность сюжетного построения. Получив от нее машинописную тетрадку с "Поэмой без героя"

и с ее автографом, вперед сказал мне вопросительно-утвердительно:

— Прочти. Я просмотрел. Все прекрасно, а вообще — "ти-ти-ти" — а что — неизвестно.

Такой отзыв не помешал ему выразить А.А. по поводу этой же поэмы свое восхищение. Может быть, из-за тогдашней травли Ахматовой он относился к ней с особенной нежностью. Но вообще, надо признать — очаровательное лицемерие было в его манере. Не случайно поэтому, что, как пишет Никита Струве в своем очерке "Восемь часов с Анной Ахматовой", Анна Андреевна сказала во время последнего посещения Парижа: "Пастернак — божественный лицемер". Случалось, Б.Л. принимался ахать и восхищаться автором при мне, успев высказать обратное мнение; при этом он лукаво и заговорщицки мне подмигивал.

Я иногда бралась читать Б.Л. вслух стихи, присланные ему на отзыв и в рукописях, и в книжках. И всегда Б.Л. слушал недоверчиво: "Ты меня на голос не бери". Почему-то он всегда любил мой голос, но не верил он не только моему голосу. Помню, ему нравились стихи Андрюши Вознесенского в ту пору, когда он еще не стал известным поэтом, а был для нас просто любимым Андрюшей, завсегдатаем наших собраний, домашним и своим.

Как-то летом 57 г. у нас на маленькой терраске Андрюша, бравируя талантливым словесным жонглерством, с характерными для него ассонансами и аллитерациями, читал свое новое тогда стихотворение "Тбилиси". И Б.Л. сказал мне, что хотя и не знает — "что из него выйдет", но, даже делая "скидку на голос", чувствует в Вознесенском тайную связь с лексикой ранней Цветаевой. Этой ли близостью к Цветаевой, или тем, что Андрюша собственной оригинальностью выделялся из своих современников, но Б.Л. действительно его любил.

А к Евтушенко Б.Л. относился двояко.

— Знаешь, он у них страшно модный, — сказал мне Б.Л., — но я ему не очень верю. Надо присмотреться: не из тех ли он поэтов, кто "рифмуют с Лермонтовым лето, а с Пушкиным гусей и снег".

А я за Евтушенко заступалась, ибо считала его своим крестником еще со времен "Нового мира", когда с восторгом угадала в робком мальчике настоящего поэта.

Но вскоре кто-то из грузинских друзей Б.Л. привез ему изданный в Тбилиси сборник "Лук и лира", и здесь были вещи, по мнению Б.Л., настоящие. Евтушенко был поражен, когда Б.Л., случайно встретясь с ним на концерте С.Нейгауза, прочитал ему его удачное четверостишие наизусть:

Мне мало всех щедростей мира,
Мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила
И жажда вспоила меня .

И сказал, что ему понравилось сравнение огней Тбилиси с разноцветными крапинками на форели.

Знакомство с Пастернаком Женя Евтушенко описал в "Автобиографии":

"Из глубины сада, откуда-то из-за дерева, чуть не натолкнувшись на меня, неожиданно вышел смуглый седоголовый человек в белом холщовом пиджаке.

— Здравствуйте, — произнес он чуть нараспев, протянув мне руку и, глядя на меня карими удивленными и в то же время ничему не удивляющимися глазами. И вдруг — не выпуская моей руки из своей, улыбаясь, сказал:

— А я знаю кто вы... вы... Евтушенко... Да, да, именно таким я вас представлял — худой, длинный и притворяющийся, что незастенчивый... Я все про вас знаю — и то, что вы в Литинституте лекции нерегулярно посещаете... и всякое такое... А кто это там за вами идет — грузинский поэт? Я очень люблю грузин...

Я объяснил, что это, не грузинский поэт, а итальянский профессор Риппелино и представил его.

— Ну и очень хорошо. Итальянцев я тоже люблю. А вы в самое время пришли — у нас как раз обед готов. Ну пошли, пошли — вам, наверное, есть хочется.

И сразу стало просто и легко, и мы сидели вскоре за столом, ели цыпленка и пили коньяк.

На вид Пастернаку можно было дать не более 47-48 лет. Весь его облик дышал какой-то удивительной искристой свежестью, как только что срезанный букет сирени, еще хранящий на лепестках переливающуюся садовую росу. Он весь был какой-то переливающийся от всплескивающих то и дело рук до удивительно детской белозубой улыбки, беспрестанно озаряющей его подвижное лицо. Он немножко играл.

Но когда-то он написал о Мейерхольде:

Если даже вы в это выгрались,
ваша правда. Так надо играть.

И это относилось к нему самому".

После обеда и Б.Л. и Женя читали стихи до пяти часов утра (З.Н. врывалась со скандалом: "Вы его убиваете, ему нельзя так поздно...") Б.Л. читал "Вакханалию", Евтушенко — многое. "Свадьбы" не очень-то Боре понравились, зато от "Пролога" пришел в восторг. И в таком настроении подарил издание двадцать седьмого года — "Две книги" с надписью:

Е.А. Евтушенко.

Дорогой Женя, Евгений Александрович, Вы сегодня читали у нас и трогали меня и многих собравшихся до слез доказательствами своего таланта. Я уверен в Вашем светлом будущем. Желаю Вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у Вас в окончательных, исчерпывающих формах и освобождало место для следующих замыслов. Растите и развивайтесь.

Б. Пастернак
Переделкино 3 мая 1959 г.

Но так как именно в это время Б.Л. впал в "неслыханную простоту" через свою сложность, вдруг ему самому ставшую свидетельством того, что когда-то они с Маяковским просто "не умели писать" — выкрутасов модных поэтов с их манерой рифмовать душевно он воспринимать не мог.

На моей памяти Б.Л. искренне отмечал тогдашнего студента института им. Горького, Ириного однокашника, молодого чувашского поэта Геннадия Лисина (Айги). Он разбирался в его подстрочниках (правда, тоже с голоса Лисина), предпочитал их рифмованным стихам. Б.Л. видел в них так им ценимые собственное поэтическое восприятие и острый глаз поэта.

Юра Панкратов, и покойный теперь Ваня Харабаров, Ирины приятели-студенты, были ближе других Борису Леонидовичу не столько в литературном, сколько в человеческом плане. Они, активно входя в созданную Ирой "Тимуровскую команду", скрасили тяжелые дни Нобелевской премии.

Вероятно, надо еще раз вспомнить об отношениях Пастернака и Цветаевой. Ей и Маяковскому он адресовал удивительные по трагизму строки:

Нас мало. Нас может быть трое
Донецких, горючих и адских...

По-видимому, уже тогда, в двадцать первом году, Б.Л. понимал, что в них троих кроется огромная взрывчатая сила, сила каждого истинного самобытного поэта:

Мы были людьми. Мы эпохи...

Сколько провидения было в этих словах:

...Вы поздно поймете...

Нет, ни анализа этих строк, ни отношений, за ними кроющихся, я здесь дать не смогу. Уж очень сложны, многогранны, тонки и неуловимо разнозначны тысячи и тысячи нитей, соединявших и разъединявших этих трех людей: Пастернака, Цветаеву, Маяковского. И поэтому здесь — только лишь штрихи, только лишь намеки.

Пастернак — Цветаевой: "... ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности". Хотя он не любил этого "громкого" слова и дальше писал: "В личном общении это галерочное, парикмахерское слово". И на экземпляре книги "Темы и вариации", подаренном Марине, Б.Л. надписал: "Несравненному поэту Марине Цветаевой "донецкой, горючей и адской".

А Цветаева отвечала: "Ничья хвала и ничье признание мне не нужны, кроме Вашего". И в стихах:

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю — один
Мне равносилен.

В мире, где столь
Многого хощем,
Знаю — один
Мне равномощен.

И в литературной статье: "В России крупнейшим из поэтов и прозаиков (на последнем настаиваю) утверждаю Пастернака, давшего не новую форму, а новую сущность, следовательно — и новую форму". Впечатле-

ние, что это сказано после прочтения "Доктора Живаго", а не за тридцать лет до того, как он был написан.

Совсем не так (хотя и очень высоко) ценили друг друга Маяковский и Цветаева. Но нельзя не вспомнить и горькие слова Маяковского: "Книжный продавец должен еще больше гнуть покупателя. Вошла комсомолка с почти твердыми намерениями взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль с серой обложки: — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана?! Мужчина"*. Статью перепечатал парижский журнал, и Марина писала в письме Борису Леонидовичу:

"Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает. Между нами — такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него".

Пастернак и Маяковский... В начале двадцатых годов оба они боялись остаться вне революции, боялись пропустить по близорукости то грандиозное, что совершалось на их глазах. Маяковскому тех лет Б.Л. дал наивысшую оценку из всех, какие один поэт может дать другому. Об этом — в "Охранной грамоте", в автобиографическом очерке, в стихах. И в романе устами Юрия Живаго:

"Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя "Подростка". Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!".

Маяковский тоже ценил только двух или трех:

Эти сегодня стихи и оды,
В аплодисментах ревомые ревмя,
Войдут в историю, как накладные расходы
На сделанное нами — двумя или тремя...

---

* В.В.Маяковский. Подождем обвинять поэтов. "Красная новь" N 4, 1926 г., стр. 123. Полн. собр. соч. том 12, стр. 79, ГИХЛ, 1959.

И в статье: "Борис Пастернак — гениальный лирик... скрыть хорошее никогда не удастся...".

Но недорого стоят застывшие в статике оценки.

Внутренний спор Пастернака с Маяковским велся всю творческую жизнь каждого из них. Не единожды они пытались подвести "промежуточные" итоги. Так, выступая на диспуте 23.3.27. Маяковский процитировал критика Лежнева: "Когда время ломки искусства, требующего острого, отрицающего, декларативного и теоретизирующего новаторства, выдвигает вперед футуризм и его знаменосца Маяковского, Пастернак остается в тени..." Но тут же от себя Маяковский добавил: "Когда время выдвигает Пастернака, Маяковский остается в тени...".

Вспоминаю многие из размышлений "вслух" Бориса Леонидовича о совместных его и розных путях с Маяковским. И понимаю так, что после сотрудничества в ЛЕФе пути их разошлись: Борис Леонидович учился у жизни и истории. И взгляды его на некоторые фундаментальные события века существенно эволюционировали. Иногда это проявлялось неожиданным образом. Забегая вперед, вспомню об одном эпизоде из того времени, когда роман "Доктор Живаго" уже перешел границу и все растерялись: наверху, очевидно, еще не был выработан точный план, что же с нами делать, а у нас время шло в переговорах, предположениях, предчувствиях.

Однажды Боря взобрался по узловатым корням, заменявшим лестницу к нашему переделкинскому домику, каким-то обескураженным и растерянным. И начал с порога:

— Ты знаешь, у меня была очень странная встреча, вот тут, у пруда, на шоссе, когда я от тебя вчера возвращался. Представь, догоняет меня какой-то тип, в телогрейке, говорит, из лагеря вернулся недавно. Я думал — денег ему нужно, предложил. А он говорит — не надо, но издалека приехал со мной посоветоваться; рассказывал про ужасы уже хрущевских лагерей, — там были другие пытки — голодом... Раньше, мол, хоть посылки были, а теперь пять килограмм на полгода! И знаешь, о чем он приехал издалека спросить у меня — встречал меня уже несколько дней подряд, а проследил

только сегодня. Он спросил: "Как вы смотрите на террор, не будет ли перемены к лучшему, если например найдется человек, способный пожертвовать собой и убить Хрущева?" — Ему, дескать, зная мою такую, по его мнению, оппозиционную сущность, надо было со мной посоветоваться! Издалека ехал — похоже как за благословением!

— О, Господи! И что же ты ему ответил?

— Ну, я ответил, что не только не считаю террор выходом и спасением, но и к революции отношусь иначе, чем в молодости, когда мы ее так экспансивно душевно приветствовали! Я считаю, что к лучшему могут привести перемены только эволюционным путем... А теперь мне думается — не подослан к нам этот человек? Как ты думаешь?

Еще определенней Б.Л. показал эволюцию своих взглядов в самом большом эпическом и лирическом, философском и историческом произведении — романе "Доктор Живаго":

"...выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды — это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны!"

В этом же романе выведена фигура Антипова — Стрельникова, в которой воплощены многие из духовных (но отнюдь не портретных и не биографических) реальностей Маяковского *.

---

* В одном из своих интервью А.Солженицын сказал, что как-то невольно в образе генерала Самсонова (из "Августа четырнадцатого") проявилась духовная реальность поэта Александра Твардовского; а здесь в образе красного генерала Стрельникова проявилась духовная реальность поэта Владимира Маяковского.

Подобно Маяковскому, Стрельников воплощает идею, доведенную до крайности. "Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи..., — говорит о нем жена, — Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины". А сам Стрельников говорит о себе так, как мог бы сказать и Маяковский:

"... Мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они...".

Такая фанатическая вера в идею, не считающаяся ни с какими фактами действительности, не могла не привести к катастрофе. Стрельников застрелился...

Мне кажется, что окончательный итог всех отношений между Маяковским и Пастернаком у первого подвела пуля, а у второго — главный труд его жизни — роман "Доктор Живаго".

Маяковский "наступил на горло" не только собственной песне, но и самому себе. Когда со временем он понял это — не это ли явилось причиной рокового выстрела? Этот выстрел, быть может, — лаконичная и злая самооценка творческого пути Маяковского. "Единственный суд над поэтом — самосуд" (М. Цветаева).

Пастернак сумел сохранить свою поэтическую индивидуальность, духовную независимость и отсюда — цельность, своеобразность, неповторимость поэтического видения мира, несмотря на сталинские шоры, надетые на многих даже талантливых литераторов этого времени. И это дало ему полное право на склоне лет оценить — за что отдал песню и жизнь Маяковский. Беспощадный к себе и к любимым друзьям, Б.Л. высказал горькие, но выношенные и выстраданные десятилетиями мысли:

"Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности... До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые ис-

тины, изложенные так искусственно, запутанно и недоступно. Это, на мой взгляд, Мяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным... Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен...".

Еще лаконичней подвела итоги Марина Цветаева:

"... Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского — поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил. Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни. Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой". ("Искусство при свете совести").

Нет, Пастернак не предал Маяковского (как кое-кто уверял), так оценив итог его пути. В этой оценке — глубокое понимание того, что Маяковский, пытаясь поставить политику выше поэзии, сам себя предал. Это лишило его собственного поэтического лица и, скорее всего, это его и убило.

В такой оценке Маяковского Пастернаком накануне шестидесятых годов — итог предвидения, сделанного им в двадцатых: из трех — только двое действительно оказались "донецкими, горючими и адскими" — до самого своего последнего часа. И о них двоих — "у Лиры крепостных" — надо поговорить отдельно и подробнее.

Но прежде — коротко еще об одном "треугольнике", еще об одном поэтическом триумвирате: Пастернак — Мандельштам — Ахматова. Несмотря на общую "вершину" — Пастернака, эти два треугольника, как я понимаю, в некотором смысле противостояли друг другу. Мандельштама и Пастернака называют даже антиподами. Так полагает Надежда Мандельштам, о том же писал и Николай Оцуп: "В первом собраны лучи культуры латинской, во втором германской, у первого сквозь кристальную ясность, для него обычную, — виден плененный хаос (в этом у Мандельштама тень какого-то родства с Тютчевым), у второго сквозь хаос наружный, кстати, все явственнее подчиняемый законам простоты, видна цельность и целомудренность душевного здоровья...".

Еще в первые послереволюционные годы Корней Чуковский отметил "антиподность" Маяковского и Ах-

матовой, которые "столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их".

Замечательно, что поэты, по признанию многих, относящиеся к антиподам, одинаково сильно любили и ценили Пастернака.

Осип Мандельштам много и замечательно писал о творчестве Бориса Леонидовича: "Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах: это — блестящая Нике, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы... Изобретение и воспоминанье — две стихии, которыми движется поэзия Б.Пастернака... Пастернак не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутого языком. Этой новой гармонией можно высказать все, что угодно, — ею будут пользоваться все, хотят они того, или не хотят, потому что отныне она общее достояние всех русских поэтов".

Говоря о русских поэтах — "не на вчера, не на сегодня, а навсегда", к которым современники проявляют "чудовищную неблагодарность", Осип Эмильевич назвал и Пастернака.

А Боря вспоминал о Мандельштаме всегда в связи с неприятным для себя случаем с пресловутым звонком вождя.

— Не сумел защитить! — так сказал вождь. Это было и не очень справедливо, и обидно. Когда разговор касался Мандельштама, Борис Леонидович в сотый раз повторял одно и то же: что он не виноват в несчастной его судьбе, что если бы он не написал просьбу Бухарину и вообще не поднял бучу против ареста Мандельштама, может быть и не было бы у того возможности хоть ненадолго получить передышку. Возможно, не было бы тогда "Воронежских тетрадей".

Однако, сам Б.Л. в неожиданном общении с властями по поводу Мандельштама чувствовал себя не на высоте. Что-то было сделано не совсем так...

Но не нужно забывать об особенностях характера Б.Л. Он искренне хотел всякого добра О.Э. и не побоялся ничего, за него вступаясь. Но какие-то вещи глобального масштаба показались ему в тот злополучный момент выше частных человеческих судеб.

— Несправедливости творятся вашим именем, Иосиф Виссарионович! — вот то главное, что хотелось Б.Л. сказать, когда в исторический момент услыхал в телефонной трубке голос вседержителя судеб человеческих. Им овладело желание вызвать сверхчеловека на человеческий голос, человеческую беседу... Все сразу сказать, повернуть, подсказать, исправить... А Мандельштам, очевидно, отошел для него в тот момент даже как-то на второй план.

И показалось, вероятно, Пастернаку — поэту, одаренному действительно особым поэтическим мышлением, что в ответ на доверие, оказанное высочайшим звонком — должно быть тоже сердечное ответное движение. И начал он — "всесильный Бог деталей" — лопотать о различии в его с О.Э. литературных установках... Конечно-де, большой поэт Мандельштам... Но вот чужд он мне академической манерой, точностью рифм, в то время, когда мы за ассонансы, когда ломаем догмы и формы. Да и не важно это, а важна суть жизни и смерти, отсутствие совести и даже — "литературных кругов...".

Я часто расспрашивала, какой же он был — один из моих любимейших поэтов — удивительный Осип Эмильевич Мандельштам? По Бориным рассказам — это тончайший лирик, от затаенного чувства страха показавший примеры мужества и отваги; нищий богач — астматик в барской шубе, преломляющий в хрустале лучи, падающие на прозрачные женские пальцы; боящийся сильных — он, со словами "Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены", дал публичную пощечину всесильному А.Н.Толстому *; обвиненный в заячьей трусости, это он не побоялся написать и читать на бульварной скамейке ошеломленному Пастернаку стихи о тонкошеих полулюдях; смело, как никто, он передал в своих стихах подавляющее и унижающее чувство страха, владевшее эпохой.

Да, акмеист, классик, великий русский поэт, пожелавший, да не смогший не любить свою "горькую" землю...

---

* А.Толстой, как считал Мандельштам, оправдал Сергея Бородина, оскорбившего жену О.Э. — Надежду Яковлевну.

О, позволь мне быть тоже туманным
И тебя не любить мне позволь!

Задорный, щупленький, царственный, ребячливый, нежный, отчаянный человек — таким, со слов Бориса Леонидовича, и виделся мне Осип Эмильевич Мандельштам...

Вернусь к двум поэтическим триумвиратам. Так вот, я думаю, что высокую нравственную чистоту, благородство и мастерство поэтического слова для обоих "треугольников" олицетворял находившийся в вершине каждого из них Пастернак. Этим он их, вероятно, и объединял.

"ЗНАЮ — ОДИН МНЕ РАВНОСИЛЕН"

Борис Леонидович познакомился с Мариной в двадцатых годах. За всю жизнь — недолгие, немногочисленные встречи. Однако — всегда взаимная тяга, и самая сильная — во время разлук, а разлук было больше, чем встреч. Я знаю об отношении Марины к Борису Леонидовичу по письмам ее к нему, где огромный накал боли и обиды за расстояние — разъединявшее, мешавшее непосредственному, живому общению душ. Об отношении Бориса Леонидовича к Марине знаю из его собственных рассказов о ней — рассказов, всегда окрашенных душевной болью и восхищением.

Он говорил мне: "Поэтический талант Марины — женщины — можно поделить на десять частей, и каждая часть будет равна полноценному мужскому таланту, вполне заслуживающему признания современников".

Может быть, воспроизвожу его слова не точно стилистически — пастернаковски, но суть верна. Марина была и оставалась на всю жизнь любимым его поэтом.

Кто не знает из любящих литературу о бурном "эпистолярном" романе Пастернака и Цветаевой, о письмах — не просто письмах, а когда эти письма — душевный разговор, характерный для каждого по-своему, разговор, выходящий за грани письма, разговор, ког-

да один корреспондент смотрит глаза в глаза другому, ощущает живое его существо.

За всю нашу жизнь с Б.Л. столько раз я слышала о его внутренней ответственности за приезд Марины на родину, за ее неприкаянность и муки, за ее смерть. Скорбь о ней не покидала его никогда. Теперь ходят еще нелепые слухи, что в год ее смерти, во время тяжких эвакуационных скитаний, Б.Л. так же, как другие, жившие близ нее наши маститые литераторы, покинул ее и даже отказал в помощи.

Это злая и бессовестная неправда. Сама Марина, бродя в последние свои дни по Чистополю в поисках помощи, говорила, что теперь она совсем одинока, и "нет даже Бориных писем". А письма — затеривала война. Самого Б.Л. там и близко не было.

В тот день, когда Борис Леонидович узнал о смерти Цветаевой, 10 сентября 1941 года, он написал из Москвы в Чистополь Зинаиде Николаевне:

"Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге... Если это правда, то какой ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Это никогда не простится мне.

Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в инт. обществе и среди понимавших входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья Гаррик, Асмус, Коля Вильям *, наконец, Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее личным другом, и по многим другим причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе!...".

Борис Леонидович предъявлял себе страшные обвинения. С годами они не стерлись. Но — так ли он был виноват? Вот отдельные строки писем и записных книжек самой Марины, рассказы ее дочери (и моей близ-

---

* Гаррик — Генрих Густавович Нейгауз; Коля Вильям — Николай Николаевич Вильям-Вильмонт — литературовед, критик.

кой подруги) Ариадны Эфрон, воспоминания гослитовского редактора Цветаевой Зинаиды Петровны Кульмановой, наконец, материалы некоторых зарубежных изданий *; и я попытаюсь, опираясь на все эти материалы — провести едва заметную пунктирную тропинку от деревянного крашеного дома N 8 в Трехпрудном переулке Москвы, где жизнь Марины началась — до деревянного же дома N 20 по улице Жданова в Елабуге, где она окончилась.

(Какие бывают знаменательные случайности: Цветаева повесилась в доме на улице имени "покровителя" литературы Жданова, а "некий" Пастернак жил на улице имени "известного писателя" Павленко).

Еще задолго до революции, в предчувствии непрочности тогдашнего существования и грядущих потрясений, шестнадцатилетняя Марина писала:

Будет скоро тот мир погублен!
Погляди на него тайком —
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом...

Не продан был — "разграблен и разгромлен" (а потом и сожжен) дом, Марину ждали смерть младшей дочери ("умерла Ирина — от голоду — в приюте, за Москвой", в Кунцеве), эмиграция, нищета, безвестность. Скитания из одного чужого угла в другой по деревням Чехии, затем под Парижем. Ужасающий, пожирающий все время и силы быт, постоянная болезненность и неустроенность мужа. Причем отношения ее с эмиграцией все ухудшались. Даже такой же эмигрант, как и Цветаева — акмеист Георгий Адамович — не понимал ее при жизни и не признавал. Лишь после смерти Марины он осознал всю неправедность и всю непоправимость происшедшего:

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашенье в ад,

* Например: Марина Цветаева. Неизданная переписка. ИМКА-пресс. Париж. 1972.

Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все — по случайности, все — по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

Да, так оно у Марины и получалось: "все — по случайности, все — по неволе".

У нас мало кому была так близка и понятна эмигрантская доля Марины, как Пастернаку:

Чужая даль. Чужой, чужой, из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник...

И при всем том — неумение и нежелание бороться за свое благополучие: "Знайте, что на дорогах жизни я всегда уступаю дорогу".

А постоянная тоска по читателю, постоянная боль за подрастающих детей? О сыне: "Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий...". О тринадцатилетней Ариадне: "Аля огромная (стерва Мякотина — может быть от стервозности — ей дала 16 лет), с отросшими косами, умная, изводящая (ленью и природной медлительностью). Ей очень тяжело живется, но она благородна, не корит меня за то, что через меня в этот мир пришла. С 4-х лет — помойные ведра и метлы — будет чем помянуть планету!".

Марина еще не знала тогда — насколько пророческими окажутся ее слова. Ведь впереди ее Алю ("Алей я в детстве гордилась, даже — чванилась") ждали расстрел отца, самоубийство матери, гибель брата и ее собственные шестнадцатилетние хождения по адским кругам сталинских концлагерей и ссылок.

Всех равно—без промаху—бьет Господен цеп!

Действительно, есть ей чем "помянуть планету", точнее — родное государство на ней...

Переписка Б.Л. с Мариной в годы ее эмигрантских мытарств хорошо известна. Но конец посвящения Марине того времени хочу вспомнить:

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

Я уже писала о свидании Б.Л. с Мариной в мае 35 г. в Париже. Семья ее тогда находилась на распутье — ехать на родину — не ехать? Вот как отозвался на это сам Пастернак: "Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать...".

А ведь Пастернак в обстановке массовых репрессий, последовавших за убийством Кирова, может быть, мог бы посоветовать Марине что-то более ясное и определенное.

(Уж не за это ли так он корил себя после гибели Марининой семьи: "В молчаньи твоего ухода упрек невысказанный есть"?)

Между тем пришли роковые времена. Здесь много слухов, мало достоверного. Но в основе все сходится: муж Марины Сергей Эфрон, желая заслужить право возвратиться на родину, оказался серьезно замешанным в убийстве советского агента-перебежчика Игнатия Рейсса-Порецкого (Швейцария, сентябрь 1937 года). В связи с этим Марину жестоко допрашивали в полицейском участке, но ее неведение было столь очевидным, что от дальнейших преследований она избавилась.

Эфрон должен был бежать в СССР. Перед тем уехала и Ариадна, Марина с Муром остались под Парижем. Отношения с эмиграцией еще более обострились, с отъездом Али исчез и доход от шапочек (Аля в помощь семье вязала их на продажу). А семье было — трудно. Вот один только штрих. Львиную долю бюджета по-

жирала плата за квартиру. Обычных доходов на нее не хватало, и, когда задолженность становилась критической, Марина ухищрялась снять (а чаще выпросить) небольшой зал (80 — 120 мест) и устраивать свой платный поэтический вечер. И вот многие помнят письмо Цветаевой из Парижа Анне Тесковой в Прагу: Марина просила раздобыть и выслать на один такой вечер платье — решительно не в чем было выйти даже на самую "простецкую" публику...

Подрастающий Мур не очень-то склонен был вникать в материальные беды семьи: ему хотелось и не отстать от моды (все же — молодой парижанин), и что-нибудь "вкусненькое" хотелось ему чаще, чем это было доступно. Алексей Эйснер *, посещавший в те годы семью М. Цветаевой в Париже вспоминает, что Мур был очень толстым, красивым и умным мальчиком, чем-то тем не менее для многих посторонних неприятным. Но Марина болезненно привязана была к нему, и материальные недостачи сына переживала особенно остро.

"Негодование — вот что во мне растет с каждым годом — днем — часом. Негодование. Презрение. Ком "обиды", растущий с детства. Несправедливо. Неразумно. Не по-божески. Есть у Блока эта интонация в строчке:

"Разве так" суждено меж людьми"?

Ко всему еще и вестей никаких от Сергея и Али не приходило **. А ведь с отъезда их минули и месяц, и год, и полтора... Где они? Что с ними..?

---

* Рассказывают, что Алексей Владимирович Эйснер после революции был вывезен отчимом и матерью в Париж, участвовал в испанской гражданской войне; в 1940 г. вернулся в СССР, где находился в заключении до массовой реабилитации. С начала тридцатых годов был близок с семьей М.Цветаевой, о чем см. в письме Цветаевой к Анне Тесковой N 77 от 8.4.32 г.

** Так утверждает в своих мемуарах ("Новый журнал") Марк Слоним; по сведениям же Алексея Эйснера, письма от С.Я. Марина получала; по крайней мере, ему известно, что в одном из первых писем С.Я. писал:" Я очень соскучился по французскому кино".

И решилась Марина на крайний, на последний шаг: ехать...

Зинаида Алексеевна Шаховская запомнила слова Марины: "Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!.. Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не преследователями, с жертвами, а не с палачами...". Поэтессе Алле Головиной на вопрос о том, будет ли жалеть о Франции, Марина ответила экспромтом:

Мне Франции нету милее страны
И мне на прощание слезы даны.
Как перлы они на ресницах висят.
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

Спустя почти два года после отъезда Сергея с Алей, 12 июня 1939 года Марина с Муром выехали из Парижа через Гавр и Варшаву (от Гавра до Польши морем) в Москву. Приехали 18 июня. На Западе создалось впечатление, будто Марина не застала мужа и дочь на свободе. Это неверно. Вся семья — Сергей, Марина, Аля и Мур — встретилась и поселилась на крохотной дачке в подмосковном поселке Болшево. Было трудно, тесно (Ариадна ради брата переселилась на холодную веранду), но была недолгая (немногим более двух месяцев) радость: семья соединилась. Были надежды на будущее.

Борис Леонидович привел Марину в "Гослитиздат" (тогда — в Большом Черкасском переулке) и представил ее редакторам. (Об этом еще и сейчас хорошо помнят и рассказывают Софья Моисеевна Хитарова и Зинаида Петровна Кульманова). Марину сразу же загрузили работой: дали переводить грузинские стихи (в частности, Важа Пшавела), белорусских евреев, еще кого-то. И гонорары платили, не ожидая публикаций.

Однако переводила Марина медленно. Позже (весной 41 г.) она писала: "Никакая нужда не заставит меня сдать рукопись до последней проставленной точки, а срок этой точки — известен только Богу. Богу поэтов". Так что зарабатывала мало, но выручала Аля (если не ошибаюсь — она работала в Обществе культурной связи с заграницей). Говорят, что и Сергей работал. Так что все было бы ничего, если бы в ночь на 27 августа 1939

г. не арестовали Ариадну, а спустя примерно месяц — Сергея...

... Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом...
(Анна Ахматова о встрече с М.Ц. в 1940 г.)

В 55 г. Ариадна вернулась из ссылки в Москву и поселилась на сундуке в крохотной комнатушке в Мерзляковском переулке у тетки Елизаветы Яковлевны Эфрон (на нем же она спала в свой первый приезд в Москву в 37 г.; после ее ареста в 39 г. сундучок заняла Марина). В то время Аля записала: "Мамины тетради я доставала наугад (из сундука — *О.И.*) — и ранние, и последние, где между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне, наброски безнадежных заявлений всем, от Сталина до Фадеева, и слова: "Стихов больше писать не буду. С этим покончено". (Далее Аля писала: "Читала их по ночам, когда затихала большая коммунальная квартира. Напрасно думала я, что когда-то выплакала все слезы — этого было не оплакать. И требовала вся эта мука не слез, а действий, не оплакивания, а воскрешения. Днем я уходила — кого-то разыскивала, с кем-то встречалась, искала работу, а пепел Клааса стучал в сердце мое и не давал мне спокойно и достойно разговаривать с людьми").

Трудно жила Марина после ареста близких. Вернее, чувствовала — надо было жить, но решение о смерти уже тогда пришло к ней: "Посуда, вода и слезы... Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк, но их нет, потому что везде электричество. Никаких люстр... Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно... Я не хочу умереть. Я хочу не быть".

"Сегодня (26 сентября по-старому) Иван Богослов — мне 48 лет (1940 г. — последний при жизни М.Ц. день ее рождения. — *О.И.*). Поздравляю себя. Тьфу, тьфу, тьфу с уцелением, а может быть с 48-ью годами непрерывной души".

Начались мытарства Марины с поисками жилья. Все было либо негодным, либо временным. То она жила с Муром в комнате у сестры Сергея — Елизаветы ("Лили") Эфрон и ее компаньонки Зинаиды Митрофановны (Мерзляковский переулок, 16, кв. 27), то — в комнатушке дома писателей на улице Герцена, то — в Голицыно...

Рассказывают, что в записках покойного Эм.Казакевича (он принял участие в устройстве судьбы Ариадны после возвращения ее из ссылки и помогал "пробивать" первый советский сборник стихов Цветаевой) есть такой эпизод. Вскоре после возвращения Цветаевой на родину Б.Л. посетил в Переделкине А.Фадеева, рассказал ему о приезде Марины и просил для нее помощи (особенно — с жильем). Конечно, говорил об этом в своей манере, взволнованно и сбивчиво. Фадеев сделал вид, что ничего толком не понял и как будто даже не знает, о ком идет речь. Тем не менее в ближайший вечер он как бы невзначай заглянул "на огонек" к Пастернакам, где в это время гостила Цветаева. Знакомство состоялось, и не вина Б.Л., что оно ничем не помогло.

Обращалась Марина и в Литфонд, и к начальственному Павленко — все было тщетно. Сколько горечи в этих ее словах: "Москва меня не вмещает...Я не могу вытравить из себя чувства — "права"... Мы Москву — задарили. А она меня вышвыривает: извергает". Речь здесь шла о том, что отец Марины был инициатором и создателем Музея изящных искусств (ныне музея изобразительных искусств им. Пушкина), а Румянцевскому музею (ныне — библиотеке им. Ленина) было подарено три огромной ценности библиотеки: деда, матери и отца.

"С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня — все меньше и меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха... Остатся только мое основное нет..." (31.8.40).

Когда удавалось короткое время пожить на чужой даче в сравнительно приличных условиях — Цветаеву мучила совесть — ведь родные в это время томились где-то в застенках: "Мне — совестно: что я еще жива... Единственное, что во мне есть русского, это — совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, ни на секунду не забывая, что — другой в

ту же секунду задыхается в жаре и в камне...". Этим "другим" были, конечно, муж, дочь, сестра Ася. С ней Марине так и не пришлось свидеться — к ее приезду Ася уже находилась в ссылке.

"Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь" (31.8.40).

"Я сейчас убита, меня сейчас нет, не знаю, буду ли я когда-нибудь...".

"Очень растерянная и несчастная..." (10.6.41).

Между тем, хотя и медленно, подвигалась работа над переводами, над книгой стихов. "Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за переписку, опять исправляю, и почти уверена, что не возьмут, диву далась бы, если взяли" (24.10.40).

Книгу, конечно, не взяли. Но в мартовском номере журнала "30 дней" опубликовали старое (1920 года) стихотворение "Вчера еще в глаза глядел..." с рефреном "Мой милый — что тебе я сделала?" (Это — к Восьмому марта?).

Произошло еще одно важное событие: Марину приняли в группком литераторов при "Гослитиздате". Об этом она писала 12.4.41 Але в лагерь: "Меня на днях провели в группком Гослитиздата — единогласно. Вообще я стараюсь".

Но на самом деле прием прошел не так уж гладко. З.П.Кульманова хорошо помнит, как к ней в рабочую комнату в тот день ворвалась взбудораженная Марина, она была оскорблена и безутешна: против нее, со всеми дежурными упреками за эмиграцию и аресты близких выступила некая Криницкая (я ее не знаю). З.П. вспоминает: хотела Марину успокоить, дать ей воды, пошла к шкафу искать стакан, а та в это время стремительно схватила со стола пластмассовый стаканчик, вытряхнула из него карандаши и ручки, налила себе воду...

Когда прогрохотали над городом первые немецкие фугаски, а по московским крышам забарабанили осколки зенитных снарядов и мелкие "зажигалки" с фашистских самолетов — к Марининым бедам и страхам добавилась еще одна: тревога за Мура.

Мур был рослым мальчишкой, и его включили в команду, сбрасывающую во время воздушных налетов с крыши зажигательные бомбы. Марина снимала в это время крошечную комнатку на верхнем этаже высокого дома на Покровском бульваре, N 14. В это же время

тушил "зажигалки" на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке и Борис Леонидович. Марина поехала к нему советоваться — что делать, чтобы уберечь Мура. У нее был готовый проект: уехать в эвакуацию, в Татарию, куда отправлялся Союз писателей. Б.Л., будто предчувствуя беду, настойчиво отговаривал, но другого решения ей не предложил. А она, очевидно, именно этого ожидала. В "Гослитиздате" она рассказала З.П.Кульмановой о своей поездке к Пастернаку и с горечью добавила: "Борис мог бы пригласить меня хоть на время пожить на его переделкинской даче".

Годы спустя Б.Л. говорил мне, что его инертность и семейная обстановка "Большой дачи" не позволили ему сделать то единственное, чего он так хотел: пригласить Марину. И она решилась на эвакуацию. Прощаясь с Зинаидой Петровной, Марина полушутя говорила, что так как все родные ее арестованы, а немцы продвигаются — как бы кто не заподозрил (если она не уедет из Москвы), что — ждет немцев.

Борис Леонидович провожал Цветаеву с сыном на Химкинском речном вокзале. Это было последнее их "прости". Эти люди на пристани ценили друг друга, безусловно, по самой высокой мерке: творческой. Тысячи незримых нитей связывали их духовную жизнь.

С родителей начиная.

Отец Марины: глава кафедры изящных искусств Московского Университета, директор Румянцевского музея, основатель Музея изящных искусств.

Отец Бориса: художник, академик живописи, профессор, автор превосходных литературных мемуаров о Льве Толстом, Райнере Рильке и многих других. Обоих роднят глубоко русские корни их творчества и одновременно тесная связь с общеевропейской культурой.

Мать Марины: пианистка и художница, любимая ученица Муромцевой (в свою очередь — лучшей ученицы Николая Рубинштейна) и Николая Клодта. "Мать поила нас из вскрытой жилы лирики...". Ее последние перед ранней смертью слова были: "Мне жалко только музыки и солнца".

Мать Бориса: талантливая пианистка, поражающая не столько техникой, сколько "редкостью артистического темперамента и пониманием смысла".

Еще больше духовного родства непосредственно между Борисом и Мариной. Здесь и общие взгляды на

сущность и дух поэзии, и глубокая, не ритуальная, не показная религиозность, и "одинаковая одинокость", и многое, многое другое, чего охватить здесь, на этих страницах, совсем невозможно.

И несмотря на все это — "одинаковая одинокость" слишком часто оказывалась совсем не такой уж одинаковой, восприятие мира слишком часто оказывалось довольно-таки розным (вспомним хотя бы отношение Пастернака и Цветаевой к Петру I, характерное для каждого). И тот, и другой поэт по-своему глубоко ощущал величие другого, тянулся понять и принять коллизии — суть каждого, а все же до конца не смог...

Мне кажется, что виновна в несостоявшейся духовной истинной близости (иначе бы и не расстались) была их разница в отношении к самому цепкому — к тому, что по сути владеет каждым смертным — к быту, над которым можно встать, на который можно наплевать и которому можно подчиниться.

По-моему, причина этого "прости", собственно, разрыва между двумя поэтами заключалась в очень простом: как человек Марина была мужественна, резка, ультимативна. Борис Леонидович в быту был женственно-мягок, "сложно-кроток" (определение М.Ц.). И хотя тянула его "страсть к разрывам" — это оказывалось мечтами и темами для стихов. Марина же выплескивала душу вслед истинным разрывам, неистовым, бескомпромиссным.

И вот вопль со страницы эпистолярного романа: "Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы... и на этом свете и особенно на том, который уже "весь в нас"... Мы бы спелись.

Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери все, что можешь — пока еще хочется брать!

Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не приручай ее. Бери все это с лирической, — нет, с эпической высоты!".

Аля Эфрон не раз говорила мне, что Марина, хотя и стремилась всем своим существом к встрече с Пастернаком, но внутренне никогда не была готова, и втайне даже страшилась ее. Еще намного раньше Марина провидела: "Жить бы я с ним все равно не сумела, — потому что слишком люблю". И еще: "С Б.П. мне не

жить, но сына от него я хочу, чтобы "он в нем через меня жил". Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее".

И в стихах:

... Ты в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер — в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты...

Действительность долгожданной встречи, по-видимому, превзошла ее худшие опасения: не только у нее, но и у Пастернака обе руки оказались занятыми. Ведь у него была уже вторая семья; разрыв с первой он воспринимал как огромную трагедию, страшился её повторения и новых подобных потрясений. А потом — сейчас мне представляется немаловажным и тот факт, что роман Марины и Бориса был уже пережит ими в длительной переписке — и так пережит, что повторение его в жизни им обоим (быть может, интуитивно) показалось невозможным.

Не странно ли, что никогда за четырнадцать лет я не слышала от Б.Л. внятного рассказа о самой первой его встрече с Мариной после того, как она 18 июня 39 г. вернулась из эмиграции в Москву. Он явно избегал воспоминаний об этом. А когда я не без ехидства в шутку как-то сказала: "Тебе бы жениться тогда на Марине", — яростно запротестовал:

— Лялюша, мы никогда не ужились бы рядом, в Марине был концентрат женских истерик! Мне это было противопоказано.

Марина, на стихи "обреченная, как волк на вой" (ее слова), была столь же обречена и на несчастья. Будто улавливала она своим поэтическим чутьем — где развал, где разрыв, где бури и страсти, и на стыке страстей, в местах разрывов драгоценных связей, в миги нежданных столкновений и поворотов судьбы возникала разноголосица новых чувств, озарений, строк — высекались творческие искры.

Только за три года пребывания в Чехии возила она свою семью жить то в какие-то Горние и Дольние Мокропсы, то в Иловище, то в Новые Дворы, то во Вшеноры, то — в Прагу... Да внутри каждого из этих "Псов" нередко запрягала своего Сережу в ручную те-

лежку, и тащились они под дождем по слякотному бездорожью чешских деревень с квартиры на квартиру...

Нет, не искала Марина ни бед, ни болей — они сами находили ее:

Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...

Но если не о ней — о ком же еще можно сказать, что боль была источником ее существования, через боль осуществлялась ее связь с миром поэзии.

"Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить" внезапно сменялись у нее мыслями о смерти ("лучше повеситься", — записала она не в сорок первом — в двадцатом году)... А потом мысли о смерти снова сменялись у нее исступленной любовью к жизни...

Рядом с любовью к Сереже (о котором писала В.Розанову: "Мы никогда не расстанемся. Наша встреча — чудо") не только эпистолярный роман с Пастернаком (что уж об этом говорить!), но — бурный, получивший широкую огласку, вполне реальный роман с Константином Борисовичем Родзевичем (будущим участником гражданской войны в Испании и французского Сопротивления*.

Любовь, это плоть и кровь,
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь —
Беседовать через столик?
....
И на том же блаженном воздухе, —
Пока можешь еще — греши!

---

* Отец К.Б. — Борис Казимирович Родзевич был генералом, начальником медицинской службы царской армии; сам К.Б., будучи командиром южноднепровской флотилии большевиков, попал в плен к белым и был приговорен ими к смертной казни; однако генерал Слащев (прототип Хлудова из пьесы Булгакова "Бег") отменил приговор и привлек К.Б. к сотрудничеству, за что последний был приговорен к расстрелу уже большевиками; говорят, только недавно этот приговор был отменен.

И из этой бури страстей разгорается пламя бессмертной лирики — "Поэма горы". Но не проходит и года — разрыв...

Жестока слеза мужская:
Обухом по темени!
Плачь, с другими наверстаешь
Стыд, со мной потерянный...

Разрыв порождает новый взлет лирического гения в "Поэме конца". А как только поэма написана — утихают страсти. Марина знакомит Родзевича с Марией, дочерью близкого ей священника Сергея Булгакова, способствует их браку, дарит невесте белое венчальное платье и вскоре пишет о молодоженах А.Тесковой: они "наши близкие соседи, постоянно видимся, дружественное благодушие и равнодушие, вместе ходим в кинематограф, вместе покупаем подарки: я — своим, она — ему...". И в другом месте записывает: "Я с человеком в себе, как с псом: надоел — на цепь".

А ханжам, спасающим Марину "от дурных страстей", с горделивостью и презрением истинной польской панны она отвечает:

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной не черни
Галчонка — белизной.

Всяк целовал, кому не лень!
Но всех перелюбя! —
Быть может в тот чернейший день
Очнусь — белей тебя.

Разумеется, не из одних таких бурных и разнозначных страстей состоял Маринин быт — источник ее творческих порывов. Был и просто быт — приземленный, во имя поддержания бренного существования.

"...Киплю в быту, я тот козел, которого беспрестанно заре- и недорезывают, я сама то варево, которое непрестанно кипит у меня на примусе".

"...Вы помните Катерину Ивановну из Достоевского? — Я. — Загнанная, озлобленная, негодующая...".

И снова:

"...Перечти Катерину Ивановну из "Преступления и наказания", это — я...".

Последние строки обращены к Борису Леонидовичу. Но для него слово "быт" означало нечто другое...

Разумеется, и он, хотя и не был борцом в вульгарном смысле этого слова, но — не бежал от бурь и нескладиц своего времени, а — шел им навстречу. Собственно, об этом говорят все факты в "Романе вокруг романа".

Но главным источником его творческого вдохновения, как я понимаю — была повседневность. О чем бы ни писал Пастернак — о любви, о природе, о социальных потрясениях — везде у него высокое искусство рождается в столкновении поэтической отвлеченности с домашним бытом и уличной повседневностью.

"Только в природе и рядовой обыденщине новизна и вечная необычность, только в труде и бедности заключена целая вселенная..." (Б.П.).

В неповторимых формах человеческого жизнеописания у Пастернака самое главное, существенное, огромное показывается через побочное, на первый взгляд, малозначительное, второстепенное. А в результате получаются такие картины движения духа человеческого, что о них с полным правом можно говорить, как о слепках жизни целого поколения; и скрытая гармония в них звучит сильнее и убедительнее явной.

Ему не нужно было метаться по долам и весям, менять привязанности и квартиры, искать разрывы и столкновения — он видел поэзию всюду вокруг себя, где бы он ни находился и что бы он ни делал. Уже вспоминала я слова Б.Л. из речи на Парижском конгрессе: "Поэзия... валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли...". Для него все было каждый раз заново: каждая любовь, каждый разрыв, каждое время года. Природа дарила всегда радость:

... Зима — и все опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод...

Или:

... А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.

В промозглом переулке, где редкие прохожие норовят лишь побыстрее прошнырнуть к теплу и уюту, Пастернак любуется:

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет...

Ему — хорошо.

Б.Л. относился к удобствам быта совсем не так, как Цветаева. Не сибарит он был, и не барин, но некий минимум бытовых удобств, какой-то порядок и покой, письменный стол и кабинет ему были необходимы. Не для себя, не для тела, не для жира — для поэзии; его поэзии нужен был свой распорядок жизни.

Можно было бы (как делают некоторые) считать это эгоцентризмом. Думаю, что скорее здесь — инстинктивное стремление уберечь от гибели свою музу, иметь возможность работать. И вот если так понимать отношение Б.Л. к быту — многое проясняется и в его отношениях к близким ему женщинам. (По крайней мере, в последнее двадцатилетие его жизни.)

С одной стороны, Зинаида Николаевна сумела организовать для Пастернака на "Большой даче" "Олимп" и создать там для работы и жизни максимум удобств. Б.Л. очень ценил это, что видно из многих его слов о Тоне в романе "Доктор Живаго" и даже из его письма к моей маме (см. главу "Письма"). З.Н., думаю, понимала, что, охраняя дом и быт Пастернака, тем самым укрепляла и свое собственное положение законной хозяйки "Большой дачи". И потому мирилась с открытым существованием "Малой", то есть моей дачи, ибо понимала, что неосторожный нажим на Б.Л. привел бы саму ее к катастрофе.

Но и тут все противоречиво. Взять последние годы: кабинет с любимыми книгами, стол — все было — и было прописано в его душе. Но говорил он мне неод-

нократно: "Ухожу на работу. Мне надо тебя заслужить. Там — рабочее место".

Н.М.Любимов рассказывал мне с большой душевной горечью — каким одиноким показался ему Б.Л., когда спустился к нему по лестнице из своего кабинета в "светскую залу", где в дыму шла дамская картежная игра. Встретили его всем скопом неодобрительными взглядами — те, на благополучие коих он замахнулся своим романом. И все-таки он формально не ломал то, что безусловно сломала бы Марина. Это не означает душевного спокойствия и эгоизма.

Аля с досадой говорила мне, что грубую и неуслышавшую стучавшего к ней "голубя" Зинаиду Николаевну Б.Л. от сострадания и угрызения совести из-за своей тогдашней нелюбви видел все-таки Красной Шапочкой, заблудившейся в лесу, и жалел до слез. А мне говорил:

— Я тебя не жалею. Дай Бог, чтоб у нас с тобой все всегда так было. Будем жалеть других. Увидел я стареющую женщину у забора и подумал — ведь ты бы с ней не поменялась? Так пусть все вокруг нас будет благословенно нашим милосердием...

Думать, что в башне из слоновой кости он охранял свое олимпийское спокойствие — это абсурд. Его безумства всегда останавливала жалость, особенно к тем, кого, как ему казалось, он несправедливо разлюблял. Жалость перевешивала. А когда мы, схваченные за горло недоброжелательностью во время особенно тяжелое, когда невмоготу стал чуждый нам дух "Большой дачи", решили все-таки бежать в Тарусу — Боря не смог; и не спокойствие свое оберегая, а опять-таки из-за душащей жалости к "не понимающим, а страдающим". Вот в чем дело.

Мне кажется — отчуждение между Б.Л. и З.Н. произошло задолго до моего появления — и вот почему во время военной неразберихи он не позвал Марину к себе. Для Марины он, вероятно, решил искать какой-то другой выход, а З.Н. не хотел выводить на чуждое ей сближение.

Еще один пример из более позднего времени. Когда в декабре 59 г. в Москву приехал Гамбургский драматический театр, Б.Л. очень хотел пригласить его руководителя Густава Грюндгенса и ведущих актеров на

"Большую дачу"; но даже в известном некрологе Пастернака, принадлежащем перу Герда Руге (в книге "Боги умирают. Поэты мира в памяти их друзей", 1961), отмечено, что семейная обстановка не позволила ему осуществить этот прием. И здесь он не пошел против воли З.Н.

Ну, а что касается моих личных четырнадцатилетних отношений с Б.Л. — им посвящена большая часть книги; скажу здесь только, что сходного с рассказанным немало, многие наши с ним ссоры имели своим источником все те же причины... Иной раз меня даже возмущали его терпимость, и жалостливость...

Да, Пастернак и Цветаева каждый по-своему понимали "проблему быта".

Так что теперь, после такого сумбурного отступления в сторону от Марининой "тропинки", я могу снова вернуться на дебаркадер Химкинского вокзала, где полоса речной воды навеки разводит Пастернака и Цветаеву.

И в полые волны
Мглы — сгорблен и равн —
Бесследно — безмолвно —
Как тонет корабль.

Двадцать первого августа сорок первого года Марина с сыном приехали в Елабугу и остановились в доме Михаила Ивановича и Анастасии Ивановны Бредельщиковых. Хозяева потом, узнав, что за человек жил у них и погиб, нарисовали такой ее портрет: "Высокая, сутулая, худющая, седая — прямо ведьма какая-то".

(Уже давно писалось:

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
— Не жалейте! — Все сбылось,
Все в душе слилось и спелось,

а в последнем письме к дочери 12.4.41: "Мур мне нынче негодующе сказал: — Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху!").

Одета Марина была скверно; темное длинное платье, старое коричневое осеннее пальто, самовязанный берет сине-грязного цвета.

Занялась устройством на работу и безуспешными попытками продать остатки столового серебра. Работу предложили одну: судомойкой в столовую. Написала письмо в Союз писателей Татарии; просила: "использовать меня в качестве переводчика. Я не надеюсь на устройство в Елабуге, потому что кроме моей литературной профессии у меня нет никакой" *. А еще перед отъездом Цветавой из Москвы З.Кульманова просила татарского поэта Ахмеда Ерикеева (председателя правления Союза писателей Татарии) взять Марину в Казань переводчицей; просила и П.Чагина. Но все было тщетно: никто не отозвался, никто не помог.

Марина на три дня поехала в Чистополь, где уже находились Асеев и Фадеев. Она просила хоть какого-нибудь жилья, а главное — прописки... Никто не отозвался, никто не помог.

Борис Леонидович, вспоминая Марину, много раз повторял мне:

— Неужели же я не расплатился бы с ними? — он негодовал из-за того, что хоть денег-то могли бы одолжить Марине до его приезда собратья-писатели во главе с близким ему Колей Асеевым и Фадеевым. Возмущение Б.Л. было тем более сильным, что он откуда-то узнал, будто Асеев не только не помог Марине, но даже ее еще и отчитал за то, что та приехала из Елабуги со своими просьбами.

И еще передали ему сказанные Цветаевой кому-то слова о том, что она предпочла бы вмерзнуть в лед Камы, чем возвращаться в Елабугу. Рассказывая об этом А.Гладкову, Б.Л. добавил: "Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме шли и шли бесконечные баржи".

И вернулась Марина в Елабугу ни с чем.

В воскресенье 31 августа (спустя всего десять дней после приезда из Москвы) хозяйка дома нашла Марину Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны от входа:

Сирые сени. Слепые. Те самые.
где оказалась пенька хороша,

* Опубликовано Р.Мустафиным в очерке "Последний адрес поэтессы"; газета "Комсомолец Татарии" от 20.3.66.

где напослед леденящею Камою
губы смочить привелось из ковша.

Гвоздь, а не крюк. Он граненый, увесистый,
для хомутов, для рыбацких снастей.
Слишком здесь низко, чтоб взять и повеситься.
Вот удавиться — оно попростей.

....

Бабушка, страшно мне в сенцах и комнате.
Мне бы поплакать на вашем плече.
Есть лишь убийства на свете — запомните.
Самоубийств не бывает вообще.
(Евг. Евтушенко)

Она так и не сняла перед смертью фартук с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. Кто знает, о чем она передумала в свои последние минуты... Вспомнила ли она свое определение самоубийства: "трусость души, превращающаяся в героизм тела. Героизм души — жить, героизм тела — умереть"?

После смерти Марины оставались привезенные ею из Москвы продукты и 400 рублей (правда, буханка хлеба в то время на рынке стоила 140 р., а пуд картошки — 200 р.). Хозяйка дома говорила: "Могла бы она еще продержаться... Успела бы, когда бы все съели...".

Нет, не голод загнал Марину в петлю, а одиночество ("я годы одна — людная пустошь").

В мае 1934 г. в Париже Цветаева писала: " Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника. Но если это несбыточно, то... поставили бы из тарусской каменоломни камень:

Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА".

Но и это ее желание не сбылось. Могила осталась безвестной.

Вот мы и прошли по тропинке между двумя деревянными домами — на Трехпрудном переулке и на улице Жданова; так что же — самоупреки Пастернака

были справедливыми? так в чем же его вина перед Мариной?

Метко и коротко (хотя и косвенно) на этот вопрос ответила ее дочь Ариадна. Одни считали, что случившееся с нею есть общая вина. "Пастернак же, — писала Аля, — себя чувствовал виноватым, потому что с ним не случилось того, что со мной".

Да, наверное, вина Бориса Леонидовича в том и заключалась, что все несчастья Марины произошли с нею, а не с ним.

А об умении и желании Пастернака помочь ближнему тоже интересно сказала Ариадна: "Умение просто и буднично помогать людям — редчайший человеческий талант. Все, или почти все мы кому-то помогаем и чьей-то помощью пользуемся. Но, помогая, ждем воздаяния — хотя бы в виде благодарности; но, помогая, улучшаем собственную совесть; из чужой радости, облегчения, создаем собственные радость и облегчение.

Необычайно добр и отзывчив был Пастернак — однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось; своей отзывчивостью на чужие беды он обезвреживал свои — уже случившиеся и грядущие; смывал с себя грехи — сущие и вымышленные. Это он сам знал и сам об этом говорил".

А я думаю, что если бы эгоцентризм каждого проявлялся так, как он проявлялся у Пастернака, то дай Бог, чтобы все люди стали эгоцентриками: доброжелательность и отзывчивость заполнили бы тогда весь мир.

* * *

Борис Леонидович не сразу откликнулся на смерть Марины. Он считал, что должен был сказать ей свое слово. И оно было сказано, но не сразу, трудно, и он сам не был им удовлетворен. Кончалось посвящение ей так:

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с Земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

Интересно, что близкие Марины даже обиделись на такой, якобы холодный, "классический" отклик Па-

стернака на ее смерть. Мне об этом говорили и Аля, и Ася. Но в защиту Бориса Леонидовича пусть прозвучит голос самой Марины:

В мире, где всё —
Плесень и плющ,
Знаю: один
Ты — равносущ

Мне.

Часть третья

РОМАН ВОКРУГ РОМАНА

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Все минется, только правда останется.

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

“МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ”

Я не хочу писать историю создания романа. А если бы и хотела, то не смогла бы. Записи мои отобраны при аресте; более трех лет я была в лагере.

Когда вернулась — “Доктор Живаго” был почти закончен..

Впервые о романе я услышала от Б.Л. в самом начале нашего знакомства.

— Вы знаете, — сказал мне Б.Л., провожая меня как-то из редакции “Нового мира”, — у меня появилась прекрасная мысль, правда, может быть, она мне только одному кажется прекрасной? Давайте я повезу вас к одной своей знакомой пианистке. Она будет играть на рояле, а я обещал прочитать там немного из новой прозы. Это не будет роман — так, как принято понимать этот жанр! Я буду перелистывать года, десятилетия, и останавливаться, может быть, на незначительном. Пожалуй, я назову эту новую вещь “Мальчики и девочки”; или “Картинки полувекового обихода”. Мне кажется, что вы впишете туда страницу! Давайте обязательно поедем!

Так мы поехали к Марии Вениаминовне Юдиной, прямо в рождественскую метель, блуждали среди снежных сугробов на чьей-то чужой машине. Кроме нас — племянница Щепкиной-Куперник и еще кто-то. И вот мы в снегу, в лунном, снежном бездорожье, среди одинаковых домиков за “Соколом”, и не можем найти нужного дома. У меня все время вертелись строчки: “Не тот это город, и полночь не та. И ты заблудился, ее вестовой”.

Я смотрела на профиль Б.Л.; он сидел рядом с шофером и с улыбкой оборачивался ко мне: “Я не помню номера дома, забыл адрес! Интересно, если мы заблудимся; а они нас там давно уже ждут”. И мы действительно заблудились, Б.Л. в своих каких-то несусветно больших валенках часто выскакивал из машины. Тогда-то мы увидели среди домов мигающий огонь канделябра в виде свечи. Это оказалось окно, где нас ждали.

Огонек свечи, промелькнувший в ночи сквозь метель в незнакомом месте, сыграл символическую роль во всей нашей дальнейшей жизни.

Мария Вениаминовна долго играла Шопена; Б.Л. был особенно возбужден музыкой, глаза его блестели. А я себя не помнила от счастья.

Наконец Б.Л. начал читать. Вот зажглась "Елка у Свентицких". Танцевал с невестой — Тоней студент Юрий Живаго, появился дворник Маркел и тяжелый гардероб — символ старой московщины...

Рассветало, когда мы вышли на сверкающий рассыпчато-пушистый снег. И когда садились в машину, Б.Л. сказал мне: "Вот и родилось то стихотворение, которое я отдам в подборку вашего журнала. Оно будет называться "Зимняя ночь"*. И как забавно, что мы заблудились, правда?".

На следующий день он принес мне в редакцию стихотворение:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

Провожая в этот раз меня домой, он говорил о том, как символически просилась в его стихи чья-то свеча, отпечатавшая свое дыхание на морозном стекле. Свеча, увиденная извне, с морозу. И было это окно, светящее в ночи; он рассказывал мне, как сам испытал все чувства молодого Живаго: за этим окном со свечой — жизнь, в будущем обязательно связанная с его жизнью, а пока еще только призывающая. И, пожалуй, еще более глубокий вывод: "Как зажженную свечу не ставят под спудом, а в подсвечник, и светят всем в доме, так и слово должно быть сказано".

Вот так вошел в мою жизнь доктор Живаго.

Само имя Живаго появилось в результате пустячной случайности: шел Б.Л. по улице и наткнулся на круглую

---

* У Б.Л. попросили самое последнее стихотворение для рубрики "Литературная минутка", которую задумал К.Симонов, но так и не осуществил.

чугунную плитку с “автографом” фабриканта — “Живаго”. Он и решил, что пусть он будет такой вот, неизвестный, вышедший не то из купеческой, не то из полуинтеллигентной среды; этот человек будет его литературным героем.

Роман “Доктор Живаго” — это автобиография не внешних обстоятельств, но — духа. Существует много домыслов о прототипах героев романа. Еще в 1948 году, когда Б.Л. не только отвечал на каждое затронувшее его душу письмо, но и посылал своим незнакомым корреспондентам новые неопубликованные стихи, делился замыслами, он писал одному студенту-литератору:

> “Вы меня очень обрадовали своим письмом, — спасибо Вам. Чтобы Вам отплатить чем-нибудь таким же приятным, вложу в это письмо последние мои стихи, входящие главою в мой роман в прозе, который я пишу сейчас. Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимает время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так году в 1929-м должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А.П.Чехова. Когда его сводный брат, о котором он знает только понаслышке и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок, имеющих философский интерес, и целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго.
>
> Пусть Вас не огорчает, если они Вам покажутся бледнее моих прежних или вообще понравятся меньше, и не бойтесь дать это мне почувствовать, я не обижусь. Эти стихи не тайна, можете их показывать другим... Известите меня, пожалуйста, о получении этих вещей и письма, у меня часто многое пропадает.
>
> Мне не на что жаловаться, я доволен жизнью, но мне хотелось бы поскорее дописать роман, хотя бы первую книгу, почти готовую, и пока это не сделано,

тревога и какая-то внутренняя спешка не покидают меня. Спасибо Вам за Ваши добрые пожелания, я нуждаюсь в них.

Ваш Б.Пастернак".

Разговаривая со шведским профессором Н.А.Нильсоном осенью 1958 г., Б. Л. сказал: "Лара, героиня романа — живой человек. Она — очень близкая мне женщина".

Упоминание о прототипе Лары есть в письме, написанном Б.Л. Ренате Швейцер на немецком языке 7 мая 1958 г.:

"Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской... Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать (с перерывами для перевода Марии Стюарт Шиллера, Фауста и Макбета). Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней не заметно, что она в жизни (уже до этого) перенесла. Она и пишет стихи и переводит стихи наших национальных литератур по подстрочникам, как это делают некоторые у нас, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела..."*

В интервью, данном английскому журналисту Антони Брауну в конце января 1959 г., Б.Л. говорил: "Она — мой большой, большой друг. Она помогла мне при написании книги, в моей жизни... Она получила пять лет за дружбу со мной. В моей молодости не было одной, единственной Лары... Лара моей молодости — это общий опыт. Но Лара моей старости вписана в мое сердце ее кровью и ее тюрьмой...".

Окончив первые четыре главы, Б.Л. видел уже всю книгу и дарственную надпись на ней: "Ларе от Юры".

И все же, наверное — я — не "абсолютная" Лара, а он — не "абсолютный" Юра.

---

* Рената Швейцер. Дружба с Борисом Пастернаком. Мюнхен, 1963 (на немецком языке), стр. 43.

Б.Л. часто мне говорил, что не нужны полные биографические совпадения героев с их прототипами. Пусть это будут собирательные образы, пусто у Тони будут черты и мои, и Зинаиды Николаевны, так же, как те и другие (и еще чьи-то третьи) будут у Лары. Но главное — показать и меня, и себя, и отношение к жизни, к литературе, к искусству — такими, какими воспринимает их именно он.

Всю жизнь он благоговел перед женщиной:

... Что сравнится с женской силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла...

И он тщательно отделывал образы Тони и Лары. Хотя в этих образах не было почти никаких биографических совпадений ни с З.Н., ни со мной, в характере Тони больше всего было от З.Н., а Лары — от меня.

Узнав, что я на четверть немка и наполовину полька, нерусской национальностью наделил Б.Л. свою героиню Лару Гишар.

В Курске прошли мои детские годы — и в стихах Б.Л., приписанных Юрию Живаго:

... Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска...

А в образе Тони определенно проступают черты З.Н. Вот что сообщает о Тоне Юрий: "Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени".

А вот что пишет Борис Пастернак о Зинаиде Николаевне: "...Страстное трудолюбие моей жены, ее горячая ловкость во всем, в стирке, варке, уборке, воспитании детей создали домашний уют, сад, образ жизни и распорядок дня, необходимые для работы тишину и покой" (из письма к Ренате Швейцер от 7.5.58).

Таких совпадений в рисовке характеров найти у Б.Л. можно много, как и автобиографических черт в характере Юрия Живаго.

Это Юра "еще с гимназических лет мечтал о прозе жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых

гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был слишком молод и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине".

Еще одна пераллель. Это Юра "считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии... в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным". Именно поэтому Юрий Живаго, как известно, становится врачом, а его занятия поэзией не являются профессией.

Хотя Б.Л. и был профессиональным писателем, но при всяком удобном случае (особенно когда к нему обращались начинающие поэты) он всячески отговаривал от профессионализма в искусстве (разумеется — не в смысле мастерства). В этом смысле показательно известное письмо Б.Л. к начинающему тогда (15.12.55) автору М.Г.Вайнштейну:

> "...мне хотелось бы, чтобы... стихотворчества или даже поэзии, как вида занятия, пусть даже "Боговдохновленного", многих или для многих не существовало..."

Б.Л. по-своему понимал "типичность" своих героев, и его взгляды не изменились со времен "Надменного нищего":

> "На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось, мне тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна?".

В романе он писал:

> "Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им".

А в “Надменном нищем” о людях, притязающих на право говорить от лица “простого народа”:

> “... свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа. Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ — сплошь ремесленник, деталит, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая — а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которою сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой, всякий”.

Не случайно Б.Л. воплотил свой главный труд жизни в прозе. Еще 29 августа 1934 г. с трибуны Первого съезда писателей Б.Л. говорил: “Поэзия есть проза...чистая проза в ее первозданной напряженности и есть поэзия”. Четверть века спустя (23 декабря 59 г.) в письме к Е.Д.Романовой, благодаря ее за размышления о романе Б.Л. писал: “...чем может быть настоящая художественная проза, какое это волшебное искусство, на границе алхимии. Пока живы были русские богатыри писатели, и русское читающее общество сохраняло чутье прозы, ее прелести и ее тайн. Теперь это совершенно утрачено и мне удивительно было встретить в Вас признаки этого понимания не по отношению к себе, а в виде общих и незатронутых задатков Вашего вкуса...! ”Прекрасна как проза", говорил Карамзин о настоящей поэзии, может быть о молодой пушкинской, когда желал похвалить ее".

— Мне вообще всю жизнь хотелось писать прозу, — часто повторял Б.Л., — стихи писать легче! И рассматривал сочинение стихов лишь как подготовку к большой прозе. Даже в строфах Шекспира ему “...мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе”.

Вот почему о будущем романе Б.Л. размышлял (и готовил его) едва ли не всю свою творческую жизнь.

“Когда-то (в 1918 г. весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цетлинов. Вы сказали: ”Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак". И я подумала: “Как хорошо. Как точно. Как вне всякого самолюбия. — Поэт”. (Марина Цветаева — Борису Пастернаку 29.6.22 из Берлина).

“Детство Люверс” и “Безлюбье” (1918), “Из нового романа о 1905 г.” (1937). “Уезд в тылу (два отрывка из главы романа)” (1938), “Тетя Оля” и “Надменный нищий” (1939) — все это ясные вехи на пути к большому роману.

Перелистываю том прозы. Женя Люверс — будущая Лара? А Александр Александрович Громеко — профессор Петровской академии — ведь он и в “Надменном нищем”, и в “Тете Оле”, и в “Из нового романа”, и в “Уезде в тылу”. Брат его Николай (тоже профессор), дочь Тоня — одни и те же лица проходят по прозе. Вот только Анна Ивановна романа зовется в ранней прозе Анной Губертовной. Зато как точно описано несчастье из-за гардероба: “Смерть это моя, а не шкап, — вздыхала Анна Губертовна” ("Из нового романа о 1905 г."). Там же повторенный в романе эпизод с попыткой укрыть в доме Громеко вооруженных рабочих.

И снова Женя Люверс — теперь уже Евгения Викентьевна Истомина ("Уезд в тылу"); отец ее разорился, а муж — физик и математик Юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин ушел добровольцем на фронт, оставил шестилетнюю дочь и пропал без вести. Как все это близко к Ларе, Паше Антипову, их дочери Катеньке. И усадьба Юрятино, приобретенная Александром Александровичем в начале войны (в романе превращается в город Юрятин), и Пятибратское...

А Лев Поливанов из “Воздушных путей” и Юрий Ковалевский из “Безлюбья” — не прототипы ли они Антипова-Стрельникова? И не героем ли романа был задуман вначале Антипов?

Зарубежный исследователь творчества Б.Л. Виктор Франк в работе “Реализм четырех измерений” утверждает, что Маяковский воссоздан в романе в образе друга Живаго — Иннокентия Дурова. Однако он же полагает, что в самом патетическом аспекте Маяковский отражается в фигуре Антипова-Стрельникова:

> “Одна из решающих антитез в романе, это противопоставление любящих одну и ту же женщину Стрельникова и Живаго, двух полярно противоположных человеческих типов. Стрельников — человек воли, пытающийся покорить мир и любимую женщину путем подчинения своей огромной воли отвлеченным принципам и навязывания этих принци-

пов жизни. Живаго же видит свое назначение в подчинении себя самого жизни, в любовной самоотдаче своего "я" другим:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье".

И далее в словах Лары о муже Франк усматривает "метаморфозу", происшедшую с Маяковским после 1918 года:

"Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи... Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят".

Эти "возвышенные, но мертвящие и беспощадные силы", действительно не пощадили ни Стрельникова, ни Маяковского, — заключает Виктор Франк.

СУД АХМАТОВОЙ

Б.Л. никогда не прятал своей работы, даже если она была далека от завершения. Бывало, не дописав главы, он торопился рассказать мне ее будущее содержание.

— Боря, как можно писать, если все заранее рассказываешь? Я этого не понимаю, — удивлялась я.

— Нет, мне так даже легче! Я уже буду следовать рассказанному.

Едва накапливалось несколько глав, он охотно соглашался читать их. Об этом совсем недавно напомнил мне связанный с теми далекими днями эпизод...

Скептически утверждают — не бывает чудес на свете! Иногда мне кажется — все-таки бывают. Возвращаются люди после двадцатилетней разлуки,

встречаются горы с горами, словом — все возвращается "на круги своя". Как не считать, например, чудом, что через четверть века "на круги своя" вернулся первый экземпляр рукописи "Доктора Живаго" 1948 года с четким карандашным автографом Бориса Леонидовича:

Это экземпляр бедной Олечки, самого сильного человека на свете. От ее Б.

— разбежались на первой странице черные птицы слов. Все было просто и удивительно: четверть века назад я дала читать этот принадлежащий мне экземпляр Александре Васильевне Круминг. С ней в сороковых годах нас свела поистине трагическая ее судьба, в некотором роде как-то перекликнувшаяся с моей. Повесился ее муж, молодой талантливый актер театра Вахтангова, повесился из-за того, что из плена вернулся сын Александры Васильевны — Толя, не сжился с молодым мужем матери, почти его ровесником, и Александра Васильевна предпочла сына.

Недосуг мне вдаваться в сложные перипетии Шуриной жизни, да и не в них сейчас дело. Я хочу рассказать, как спустя четверть века (за это время Александра Васильевна умерла, а мы — поседели и постарели) у меня в квартире раздался звонок и Толя сказал, что хочет после маминой смерти вернуть мне рукопись, вероятно мне дорогую, с карандашной надписью Пастернака. Мы встретились с Толей, рукопись у меня. И сразу вспомнилась история этой необычной карандашной надписи.

Давние времена. Еще не кончен "Живаго". Но первые четыре части я уже отдала печатать всегдашней нашей машинистке и большому другу Б.Л. — Марине Казимировне Баранович. Она переплела их, вернее — прошила, и я передала их Б.Л., а тот щедро раздал их все на прочтение. У меня, в результате, не осталось ни одного экземпляра и, естественно, я попрекнула: "Конечно, я — носи, подготавливай, а у меня, бедной, и экземпляра нет!". Через неделю, по-моему, устыдившись, Борис Леонидович принес мне от какой-то своей читательницы и почитательницы первый экземпляр из четырех, и запечатлел там "бедную", обездоленную Олечку, заявив при этом: "Ты не жалей, широко давай читать, кто бы ни попросил, мне очень важно — что будут говорить".

Я и дала. Потом подоспел мой неожиданный арест 49 г., были изъяты многие рукописи и книги Б.Л., а этому экземпляру, оказывается, суждено было уцелеть. Уцелеть и вернуться...

Интересно, что читая его сначала, мы не нашли в этих четырех частях рукописи ни одного расхождения с последующим вполне оконченным текстом. Только под названием "Доктор Живаго" есть еще подзаголовок: "Картины полувекового обихода". В остальном ничего не изменено. По-моему это потому, что весь роман был настолько "выношен" до занесения его на бумагу, что и не нуждался в поправках.

Вот как бывает... Но вернусь к тем далеким дням.

Осенью 49 г. Боря позвал меня к Ардовым. Долгие месяцы затем этот вечер занимал умы сотрудников госбезопасности. Нас приветливо встретила жена Ардова Нина Александровна. Блистали на старомодном столе красного дерева бронза и хрусталь. В простенке между окнами как-то незаметно пристроился Алеша Баталов, тогда еще никому не известный, только еще пробующий свои силы на театральном поприще актер.

Из соседней комнаты выплыла Анна Андреевна Ахматова в легендарной белой шали, и, зябко кутаясь в нее, царственно села посреди комнаты в пододвинутое специально для нее кресло. Здесь же жили Н.Эрдман, Ф.Раневская, не помню кто еще.

Б.Л. сел у лампы и читал главы из романа так замечательно, как всегда, когда чувствовал, что его слушают и понимают. Так явственно вспоминается его одухотворенное лицо, судорожные движения его горла, затаенные слезы в голосе. Он с удовольствием копировал простонародную речь, жаргоны, сам с трудом удерживая смех. Кончил читать, отхлебнул чаю. И тогда, после долгой паузы, заговорила Анна Андреевна.

Помню, что она нашла прекрасным слог, прозу, лаконичную, как стихи. Но она считала, что литература должна поднимать своего героя над толпой — в традициях Шекспира, и не согласилась с Б.Л., будто Живаго — "средний" человек. Меня поразило, когда она сказала, что никогда не понимала общего преклонения перед Чеховым, потому что в его рассказах основной персонаж обыватель, а об обывателе писать всегда легче. Лирика Чехова, утверждала она, странно звучала в атмосфере Ленинского

предгрозья. По ее мнению, надо оправдывать и раскрывать только большие человеческие движения. Она советовала Б.Л. подумать, чтобы Юрий Живаго не стал мячиком между историческими событиями, а сам старался как-то на них влиять, сказала, что ждет от романа Пастернака именно такого поэтического разрешения.

В присутствии таких людей я не решалась и пикнуть, но меня удивляло, что Б.Л., безумно любящий Чехова и плакавший над акварелями Левитана, восхищенно соглашался со всем, что говорила Анна Андреевна, и вообще поддерживал такой светский тон. Едва мы вышли — я сказала: "Боря, ну как тебе не стыдно так фарисействовать?"

Он лукаво улыбнулся и подмигнул мне.

— Ну пусть она говорит, ну Боже мой! А может, она и права! Я совершенно не люблю правых людей и, может быть, я не прав, и не хочу быть правым.

После чтения Б.Л. Эрдман, помню, ничего не сказал. А Раневская, усевшись за чайный стол рядом с Борей, все повторяла своим удивительным низким голосом, глухим, басовитым: "Боже мой, ущипните меня, я сижу рядом с живым Пастернаком".

Боря, смущаясь, конечно, ахал: "Боже мой, о чем вы говорите...". Он притворялся возмущенным, но вместе с тем был явно польщен, радовался своему успеху и особенно тому, что все это говорилось в моем присутствии — он в это время как бы вырастал и в моих, и в своих глазах, и я это прекрасно чувствовала.

Б.Л., отвлекаясь от романа для переводов, в течение 3-4 лет переделывал отдельные главы, целые части. Позже он рассказывал:

— Написано было гораздо больше, чем вошло в роман, примерно треть осталась за бортом. И не потому, что эти страницы были хуже других, а потому, что приходилось себя ограничивать, меня захлестывал материал... надо стремиться без пощады отбрасывать отходы! Надо так работать, чтобы получилось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным! Все дело в том, что считать законченным! То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее начало... И надо добиваться достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было...

Из отброшенного мне запомнилась глава о цветах. Она была задумана Б.Л. как попытка осмысления места цветов в жизни и смерти человека: они присутствуют при рождении его, на свадьбе, на похоронах — во всех значительных моментах человеческого существования. И всякий цветок говорит своим языком и имеет особый смысл; хризантемы, например, спутники смерти. Как знать, быть может, аромат цветка и есть его язык? Связь жизни и смерти находилась в центре главы. Через цветы, растущие на могилах, писал Б.Л., умершие подают живым некий вещий знак... Это была значительная, лиричная, глубоко философская глава. Но она уходила в сторону от главной канвы повествования. Поэтому она была слабо перечеркнута в рукописном экземпляре романа и где-то, я надеюсь, сохранилась в архивах госбезопасности. Возможно, когда-нибудь она и увидит свет!

Чего же добивался Б.Л. в своих бесчисленных переработках уже готовых глав романа? Мне кажется, что помимо поэтической достоверности — еще и оригинальности — органичной, незаметной, не нарочитой. Всю жизнь, говорил Б.Л. о Юрии Живаго, "мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала".

— Нет, я вовсе не за отказ от оригинальности, — говорил Б.Л. А.Гладкову в конце июня 1947 г., — но я мечтаю об оригинальности стушеванной... и непритязательной.., при которой содержание незаметно войдет в читателя, я мечтаю... о незаметном стиле, в котором нет промежуточного расстояния между мыслью и изображением предмета...

Иногда Б.Л. с легкостью перешагивал через важные исторические даты, но как любовно, как подробно останавливался на какой-нибудь детали, на первый взгляд совсем маловажной! Несколько фраз — и открывается целая полоса в лирической жизни героя.

Обращаясь к "притчам из быта", поясняя истину "светом повседневности", Б.Л. показал, что от зари времен и до наших дней "общение между смертными бессмертно". Через жизнь неумирающего творческого духа писал он историю в своем романе.

В тот завершающий период романа Б.Л. много читал его главы, слушал замечания, но существенных я что-то и не припомню. Правда, появлялись очень содержательные отзывы. Кое-что сохранилось. Как только я вернулась из лагеря, Б.Л. дал мне полученное им без меня письмо-отзыв на очередные части романа от ленинградского поэта Сергея Спасского. Б.Л. познакомился и подружился с ним в Москве в начале двадцатых годов. После переезда Сергея Дмитриевича в 1925 г. в Ленинград между ними установилась переписка, сохранившаяся вплоть до смерти С.Д. в 1956 г. Ему-то Б.Л. и посылал готовые части романа и живо интересовался его мнением. Вот что писал Спасский после прочтения очередных частей романа:

"... С первых фраз кажется окончательно найденным, установленным весь ритм повествования, точная скупая последовательность предложений, сжатая завершенность каждого отрывка. Сразу возникает впечатление, что становишься на твердую почву, что мастерство рассказчика окрепло, завоевало новые позиции, располагается на них с полнейшей свободой и независимостью, и что такая проза не распадается на куски, не выдаст, безусловно дойдет до конца и заставит читателя себя выслушать. Смешно поздравлять тебя с мастерским овладением формой, это вещь для тебя сама собой разумеющаяся, но такова уже природа искусства, что пределов роста у нее нет и что каждое новое ее воплощение кажется неожиданной и счастливой находкой. И это, если еще вспомнить общую полную утрату чувства стиля, действует особенно оздоровляюще и укрепляюще. Впрочем, излишние сопоставления здесь даже и не возникают, и они возможны лишь с настоящими образцами большого искусства.

И еще хочется подчеркнуть — сила изобразительности здесь отнюдь не только в тех кусках, где ты даешь волю своему умению мыслить поэтически-образно, где вдруг вспыхивают сопоставления и метафоры такой яркости, что невольно улыбаешься их блеску, их играющей свежести, — эта сила

изобразительности сохраняется и в самых сдержанных, умышленно приглушенных местах, в самой что ни на есть протокольной прозе, где как будто автору важно без всяких затей деловым образом сообщить нечто читателю, освободив себя от всяких забот о художественности изложения. И здесь все время остается та же точность попадания в цель. И тут с запозданием устанавливаешь, что именно такие протокольные места и требуют творческих усилий и что только из органического соединения их с ярко окрашенными поверхностями других соседних кусков и образуется настоящая проза. И, главной удачей этих частей и является то, что здесь присутствует "деловое" повествование, и оно столь же необходимо и крепко, как непосредственно вырастающие из него описания ночных запахов, или ночного ливня. И это удача твоя, как прозаика, та, которой ты всегда добивался в своих прозаических опытах, но прежде случалось, метафорическое буйство не вмещалось в необходимые берега и размывало границы прозы.

Теперь хочу сказать еще несколько слов о других "формальных" особенностях прочитанного, причем это, конечно, касается уже романа в целом. Между прочим, должен признаться, что с большим удовольствием останавливаюсь именно на таких казалось бы чисто ремесленных вопросах. До чего соскучились мы по литературным профессиональным беседам! И как мало поводов для них представляется! Ну, так вот, неизбежно твой роман будет вызывать толки о его композиции...

Нигде не установлено и не предрешено, какими методами должен развиваться роман и что подходит под мерки такого романа. Тебе просто не следует оглядываться на возможные суждения на этот счет. В конце концов, писатель пишет так, как ему удобно. Ты набрел на данную форму, на чередование коротких отрезков, равно как и на чередование коротких фраз, противостоящих разветвленным и сложным предложениям твоих прежних стихов. Пруст, например, удивил весь мир безостановочным потоком подробностей, казалось, лишенным всяких осязаемых очертаний, а Толстой мог вставлять в роман публицистику, философию и историю. Формы "Потерянного времени" или "Войны и мира" просто уродливы и чудовищны на непривычный взгляд. И однако, в них в каж-

дой по своему есть неумолимая закономерность природных процессов. Чем же невероятнее эта постоянная пульсация твоих отрывков? В них есть свой постоянный ритм, как есть он и у Толстого и в любом большом произведении. Наличие этого ритма и связывает все воедино, надо только дышать с ним в лад. А ведь это единственное, на чем настаивает каждый автор, конечно, если сам он умеет дышать и двигаться. Единство ритма, единство дыхания — вот суть композиции. И эта уловленная автором внутренняя ритмичность, будучи, может быть, первым толчком к творчеству, заставит и образы располагаться в определенных соответствиях и образует то, что внешне проявится как сюжет. И вот, с внутренней закономерностью, с ненавязчивой очищенной закономерностью искусства, облагораживающей и превышающей жизненные закономерности, образуются в романе встречи Живаго с Ларой, эти постоянные прохождения их друг около друга, заставляющие их жить словно на одном магнитном поле, хотя расстояния и обстоятельства их разделяют и неизвестно, что им нужно друг от друга. Так осторожно начинает звучать тема человеческой судьбы, чего-то неузнанного, но загаданного, соединяющего людей, или разводящего их в стороны, тема судьбы, которая вычерчивается их жизнями, а эта-то тема и есть тема всякого романа, и где она есть, там композиция романа состоялась. И в такой атмосфере целостности, ритмической завершенности становится естественными и более мелкие "совпадения", вроде встречи Живаго с Граней на углу Молчановки и Серебряного и вообще всех встреч на этом перекрестке, потому что тогда и весь роман в сущности становится таким "заколдованным перекрестком", каким собственно и бывает всякое настоящее произведение искусства.

Тема судьбы, то, что должно где-то как-то совершиться и что пронизывает собой совершившееся, — второй, более глубокий план, и хорошо, что он не противостоит прямолинейно и элементарно первому состоявшемуся плану, то есть отношениям Живаго с Тоней, к которой ведь чувствуешь искреннюю симпатию, и которую хочется оберечь от всего, что навалилось вокруг. А где звучит эта тема, там самые личные переживания становятся уже не только личными и оказываются частью общей темы, темы пребывания человека перед наступающим для всех будущим. Тема судьбы — это и есть тема страны, тема современности, тема

вопроса, обращаемого к эпохе: зачем я здесь и как должен я поступать?

И весь роман тяготеет к этой теме.

Но прежде чем сказать несколько слов по этому поводу, жаль не упомянуть о нескольких подробностях. Как здорово написан дождь и это несостоявшееся возвращение Ларисы, столь ощутимое и приблизившееся, и как хорошо, что оно здесь не произошло, и как щемяще перекликается с этим событием та глухая весть о ней в черной и сыпнотифозной Москве с заседаниями домовых комитетов и трущобами Садовых! Этот дождь, словно ключ ко всем событиям того периода, равно как и запах лип, о котором, вероятно, тебе многие говорили. А встреча с Граней в подъезде чем-то удивительно своевременна именно в тот момент. Удивительно интересен этот Граня, не знаю, что ты с ним сделаешь дальше и будет ли он еще вообще, но здесь на переломе истории какая это острая почему-то показавшаяся мне трагической фигурка, вдруг неожиданно связавшаяся и со смертью, и с выздоровлением, да еще и обладающая какими-то связями с новыми властями. В этой мешанине есть что-то пряное и интригующее и характерное для времени. Кстати, должен сказать, что я хорошо представляю тот перекресток и именно в связи с теми днями. В разгар стрельбы я пробирался с Молчановки на Арбат, и на углу того переулка мне запомнился звон фонарного стекла над головой, распоротого случайной пулей. Помню, как я остановился на минуту, смотря с недоумением на этот фонарь и на осколки стекла под ногами. Но здесь интересно не это, а то, что, верно, каждый читатель нашего поколения вспомнит многое из своей жизни, читая твой роман и отнесется к нему, как к рассказу о пережитом. И это и будет ответом на вопрос, верно ли роман воспроизводит действительность.

Я знаю, что можно сказать — автор прошел мимо главного. Но потому-то роман и читается с таким интересом, о чем я говорил в самом начале, что мы привыкли к описаниям стратегии и тактики и панически боимся описаний домашнего, повседневного, улично-бытового. Но ведь жизнь была не только в декларативном, но действительно в топках печей и в замазываньи окон, и, пожалуй, подлинное существование выражало себя здесь по преимуществу. Во всяком случае, все переживания Живаго в связи с прочтением извещения о

новом правительстве (переживания почти до досады знакомые, и ты поймешь и эту невольную досаду, примешивающуюся к ним теперь), эти переживания только потому и убедительны, что рядом с ними были и печки, и замазки, и перевозка дров с Виндавского вокзала, и сыпнотифозный бред. Давайте же сохраним эти "мелочи", а то они растают в безвестности, и будем благодарны тем художникам, которые помнят и воспроизводят их. И вообще, читая эти части, я думал, что их можно было бы с благодарностью напечатать, если, конечно, принимать то, что в них есть, а не беспокоиться о том, чего в них нет.

Будут, вероятно, говорить, именно о том, что здесь показано второстепенное... Но право художника делать и второстепенное главным. А кроме того, даже придирчиво разбираясь, мало ли там подлинно характерного? И жизнь Мелюзеева, и Москвы полна вернейшими подробностями. И ведь может же быть книга не о руководителях истории, а о нас, людях руководимых, каких не так мало на свете... искусство вознаграждает, безмерно вознаграждается неуклонная постоянная немыслимая верность искусству, и она не может не привести к результатам, оправдывающим жизнь и все усилия, с таким трудом затрачиваемые на нее. Равно как и не прощает оно измен. И твоя рукопись — лучшее свидетельство первого..."

Весна 1954 г. была для нас особенно радостной. В апрельской книжке "Знамени" после очень долгого перерыва вновь появились оригинальные Борины стихи. Подборка называлась: "Стихи из романа в прозе "Доктор Живаго". Разумеется, ни стихи Евангельского цикла, ни "Август", ни даже "Гамлет" не пропустили. Но зато напечатали предисловие Б.Л.:

> "Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне.
>
> Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа.
>
> Автор".

Апрель этот ознаменовался для Б.Л. радостным событием. Известный искусствовед М.Алпатов, мнением которого Б.Л. очень дорожил, захотел прочитать готовую часть романа. Б.Л. дал Михаилу Владимировичу почти завершенную рукопись.

В конце апреля пришло письмо от Алпатова:

> "В наши дни всеобщего разброда и затмения умов, даже тех, кого не страшат трудные, крутые подъемы, Ваш роман волнует прежде всего тем, что внушает уверенность, что сделать нечто подлинное можно, лишь оставаясь верным тому способу смотреть на вещи, который каждому человеку дается только в единственном числе и который нельзя менять или приноравливать к обстоятельствам без опасности утерять в себе самое главное.
>
> Полагаю, что в Вашем романе не меня одного подкупает множество качеств: и доходящая почти до всеобъемлемости широта рамок, и его автобиографический по отношению ко всему нашему времени характер, и увлекательность повествовательной нити, и историческая канва, и местный колорит, и разнообразие речевых ключей, и, наконец, Ваш редкий счастливый дар подмечать в жизни то, мимо чего люди обычно проходят равнодушными, и говорить об этом так, что всякому начинает казаться, будто он сам это впервые увидел, открыл и полюбил, и он (неблагодарный!) даже и не догадывается о том, что всем этим его наградило искусство большого художника.
>
> В наш век, когда крушения всевозможных понятий так властно вторгаются в жизнь людей, одних ставят на колени и вместе с гордыней нередко лишают и человеческого достоинства, а других, как в последнее убежище, загоняют в тоскливый мир утраченных иллюзий. В Вашем романе особенно дорого равновесие, хочется сказать классическое равновесие между "dentro" человека и его "fuori"*, между тем, что, как вьюга, шумит вокруг него, и теми противоядиями, которые с лихорадочной поспешно-

---

* "внутри" и "снаружи" (итал.)

стью вырабатывает его сознание в виде мифов, поэм и всякого рода концепций.

И потому, если позволительно высказать мои личные пристрастия, меня особенно взволновало, что истинными перипетиями в Вашем романе служат в сущности не всевозможные происшествия, а те исключительные моменты в жизни людей, когда у них с глаз спадает пелена, им внятны становятся шорохи и ароматы жизни и "дольней лозы прозябанье", когда в этом преображенном мире с небывалой ясностью выступают мельчайшие подробности, вроде промокашек, которые в классной комнате поднимает вихрь приближающейся грозы, или вспугнутой стайки диких уток на весенней заводи, и эти любовно переданные приметы достоверности, как в картинах старых нидерландцев, способны внушить уверенность, что в нашем мире, действительно, все — свято.

Позвольте ото всей души пожелать, чтобы ничто не помешало Вам закончить Ваше замечательное произведение.

Ваш М. Алпатов".

Настал день, когда Б.Л. позвонил мне из Переделкина потрясенный, со сдавленными слезами в голосе.

— Что с тобой? — испугалась я.

— Понимаешь, он умер! Умер! — повторял он вздыхая.

Оказалось, речь шла о смерти Живаго, была окончена мучительная глава.

Еще летом оделся первый том романа в красивый коричневый переплет. Б.Л. радовался ему как ребенок. Вскоре переплели и второй том. И я отвезла в редакции две солидных коричневых книги. Это был отредактированный, вычитанный, готовый к выходу в свет роман "Доктор Живаго".

В мае-июне 1956 г. в автобиографическом очерке для "Гослитиздата", Б.Л. писал:

"...Совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь, и за который смело отвечаю — роман в прозе со стихотворными добавлениями "Доктор Живаго". Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовитель-

ными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание...".

Только тот, кто хотя бы однажды столкнулся с неслыханной самотребовательностью Б.Л., может понять, как высока и как объективна эта оценка.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Лето проходило. Стояли золотистые и жаркие августовские дни. Роман лежал в редакциях, а они молчали. Наконец, уже в самом конце августа А. Кривицкий из "Нового мира" принял меня довольно ласково, хотя я ушла из "Нового мира" после скандала с ним, и ничего хорошего наши отношения не предвещали. Тем не менее, говоря официально от лица редколлегии, Кривицкий заявил мне, что, к сожалению, всего романа из-за большого объема им "не поднять", но К. Симонов, который сейчас в отъезде, взял с собой некоторые главы (благо — в "Новом мире" лежал не переплетенный экземпляр; переплетенные книжки были даны в Гослитиздат и "Знамя"). Он думает, что несколько глав романа в "Новом мире" удастся напечатать.

В свое время (в 1948 г.) Б.Л. заключил с "Новым миром" договор на роман, но не был уверен, что журнал сможет его напечатать, сам расторг договор и вернул взятую в качестве аванса сумму.

Это произошло, когда в эволюции замысла начала назревать какая-то им самим еще едва ощутимая крамола. Он не "тащил" ее в роман. Он хотел только истины, а истина, он знал, вела за собой такие ситуации, такие концепции, которые вряд ли могли понравиться власть имущим.

Однажды теплым осенним вечером после моей очередной поездки в Москву мы гуляли с Борей по нашему длинному мосту через Измалковское озеро, и он сказал мне:

— Ты мне верь, ни за что они роман этот не напечатают. Не верю я, чтобы они его напечатали! Я

пришел к убеждению, что надо давать его читать на все стороны, вот кто ни попросит — всем надо давать, пускай читают, потому что не верю я, что он появится когда-нибудь в печати.

Пока книга писалась — Боря не думал ни о чем, кроме высшей художественной правды романа и необходимости быть предельно честным с самим собой. Но когда он перечитал два красиво переплетенных коричневых тома, он вдруг обнаружил, что "революция там изображена вовсе не как торт с кремом, а именно так до сих пор было принято ее изображать". Поэтому вполне естественно, что хотя "Новый мир" якобы собирался печатать из романа куски (очевидно, шел отбор приемлемых для печати глав), надежды увидеть роман напечатанным у Б.Л. не было.

Время шло, наступил уже 1956 год, а роман все еще не был опубликован. И отрицательных отзывов не было никаких.

Если забежать вперед и вспомнить о критике, которая появилась после осеннего скандала 1958 г., то, исключая грязные помои, льющиеся по команде, я ее разделила бы на два вида. К первому я отнесла бы тех авторов, которые видели в критике романа "пропуск" в печать своему произведению. Ко второму типу (и их было среди критически настроенных авторов больше) относились те, чей интеллектуальный уровень был ниже минимума, необходимого для понимания произведения искусства такого масштаба и такой новизны формы.

Б.Л. предвидел это, когда говорил:

— "Доктор Живаго" представляет собой попытку писать на совершенно новом языке, свободном от старых литературных и эстетических условностей... Короче говоря, книга не предназначена для людей, которым не хватает соответствующей подготовки...

О глубокой содержательности новых форм, о возможных претензиях к ним Б.Л. писал еще в "Охранной грамоте":

> "Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небрежное многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы".

Смехотворно-наивны упреки, адресованные Пастернаку за то, что он, якобы, отошел от толстовско-чеховской традиции. По-видимому, прав Виктор Франк; он видит огромную заслугу Пастернака в том, что тот столкнул воз русского романа с мертвой точки и "повел его по направлению не прустовскому, не джойсовскому, а по направлению совершенно иному, еще не нанесенному на карту...". "Можно ли требовать от большого художника, чтобы он воспроизводил приемы предыдущего века и видел мир таким, каким его видели его предшественники? С таким же правом можно было бы сетовать, что Толстой не писал под Карамзина, а Пушкин под Ломоносова!".

Было и радостное событие: Гослитиздат решил издать большой однотомник стихотворений Б.Л. Он решил поместить туда весь цикл стихов из романа (под названием "Стихи из романа в прозе "Доктор Живаго"). Боря с увлечением работал над "Автобиографическим очерком", задуманным как введение к сборнику. Редактором его был назначен Николай Васильевич Банников.

Одно я могу сказать о том времени: ни Боре, ни мне не приходили тогда мысли о публикации романа за рубежом. Но логика событий не считалась ни с чьими желаниями.

В начале мая 1956 года в одной из передач Московского радио на итальянском языке сообщалось, что предстоит публикация романа Пастернака "Доктор Живаго", действие которого охватывает три четверти столетия и заканчивается Второй мировой войной.

Трагические последствия этой передачи не заставили себя ждать. В конечном итоге она привела к мировому скандалу.

Однажды вечером в конце того же мая, вернувшись из поездки по редакциям в Переделкино, я была огорошена: Боря вдруг объявил, что отдал роман. Я так и ахнула. Торопилась из Москвы и еще издали, увидев спешащего по шоссе ко мне навстречу Борю, обдумывала — какими словами его обрадую, что снова подтвердили намерение печатать роман главами, и вдруг: "А ко мне, Лелюша, сегодня приходили на дачу, как раз когда я работал, двое молодых людей. Один из них такой приятный юноша, стройный, молодой, милый... ты бы в восхищении от него была! И знаешь, у него

такая фамилия экстравагантная — Серджио Д'Анджело. Понимаешь, этот самый Д'Анджело пришел ко мне с человеком, который как будто представитель нашего советского посольства в Италии; фамилия его, кажется, Владимиров. Они сказали, что слышали сообщение Московского радио о моем романе, и Фельтринелли, один из крупнейших издателей Италии, заинтересовался им. А Д'Анджело этот по совместительству работает эмиссарио у Фельтринелли. Конечно, это его частная нагрузка, — прибавил Боря, улыбаясь. — Вообще-то он член компартии и официальный работник итальянского радиовещания у нас в Москве".

Б.Л. явно чувствовал, что совершил что-то не то и побаивался, как буду реагировать я. По его даже несколько заискивающему тону я поняла: он и доволен, и не по себе ему, и очень хочется, чтобы я одобрила этот странный поступок. Но увидел он недоброжелательную для себя реакцию.

— Ну что ты наделал? — упрекнула его я, на заискивания не поддавшись. — Ты подумай, ведь сейчас на тебя начнут всех собак вешать. Ты вспомни — я уже сидела, и уже тогда, на Лубянке, меня без конца допрашивали о содержании романа! Кривицкий не случайно говорил, что журнал только главами подымет роман. Это потому, что они все принять, конечно, не могут; просто они хотят избежать острых углов и напечатать то, что можно напечатать без боязни. Знаешь, какие они перестраховщики, я просто удивляюсь, как ты мог это сделать! И потом ты подумай — Банников первый будет страшно возмущен, что ты, ни с кем не советуясь, отдал роман итальянцам — ведь это может сорвать работу над однотомником!

— Да что ты, Лелюшка, раздуваешь, все это чепуха, — слабо оправдывался Б.Л. — Ну, почитают; я сказал, что я не против, если он им понравится — пожалуйста — пусть используют его как хотят!

— Ну, Боря, ведь это же разрешение печатать, как ты этого не понимаешь? Ведь они обязательно ухватятся за твое разрешение! Обязательно будет скандал, вот посмотришь!

Я совсем не хочу сказать, что была такая уж умная, но за моими плечами был печальный опыт лагеря, и знала я, из какой ерунды составилось мое первое дело: "близость к лицам, подозреваемым в шпионаже". Спасибо! — а этим

лицом (в единственном числе) был Борис Леонидович, который ходил по Москве и которого они, очевидно, трогать боялись. Но как, я помню, интересовало следователя (а значит — не следователя, а выше — того человека, который ночью меня вызвал в свой кабинет на допрос), как его интересовало содержание еще не написанного романа: не будет ли он литературной оппозицией?

Нашим разговором Боря был расстроен и обескуражен:

— Ну, Лелюша, делай как знаешь, конечно, ты можешь даже позвонить этому итальянцу, потому что я ничего без тебя не собираюсь предпринимать. Так вот, ты можешь позвонить этому итальянцу и сказать, чтобы он вернул роман, раз тебя так волнует это. Но давай тогда хоть дурака сваляем, скажем — вот знаете, какой Пастернак, мол, вот отдал роман — как вы к этому относитесь? Даже будет интересно, если ты заранее прощупаешь почву, какой этому известию будет резонанс?

И все же — он уже начал свыкаться в эти дни с мыслью, что роман должен быть опубликован, пусть даже на Западе, если нельзя у нас.

Где-то в эти дни (конец мая — начало июня 1956 г.) Костя Богатырев рассказал мне о разговоре, свидетелем которого он явился. На "Большой даче", беседуя с итальянским славинистом Э. Ло-Гатто (автором монографий "История русской литературы" и "История русского театра"), Б.Л. уже говорил, что пойдет на любые неприятности, лишь бы его роман был опубликован. И лишь раздраженно отмахнулся, когда Зинаида Николаевна сказала: "Хватит с меня этих неприятностей".

Доктор Серджио Д'Анджело, как официально именуется он в документах, к десятой годовщине памятных событий опубликовал большую статью "Роман романа"*, название которой явно позаимствовал у нас (я давно рассказывала ему, что Б.Л. многим говорит — "Я переживаю роман с романом", и что сама я думаю когда-нибудь написать "Роман вокруг романа").

---

* Роман романа. Журнал "Восточная Европа" N 7, июль 1968, с. 489-501 (на немецком языке)

Вот как он описывает памятный день:

"Я жил уже два месяца в Советском Союзе, куда направила меня Коммунистическая партия Италии, и работал я в итальянском отделе "Радио Москвы". В свободное время я уделял внимание авторам и книгам, которые могли быть интересны молодому богатому издателю — миланцу Фельтринелли, коммунисту с амбициозными программами... Он поручил мне держать его в курсе всех интересных новинок советской литературы. Сообщение о романе "Доктор Живаго" не оставило, конечно, меня равнодушным. Если бы мне удалось достать рукопись романа до его опубликования в СССР, то Фельтринелли мог бы иметь преимущество перед возможными конкурентами на Западе. Недолго думая, я поехал в Переделкино... Был прекрасный майский день. Писатель в это время работал в саду, встретил меня с простой сердечностью. Мы сидели на открытом воздухе и долго беседовали. Когда я подошел к цели моего визита — он казался пораженным (до этого времени он, очевидно, никогда не думал о том, чтобы иметь дело с иностранным издательством); во время последующего разговора он был нерешителен, задумчив. Я его спросил, вынес ли какой-нибудь сотрудник компетентного издательства отрицательный приговор, или высказал принципиальное возражение против романа? Нет, этого не было. Я дал понять, что об опубликовании романа было бы официально объявлено заранее, что политический климат изменился и что его недоверие кажется мне совсем неосновательным. Наконец, он поддался моему натиску. Он извинился, на минуту скрылся в доме и вернулся с рукописью. Когда он, прощаясь, провожал меня до садовой калитки, он вновь как бы шутя высказал свое опасение: "Вы пригласили меня на собственную казнь".

Мне этих слов Боря не повторил, но я верю, что Д'Анджело не соврал.

ВСЕ ИСПУГАЛИСЬ

Позже, когда в литературных кругах стало известно о случившемся, писатель К., разговаривая с Алей Эфрон, вдруг расхохотался, казалось бы, ни к селу, ни к городу: "Представляю себе их х-хари, когда они об этом узнают: то-то забегают!" Но пока что пришлось "забегать" мне...

Откуда-то из Переделкино, из писательского городка шло такси, и я вместо приятной прогулки с Борей, которую предвкушала по дороге из Москвы, поехала снова в Москву на Новую Басманную к Банникову. Вошла я к нему взвинченная, взволнованная. И у него не все было гладко: однотомник все задерживали, автобиографический очерк без конца читали, перечитывали, требовали изменять целые куски. Все это поднимало ветер тревоги за Борину книгу и беспокоило нас с Николаем Васильевичем. У него в это время и лично сложилась не совсем приятная обстановка. В редакции он ссорился с некоей странной личностью — Виташевской. В прошлом она работала начальницей одного из концлагерей, а потом почему-то стала редактором.

Стремясь установить близкие отношения с Б.Л., она дала мне возможность переводить для "Гослитиздата" Тагора, пыталась делать еще какие-то одолжения, даже и непрошенные, выказывала мне всяческое благорасположение.

Сохранилась Борина запись:

> "Виташ(евская), Банник(ов), — верю бедности больше, чем богатству. О(люши)но впечатление от первого посещения. Не верить настоятельности этих угроз, возможности и пр. Квартиры и туалеты богатые, а жизнь пустая и бедная, надо наполнить жизнь участием, тревогами.
>
> Стараться отстранять эти дружественные вторжения, даже бескорыстные, даже подарки: слиш-

ком велика сейчас загруженность живым, пущенным в ход и катящимся, и ни для чего больше нет места.

Утром сегодня жалел, что нужно заткнуть уши от звучащего, полного внушений и подсказов мира и от ответа ему в работе для писания этих глупых писем".

Помню, Банников, узнав об итальянце, страшно встревожился:

— Да что он наделал, ведь сейчас такая полоса, что его могли бы в конце концов печатать; роман — абстрактный, философский, наполненный великолепными описаниями природы. Теперь он нам еще сорвет и однотомник с автобиографией.

Расстроенная разговором с Банниковым, я поехала на квартиру к Виташевской. И тоже рассказала ей, что вот, мол, что вытворил Борис Леонидович — никогда не знаешь, чего от него можно ожидать: пришли итальянцы — ему вздумалось дать им роман — вот он взял, да и дал.

Виташевская мне очень посочувствовала:

— Вы знаете, Оленька, — мягким кошачьим голоском говорила эта огромная, заплывшая жиром, туша, — разрешите мне показать этот роман вышестоящему лицу. Вполне возможно, все станет на свое место.

Потом я узнала, что под этим "вышестоящим лицом" она подразумевала Молотова, с которым имела какое-то личное знакомство. Не знаю, Молотову или нет, но действительно Виташевская отдавала куда-то роман (один из непереплетенных экземпляров был у этой особы). Скорее всего в то самое учреждение, которое когда-то, арестовав меня, крайне интересовалось содержанием крамольного (по их мнению, Пастернак не мог написать другого) произведения.

Вернувшись к себе на Потаповский, я получила через лифтершу запечатанный конверт. В нем была записка от Банникова. В ней он подытожил свое отношение к поступку Бориса Леонидовича: "Как можно настолько не любить свою страну; можно ссориться с ней, но во всяком случае то, что он сделал — это предательство, как он не понимает, к чему он подводит себя и нас". (Быть может, не все слова запомнила буквально, но смысл был такой).

Я поняла, что эта записка была свидетельством душевной растерянности Банникова в преддверии назревающего скандала.

Переночевав на Потаповском, я отвезла записку Боре. Он сказал, что если меня так волнует передача романа и так резко реагируют на этот факт наши близкие знакомые, я должна попробовать вернуть роман. Боря отыскал адрес Д'Анджело. Я решила ехать.

Приехала я в большой дом около Киевского вокзала, легко нашла нужную квартиру и позвонила. Отворила мне очаровательная женщина, прямо из итальянского кинофильма: длинноногая, смуглая, растрепанная, с точеным личиком, с глазами удивительной синевы. Это была супруга Д'Анджело Джульетта. Она знала несколько русских слов, да и те произносила с акцентом и неправильно, но еще меньше могла сказать ей я поитальянски. Так что мы объяснялись главным образом жестами.

Впрочем, цель моего посещения она поняла довольно быстро и, замахав руками, со страшной экспансией начала доказывать, что она понимает, дескать, мою тревогу, но никак, никак ее муж не хотел горя Борису Леонидовичу. После примерно полутора часов такой "беседы", в которой шума и движений было много, а смысла мало, явился сам Д'Анджело. Действительно, он был молодой, высокий, стройный, с прямыми черными волосами, с тонкими иконописными чертами лица. Первая моя мысль была — таким и должен быть настоящий авантюрист, обаятельным и милым.

Он великолепно, с очень небольшим акцентом, говорил по-русски. Сочувственно кивал головой, когда я объясняла, во что эта история может вылиться для Бориса Леонидовича.

Потом сказал:

— Знаете, теперь уже говорить поздно, я в тот же день передал роман издателю. Фельтринелли уже успел его прочитать и сказал, что чего бы это ему ни стоило, но роман он обязательно будет печатать.

Увидев мое огорчение, Д'Анджело продолжал:

— Вы успокойтесь, я напишу и может быть даже по телефону переговорю с Джанджакомо. Он мой личный друг, я обязательно расскажу, что вас это так тревожит и, может быть, мы найдем какой-нибудь выход. Но вы сами понимаете, что издатель, получивший такой роман, — неохотно с ним расстанется! Я не верю, чтобы он отдал его просто так.

Я попросила предложить Фельтринелли, чтобы он дождался выхода романа в СССР. Пусть, имея приоритет за рубежом, все-таки напечатает роман, вторым, а не первым.

— Хорошо, я все это изложу Фельтринелли, - согласился Д'Анджело.

Так начались наши длительные и сложные отношения с Д'Анджело. Мы обменялись адресами. Вскоре он пришел ко мне и познакомился с моей дочерью (тогда это все ей было еще интересно). Я ожидала: Д'Анджело поможет нам избежать международного скандала. Ведь он понимал то, чего не мог понять живущий в Милане издатель; и он знал, как я недавно пострадала за гораздо менее серьезные вещи.

И все же я не была удовлетворена переговорами с Д'Анджело и, подумав, пошла в редакцию журнала "Знамя". Там печатались уже стихи из "Доктора Живаго", лежал роман, который должен был читать Кожевников. А с Кожевниковым я была знакома еще с Высших государственных литературных курсов и надеялась говорить с ним не только как с главным редактором, но как с человеком, которому не безразлична моя собственная судьба. Он был один, и я рассказала ему о том, что произошло с нами.

— Ох, как это на тебя похоже, — вздохнул он, — конечно, связалась с последним оставшимся в России романтиком, и вот теперь думай, расхлебывай. И все тебе мало, и все тебе нехорошо. Так вот что я тебе скажу — ты давай нас всех выручай, потому что и на меня будут нарекания за первую публикацию стихов из романа. А в нем сейчас будут отыскивать всякую крамолу. Так вот, у меня есть хороший товарищ — Дмитрий Алексеевич Поликарпов, работает он в ЦК, я с ним созвонюсь, и он вызовет тебя. А ты ему расскажи все, о чем сейчас рассказывала мне.

Очень скоро мне позвонили на Потаповский из ЦК и сказали, что мне заказан пропуск к заведующему отделом культуры Поликарпову. Встретил меня изможденный и какой-то испуганный, преждевременно старый человек с водянистыми глазами. Он выслушал меня и сказал, что обязательно надо попробовать договориться с Д'Анджело:

— Встречайтесь с ним, говорите, просите всеми силами, чтобы он вернул рукопись. А мы действительно можем обещать ему, что в конце концов разберемся и

сами напечатаем роман — видно там будет, с купюрами или без — но во всяком случае дадим им возможность после нас печататься.

Я сказала Поликарпову, что роман лежит в редакциях уже давно, его читали, но никто не говорит решающего слова, что, по-моему, роман у нас не будут печатать, а итальянец не хочет его возвращать.

— Попробуйте, попробуйте, — говорил мне Дмитрий Алексеевич, — обязательно попробуйте поговорить с Д'Анджело по-настоящему.

Я опять стала убеждать его в том, что единственный выход — печатать нам роман сейчас, мы успеем с ним первыми, ибо перевод на итальянский — большая и трудоемкая работа, потребующая много времени.

— Нет, — возражал мне Поликарпов, — нам обязательно нужно получить рукопись назад, потому что если мы некоторые главы не напечатаем, а они напечатают, то будет неудобно. Роман должен быть возвращен любыми средствами. В общем — действуйте, договаривайтесь с Д'Анджело, обещайте ему, что он первым получит верстку и передаст своему издателю, в обиде они не будут. Но во всяком случае — мы должны решать судьбу романа у себя и приложим к этому все усилия.

Помнится, во второе свое посещение Поликарпова, после нескольких бесед с Д'Анджело, я сказала, что Фельтринелли взял роман только для прочтения, но торжественно заявляет, что рукопись из рук не выпустит, готов отвечать, пускай это будет его преступлением; но он не верит, что мы когда-нибудь выпустим роман в свет и не считает себя вправе утаивать от человечества мировой шедевр — это еще большее преступление.

Дмитрий Алексеевич взял трубку и позвонил в "Гослитиздат". Директором тогда был Котов, бывший литконсультант издательства, приятный и доброжелательный человек. Когда-то мы с ним вместе прирабатывали на литературных консультациях.

— Анатолий Константинович, — говорил Поликарпов, — к вам сейчас придет Ольга Всеволодовна и договорится относительно того, когда она привезет к вам Пастернака. Надо будет вам взять роман, просмотреть его, назначить редактора, заключить с Пастернаком договор. Пусть редактор подумает, какие места менять, какие выпустить, что оставить как есть.

Когда Боря узнал об этом разговоре, он не сразу сказал свое мнение. А потом, подумав, написал сохранившуюся у меня записку:

> "Я рад, что Анат. Конст. прочтет роман (но он ему не понравится). Я совсем не стремлюсь к тому, чтобы ром. был издан сейчас, когда его нельзя выпустить в его подлинном виде.
>
> У меня другие желания:
>
> 1) Чтобы издали перевод Марии Стюарт (почему возражает Емельяников? Ему не нравится перевод?).
>
> 2) Чтобы книгу избранных стих. выпустили большим тиражом".

Тем не менее мы с Б.Л. вскоре пришли к Котову. Я хорошо помню, как Котов, не зная, что я слышала его разговор с Поликарповым, сделал вид, будто решение печатать роман принял сам.

— Дорогой Борис Леонидович, — говорил Котов, поднимаясь навстречу Боре, — вы написали великолепнейшее произведение, мы обязательно будем его печатать. Я сам назначу редактора и оформим все это договором. Придется, правда, несколько сократить некоторые вещи; некоторые, может быть, добавить; но во всяком случае с вами будет работать редактор и все будет в порядке.

Редактор действительно был назначен. Это был ярый и нежный поклонник творчества Пастернака — Анатолий Васильевич Старостин.

— Я сделаю из этой вещи апофеоз русскому народу, — говорил он восторженно.

Увы, сделать апофеоз ему не пришлось. Вместе со мной Анатолий Васильевич вынес все ужасы битвы за роман, но победителями мы не стали.

ВЕРСТКА

Казалось очевидным: роман надо издать в СССР. Но страх сковывал тех, кто должен был принять радикальное решение. Известный писатель, лауреат нескольких Сталинских и Государственных премий З.Г., сложившуюся обстановку оценил так: "... Самое в них страшное — то, что они трусы. Как все временщики. Сами боятся и других пугают. Цепная реакция страха. Трус неспособен принимать разумные решения; действует он беспорядочно и панически, потом уж тщательно обосновывает свою панику, подводя под нее незыблемую (и тем не менее растяжимую), — идеологию. Единственный выход — немедленно издать роман здесь! Пусть крохотным тиражом, для виду, но — издать во что бы то ни стало. Разве они пойдут на это? Осмелятся? А вот на то, чтобы еще раз усесться в лужу перед всем миром, — смелости хватит. Смелость будет пропорциональна луже".

Так оно и случилось. Но все по порядку.

Началась длинная и нудная — скорее возня, чем борьба — за издание книги. С одной стороны был "Гослитиздат", желавший скорейшего выхода в свет романа, и однотомника стихов; с другой — руководство союза писателей, не желавшее ни стихов, ни, тем более, романа. Доброжелательным, любящим Пастернака Анатолию Константиновичу Котову, Александру Ивановичу Пузикову, Анатолию Васильевичу Старостину противостоял ненавидевший Пастернака Сурков. Ведь еще на Первом съезде писателей в 1934 г. в ответ на высокую оценку поэтики и поэзии Пастернака Сурков утверждал, что "творчество Б.Л. Пастернака неподходящая точка ориентации в их росте". (Речь шла о молодых поэтах).

Быть может, полемизируя с Сурковым, знаменитый французский писатель Андре Мальро на съезде говорил: "... Искусство — не подчинение, искусство — это заво-

евание... Но вы должны знать, что только действительно новые произведения смогут поддержать за границей культурный престиж Советского Союза, как поддерживал его Маяковский, как поддерживает его Пастернак".

О погромной статье-доносе Суркова в газете "Культура и жизнь" от 22.3.47 здесь уже достаточно подробно писалось. Не буду прослеживать другие этапы этой позорной травли чиновником от литературы гениального поэта. Они достаточно общеизвестны.

Почему-то мне вспоминается, что булгарины всех времен в своих преследованиях поистине великих художников применяли один и тот же испытанный прием: они обвиняли своих противников в посягательстве на существующий порядок. Не случайно Пушкин злобного ругателя, фискала и завистника Булгарина называл "сволочью нашей литературы".

Не боится ли Сурков, что подобно тому, как Булгарин сохранился в истории Литературы лишь как враг Пушкина, сам он сохранится как гонитель Пастернака?...

Между тем подоспела еще одна неприятность: в 57 г. Боря заболел артритом. Его положили в филиал Кремлевской больницы в Узком (бывшая усадьба Трубецких, где умер Владимир Соловьев). Он плохо переносил физическую боль, а боли были страшные, и ему казалось, что он умирает. Несколько записок того времени у меня сохранилось (см. письма 1-9).

Даже Борина болезнь не могла остановить ни на день работу над однотомником. Работали и Банников, и я, и Боря, как только утихали боли и он мог держать в руках карандаш. Сохранилась толстая папка материалов сборника, содержащая многочисленные варианты и правку. На папке рукой Б.Л. написано: "Сырье к однотомнику"* .

За год до этого он мне писал:

"Это все только для "ознакомления" О.В. и Н.В. В апреле займусь всем сам вплотную. О.В. и Н.В. надо

---

* Некоторые варианты см. в конце книги.

будет достать первые издания всех отдельных книг. Многое потом в общие собрания не входило. У Чагина надо будет достать мною данную ему зарезанную книжку Сов. Пис. в серии Ста лучших книг и т.д., тонкую в желтом карт. переплете. Там много переделанного и неизвестного. Все это только для "первого обзора и отбора, — мож. быть ничего из этого не будет включено. Из забытого — рассеяно по первым изданиям (напр. в 1 изд. "Второго рождения" стихотв., обыгрывающее "В надежде славы и добра") и по журналам (кажется в Красной Нови 31 или 32 года стихи о Кавказе с обыгрыванием Мцыри.

Где две реки вокруг (у ног) горы (?)
Обнявшись будто две сестры
Текут стихов бессмертных ради
В забытой, (пропавшей) (?) юнкерской тетради
(Совершенно не помню стихов).

Достать надо: Однотомник Лд-33, Однотомник Моск. 36, Чагинский выбор 1945 г. и многочисленную мелочь.

Мне кажется, за писанием автобиографии (недели через 2-3, в марте или апреле, сам многое дополню, выправлю, допишу и присоединю новое. Неотправленное письмо Чагину прилагаю для суда и одобрения. (Сверху приписано):

Вероятно это меньше половины всего утраченного и забытого, особенно в отн. раннего периода до "Поверх барьеров".

А вот еще одна записка:

"В Нов. мире: конверты. Нельзя ли будет получить оттуда статьи и стихотв. То же самое в Знамени (Дело в том, что стихи не доработаны, их коснется правка). Как узнать о дне получения корректуры и вовремя получить ее? Когда, приблизительно, наведаться? Просмотр прозы займет дня два".

Зря Боря беспокоился о том, чтобы вовремя получить корректуру. Мы не опоздали получить верстку книги — она была получена вовремя, но, увы, и по

сей день осталась всего лишь "Версткой". Конечно, не всякую верстку величают с большой буквы как эту (см., например, повсюду в сборнике 1965 г.).

Появление Верстки не означало конца борьбы за стихотворный сборник. Скорее, оно ознаменовало ожесточение борьбы — и за роман, и за однотомник.

"МНЕ ЦЕЛЫЙ МИР ДОРОГУ ДАСТ"

Почувствовав, что мои попытки договориться с Д'Анджело о возвращении романа не дают результатов, руководство предприняло шаги совсем другого плана. Мы не знали о них. Действие перенеслось в Италию:

> "Функционерам Итальянской компартии было поручено склонить Фельтринелли к отказу от публикации "Доктора Живаго". Тольятти имел с этой целью личный разговор с издателем. Однако тот объяснил, что он намеревается повести дружеские переговоры с солидными советскими инстанциями и так все уладить, чтобы без серьезных неприятностей вернуть дело к прежнему результату. В начале 1957 г., когда атмосфера в Советском Союзе вследствие венгерского восстания значительно сгустилась, московское издательство "Гослитиздат" направило Фельтринелли послание, в котором уведомляло его, что "Доктор Живаго" в сентябре этого года выйдет в свет в Советском Союзе, и просило его не выпускать итальянское издание до этого срока. Фельтринелли ответил, что он без всяких затруднений выполнит эту просьбу. О том, что письмо издательства было не чем иным, как уловкой, чтобы оттянуть время, свидетельствуют некоторые моменты, предшествовавшие написанию письма, и более поздние события, которые его разоблачают. Так, например, в противоречии с этим длинным письмом было то, что пять членов редколлегии "Нового мира" писатели Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов и А.

Кривицкий уже в сентябре 1956 года осуждали Пастернака и были убеждены, что роман страдает идеологическими ошибками и не должен быть опубликован. Спрашивается, неужели "Гослитиздат", когда он писал Фельтринелли, не был осведомлен, что пять маститых представителей официальных литературных кругов уже несколько месяцев назад наложили свое вето на роман. Но письмо, несмотря на недвусмысленно отрицательный вывод, выдержанное в деловом и дружественном тоне, через день после награждения Пастернака Нобелевской премией появилось в печати ("Литературная газета" от 25.10.58), вызвав подозрение, что оно передатировано для того, чтобы западный мир мог подумать, что "Доктор Живаго" еще до изменения политической погоды был рассмотрен в литературных кругах и подвергся объективному обсуждению. Это подозрение было, впрочем, вполне обоснованным, ибо Пастернак никогда не упоминал мне о письме писателей, хотя мы до конца 57 года часто виделись, чтобы обменяться новостями и взглядами по поводу опубликования романа"* .

Соображения Д'Анджело о передатировке задним числом письма "Нового мира" к Б.Л. с оценкой романа по-видимому имеют свой резон. У меня тоже сложилось впечатление, что письмо это было получено Борей не в сентябре 1956 года, а где-то позже, уже после опубликования романа за рубежом. Однако утверждать это категорически я не берусь: точные даты в памяти не сохранились, хотя обстоятельства помню хорошо.

Моя приятельница Н. продолжала работать в "Новом мире". В конце одного из очень суматошных дней ее вызвал к себе тогдашний главный редактор журнала К. Симонов. Долго она сидела в кабинете, а Симонов все бегал взад и вперед, читал какие-то бумажки и советовался со своим заместителем Кривицким. Александр

* Из упоминавшейся статьи Д'Анджело "Роман романа".

Юрьевич был рядом и что-то писал. Н. пришлось ждать долго, казалось, что это никогда не кончится.

— Н., — наконец-то сказал Симонов, державший в руке объемистый конверт, — не обижайтесь, у меня к Вам несколько странная просьба: возьмите, пожалуйста, машину и как можно скорее поезжайте в Переделкино. Надо, чтобы это письмо сегодня подписали Агапов, Лавренев, Катаев и Федин. Я никому не могу доверить, поэтому вынужден просить Вас. Прочитайте, чтобы Вы знали, о чем идет речь.

Отказаться от поручения — было первым движением Н. после прочтения письма. Что-то уж очень странное и настораживающее было в этом поручении, данном Н. в то время, как секретарша Симонова выполняла с успехом наиболее деликатные миссии. Поразмыслив Н. решила, что поручение дано ей не случайно: Симонов прекрасно знал о ее дружбе со мной, так что цель его прояснялась — подготовить Б.Л. через самого близкого ему человека к получению письма "Нового мира". И поручение было принято.

Короткая поездка на редакционной машине по Переделкину; В.Катаев подписывает сразу, не глядя; Б.Агапов долго читает, но молчит; Б.Лавренев читает и бросает какие-то неодобрительные фразы; последний Федин; он болен и не принимает. Конверт ему передается через дочь. Н. долго сидит в коридоре и ждет — около часа; "неужели не подпишет, — думается ей, — даже интересно". Но нет, подписал. Теперь все* и шофер спросил — "куда дальше?" Н. не помнила точно расположения моего домика и почти наугад кружила на машине по Переделкину. Я случайно встретила ее у мостика через Измалковское озеро. Она усадила меня в машину и дала письмо. Медленно и

* Непонятно — почему не предложили подписать письмо остальным членам тогдашней редколегии — С.Голубову, М.Луконину, А.Марьямову, Е.Успенской? Уж не потому-ли, что к моменту написания письма состав несколько изменился? Или выбрали тех, кто наверняка подпишет? В газетной публикации подпись В.Катаева отсутствует. Он не был членом редколегии и зачем ему давали подписывать — не понимаю.

внимательно читала я его, стараясь запомнить как можно больше, чтобы рассказать Боре. Как только я прочитала письмо, Н. уехала в редакцию, где ее ожидал, несмотря на позднее время, Симонов. Ни о чем не спрашивая, он взял письмо, поблагодарил и ушел.

А Боря, когда я ему пересказала содержание письма, только махнул рукой — возмущение литературного руководства началось еще с момента передачи романа итальянцам. Он уже давно перестал верить в возможность опубликовать роман у себя на родине. В этом виноваты скорее не политические его противники, а литературные, и в первую очередь завистники типа Суркова. Действительные же политики, такие как заведующий отделом культуры ЦК партии Д.Поликарпов, хотели погасить разгорающийся скандал, опубликовать у нас в мало-мальски приемлемом виде роман, не допустить скандала.

Если где-то рядом с романом Пастернака имеет право соседствовать ярлык "антисоветский", то он может касаться только этого письма "Нового мира". Ибо письмо это — скорее политический документ, чем литературный. Я уверена, что можно надергать такие цитаты из "Тихого Дона", что и это общепринятое у нас произведение будет представлено как антисоветский роман. Как Пастернак жалеет мальчиков из белой армии, так и Шолохов смотрит с ужасом на убитых офицеров.

Со здравой точки зрения кажется смешным, что даже после обнародования письма "Нового мира" многомиллионными тиражами, роман не был опубликован. Ведь в письме было сконцентрировано и тенденциозно истолковано все, что могло бы быть ортодоксами признано "крамольным". Таким образом письмо довело до народа все, что хотели от него упрятать.

Лето 1954 года. Ведутся переговоры о том, чтобы дать подборку стихов в "Знамя" летом 1956 года и опубликовать в непериодическом альманахе "Литературная Москва" "Автобиографический очерк". По поводу первого записка Б.Л.:

> "Для "Знамени" 3 экз. (?) Ночь, Ветер, В больнице, Осенний лес, Дорога, Музыка, Заморозки, Ночной ветер, Золотая осень, Ненастье".

По поводу второго:

> "У Мар. Мих. Ничего не надо. Попросите в "Знамени", чтобы удовольствовались Рабиндранат Тагором. (Стихи мне надо будет дать в "Альманах". Кроме того, в "Знамени" они пройдут незамеченными. Но, вообще говоря, я теперь предпочитаю "казенные" журналы и редакции этим новым "писательским", "кооперативным" начинаниям, так мало они себе позволяют, так ничем не отличаются от официальных. Это давно известная подмена якобы "свободного слова" тем, что требуется в виде вдвойне противного подлога. Так ведь после войны возникла "Литературная газета", как голос народа или писательской общественности, во мнение которой "правительство не имело права вмешиваться"). Об этом предпочтении моем Нового мира Альманаху надо сказать Кривицкому. "*Он должен обязательно предупредить Алигер или Каверина*"*, что по моему окончательному решению "Предисловие" пойдет не у них, а в "Нов. мире". Если он согласен, пусть назовет эту прозу "Люди и положения". Тогда в сноске под звездочкой надо будет объяснить: "Статья к готовящейся в Гослитиздате книге избранных стихотворений".

Верстку однотомника вычитали, внесли добавления, исправили. Но по-прежнему не был решен вопрос о печатании тиража.

Здесь подоспел вопрос о телеграмме, которую, как настойчиво требовали, Б.Л. обязан был послать Фельтринелли, чтобы оставить роман в Италии. Любопытно об этом пишет Д'Анджело:

> "... Ольга... пришла ко мне, чтобы рассказать о телеграмме, которую вынуждают Пастернака подписать, и просила меня, поскольку он не хочет подчи-

---

* М.И.Алигер и В.А.Каверин — редакторы литературно-художественного сборника московских писателей "Литературная Москва".

ниться, немедленно навестить его и убедить. Это было нелегкое поручение. Каждый, кто ближе знакомился с Пастернаком, знает, каким он был сердечным, отзывчивым, душевно тонким и широко мыслящим, но в то же время он вспомнит и о его гордом темпераменте, о его вспышках гнева и негодования. Из-за насилия, которому его хотели подвергнуть, он, ожесточаясь, раздраженно отвечал на наши убеждения. Ни дружба, ни симпатия, говорил он почти крича, не дают основания для того, чтобы оправдать акцию; мы не уважаем его; мы обращаемся с ним как с человеком без достоинства. И что должен думать Фельтринелли, которому он недавно писал, что опубликование "Доктора Живаго" есть главная цель его жизни? Не считает же он его глупцом или трусом? Наконец, Пастернак пришел к убеждению, что телеграмме не поверят, да и невозможно остановить дело, так как многие издатели Запада все равно уже сняли копии с оригинала и заключили договоры на издания в соответствующих странах. Так телеграмма была послана".

Один из авторов воспоминаний о Б.Л. приводит его слова по поводу телеграммы: "Я сделал это с легким сердцем, потому что знал, что там сразу по стилю телеграммы поймут, что она не мной написана". Не верю, знаю, что на сердце у него было нелегко. В разговоре с малознакомыми людьми он вообще говорил о пережитом бодро, с улыбкой. Вот и проглядывает сквозь некоторые мемуары образ поэта не от мира сего, которому все — как с гуся вода. А на самом деле каждый такой эпизод (а сколько их было!) оставлял на его сердце незаживающие зарубки, как он сам говорил о своих незабываемых обидах.

Стало ясно, что телеграмме Б.Л. Фельтринелли не поверил*. На октябрь была назначена поездка группы

* В беседе с Евтушенко Фельтринелли сказал, что не поверил телеграмме Б.Л., ибо она была написана по-русски; у него же с Б.Л. якобы была договоренность верить телеграммам, написанным только по-французски.

советских поэтов в Италию. Сурков, не входящий в состав делегации, кого-то вычеркнул и поехал сам. В Москве упорно говорили, что вычеркнут был Пастернак. Возможно. Точно не знаю.

Газета "Унита" 22 октября 57 г. сообщала, что во время пресс-конференции в Милане девятнадцатого октября Сурков заявил:

"Пастернак писал своему итальянскому издателю и просил его вернуть ему рукопись, чтобы он мог ее переработать. Как я прочитал вчера в "Курьере", а сегодня в "Эспресо", "Доктор Живаго", несмотря на это, будет опубликован против воли автора. Холодная война вмешивается в литературу. Если это есть свобода искусства в понимании Запада, то я должен сказать, что у нас на этот счет другое мнение".

Кто-то сказал Боре, что Сурков назвал роман антисоветским:

— Он прав, — отвечал Б.Л., — если под советским понимать нежелание видеть жизнь такой, как она есть на самом деле. Нас заставляют радоваться тому, что приносит нам несчастье, клясться в любви тому, кого не любим, вести себя противно инстинкту правды. И мы заглушаем этот инстинкт, как рабы, идеализируем свою же неволю...

Примерно в те же дни после разговора с Б.Л. Александр Гладков записал в дневнике слова Б.Л.:

> "Из меня хотят сделать второго Зощенко... Да, да, уверяю вас. Нет, теперь уже ничего не поможет. Таков приказ свыше. В пятницу меня вызывали в Союз на заседание секретариата. Оно должно было быть закрытым, но я не поехал, а они там обиделись и приняли страшную резолюцию против меня. Нашлись доброхоты, которые все раздувают и лихорадят атмосферу, как, например, К.* Даже Панферов держится спокойнее его и ему подобных. Выяснилось вдруг, что у меня множество недругов. Впрочем, на Секретариате зачем-то составили комиссию для переговоров со

* Насколько я знаю — речь шла о Валентине Катаеве.

мною... Нет, нет, не спорьте — на этот раз мне будет плохо. Пришел мой черед. Вы же ничего не знаете. До самого романа им очень мало дела. Большинство занимающихся этим вопросом его и не читало. Кое-кто и рад бы замять, — о, нет, не из сочувствия ко мне, а из мещанской боязни уличного скандала — это уже невозможно. Говорят, что меня на секретариате называли рекламистом, любящим шум и раздувающим скандалы. О, если бы они знали, как это все чуждо и враждебно мне!".

В ноябре 1957 г. роман "Доктор Живаго" вышел в свет. Вначале он появился на итальянском, а затем на русском языке на книжных прилавках Милана. После этого начал шагать по всему миру даже вне желания и к удивлению его автора. За первые полгода одиннадцать изданий последовали одно за другим. А в течение двух лет роман был переведен на двадцать три языка: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, датский, шведский, норвежский, чешский, польский, сербско-хорватский, голландский, финский, иврит, турецкий, иранский, хинди, гуджарати, арабский, японский, китайский, вьетнамский.

Любопытно: роман появился еще на одном (двадцать четвертом по счету) языке — языке небольшой народности Индии — ури.

Ярким солнечным, совсем уже весенним утром 21 марта пятьдесят восьмого года у нас на Потаповском собрались многие близкие — Н.Любимов, К.Богатырев, М.Сизова, М.Поливанов — всех не упомню. Б.Л. был в ударе — он произнес целый монолог. Смысл его сводился к следующему.

Небольшое издательство, публикующее художественную литературу на языке ури, решило, что необходимо издать нашумевший роман Пастернака "Доктор Живаго". Хотелось дать при этом какую-то иллюстрацию, хотя бы в виде автографа автора. Было дано объявление в газету с призывом прислать издательству что-либо в таком роде.

На объявление откликнулся один человек — швейцарка из Цюриха — Элизабет Коттмайер, переводившая стихи Пастернака на немецкий язык. Она прислала факсимиле дарственной надписи Б.Л. на небольшом машинописном сборнике его стихов.

Вскоре вышел роман "Доктор Живаго" на языке ури с факсимиле автора. К.Ворошилов привез экземпляр этой книги из Индии и через кого-то передал его Б.Л.

Это была скверно изданная книга, напечатанная на плохой бумаге. Но самое примечательное заключалось в том, что из компоновки факсимиле Б.Л. с текстом книги однозначно следовало, будто роман посвящен автором... Элизабет Коттмайер.

Седьмого мая 1957 г. Б.Л. писал в Германию Ренате:

"Появление книги вызовет не только радость, но и некоторые нападки. Политические — со стороны коммунистически настроенных кругов, эстетические — из-за несовременной наивности, простоты, прозрачности языка, скучных банальностей и плоскости. Вы сами будете скучать над ее страницами и поймете правильность критических высказываний. Пусть это вас не огорчает. Не принимайте это близко к сердцу. Я не хочу себя и Вас утомлять длинным письмом, иначе я бы Вам изложил ясно, почему книга о самых важных делах, стоивших нашему веку столько крови и безумия, должна была быть написанной ясно и предельно просто."

И в начале лета во Францию Жаклин де Пруаяр:

"... Я узнал, что можно ждать выхода "Доктора Живаго" в Париже в конце июня. Это уже половина будущей радости. Я уверен, что буду плакать от нежности, от волнения моей восхищенной души, когда я своими руками прикоснусь к этому живому чуду, к работе вас всех, вдохновленной целым годом трудностей и помех. Но — это — не на моем смехотворном и отвратительном французском языке говорить о подобных вещах, имеющих такое значение для величия жизни в целом, а не только нашей...

... Выход "Доктора Живаго" во Франции, полученные оттуда письма, замечательно личные, головокружительные, захватывающие, это само по себе целый роман, особая жизнь, которая вызывает влюбленность". (Оригинал — на французском языке).

НАШ, ИЛИ ЧУЖОЙ?

Роман шагал и шагал по странам мира, возбуждая споры и овации, но только у нас до поры до времени хранилось двусмысленное молчание. Не трогали и Б.Л.

К весне (как часто и в другие годы) он заболел и попал в больницу. Сохранилось у меня два письма этого периода. Первое из них адресовано главному редактору "Гослитиздата" А.И.Пузикову:

Дорогой Александр Иванович,

Я сам своими частыми заболеваниями и больницами так надоел себе, что наверное еще больше должен был надоесть Вам и самым близким людям. Я не верю в возобновившееся шевеление вокруг моего стихотворного сборника и толки о возможностях напечатания романа. Никогда этого не будет, ни к чему эти разговоры не поведут

Но мифы о моей мнимой состоятельности преувеличены. Раньше или позже и, может быть, довольно скоро мне понадобятся большие деньги. Как хорошо было бы, если бы как в былые годы, вместо гаданий о вещах неосуществимых издательство согласилось переиздать мои переводы шекспировских трагедий, как в сборнике 1956 года. Скажите О.В., что Вы вообще думаете о моих делах, если тут есть что-нибудь думать. Сердечный привет.

Преданный Вам Б.Л.

4 марта 1958.

Второе связано с позицией главного редактора журнала "Октябрь" Ф.И.Панферова. Он вызвал меня и долго распространялся на тему о том, что "чужим мы его не отдадим... Пусть поедет в Баку, посмотрит строительство нефтяных городов прямо в море... Напишет новое... дам машину для поездки..." и т.д. Хотел приехать к Б.Л. в больницу.

И вот в связи со всеми этими разговорами Боря из больницы написал:

Если столько разговоров об отдаленном будущем, пусть в ближайшем, не собственными силами, но при опоре на какое-ниб. очень решительное распоряжение сверху (Н.С.?) добьется моего помещения единственным больным в двухкоечную палату в первом отделении, но с ручательством, что этот порядок будет выдержан до конца, и мне не поместят соседа. Хотя это (даже мне) кажется преувеличенным притязанием и чем-то неслыханным, я достаточно поработал, чтобы это исключение заслужить. Тогда я разложу свои вещи и книги в таком отдельном помещении, постепенно займусь чем-ниб. своим, и, Бог даст, с течением времени приду из больного состояния в здоровое. Надо только чтобы до четверга, когда я жду к себе Фед. Ив-ча, он запасся должными твердыми и действенными полномочиями сверху, а может быть, даже и сговорился в промежутке с главным начальством больницы по телефону. Вот это (помещение одиночным больным в малую палату) было бы интересно, а все прочее пока маловажно.

"Наш" или "чужой" и т.д. Странно, что для того, чтобы быть нашим, русским и т.д. нужно, при подверженности таким острым приступам, разъезжать и смотреть, а если не ездить и сидеть спокойно дома, ты будешь голландским или аргентинским. Искренне хорошее отношение к человеку должно заключаться в том, чтобы его оставили в покое и перестали им так сложно и двойственно заниматься.

Едва выйдя из больницы, Б.Л. писал одному из своих грузинских редакторов Г.В.Бебутову:

"Я не люблю воспоминаний и прошлого, в особенности своего. Мое будущее неизмеримо больше, я не могу не жить им, мне незачем оглядываться назад". (Письмо от 24 мая 58 г.).

Уже после передачи романа Б.Л. был вызван на заседание в Союз для разбора его дела (ни точную дату, ни повестку этого заседания я не запомнила). Вместо Бори, с его доверенностью, на заседание пошла я и со мной — гослитовский редактор романа А.В.Старостин.

Немного позднее Б.Л. писал Ренате:

> "В беспрерывных неприятностях по делу Живаго от меня только два раза требовали личные показания по этому поводу. Высшие органы власти продолжают рассматривать О.В. как мою заместительницу, которая готова вместо меня брать на себя всю тяжесть ударов и переговоров".

Так вот и на этот раз я побоялась пустить Б.Л. на это заседание, он мог разволноваться, нажить себе сердечный приступ, или того хуже. Поэтому я его оставила на Потаповском с кем-то из друзей, а сама с А.В. отправилась в ЦДЛ.

Это было, кажется, расширенное заседание секретариата СП, на котором обсуждался неблаговидный поступок Пастернака, передавшего рукопись своего романа за границу (с момента передачи романа прошло уже более двух лет — Д'Анджело взял рукопись в мае 1956 года). Председательствовал Сурков. Сперва он встретил меня доброжелательно, позвал в кабинет, мягко выспрашивал — как же так все вышло?

Я пыталась объяснить. Надо знать Б.Л., — говорила я, — ведь он широкий человек, с детской (или гениальной?) непосредственностью думающий, что границы между государствами — это пустяки, и их надо перешагивать людям, стоящим вне общественных категорий — поэтам, художникам, ученым. Он убежден: никакие границы не должны насильственным образом ограждать интерес одного человека к другому или одной нации — к другой. Он уверен, что не может быть объявлено преступлением духовное общение людей; не на словах, а на деле нужно открыть обмен мыслями и людьми.

Я рассказывала: когда пришли эти два молодых человека (один — сотрудник советского посольства и другой — коммунист-итальянец) он дал им рукопись — для чтения, а не для издания; и притом он не договаривался, что его напечатают, не брал за это никакой платы, не оговаривал каких-либо своих авторских прав — ничего этого не было. И никто из этого не делал тайны, неизбежной, если бы рукопись предумышленно передали для печати. Напротив, мы об этом сообщили по всем инстанциям вплоть до ЦК партии.

Сурков со мной соглашался:

— Да, да, — говорил он, — это в его характере. Но сейчас это так несвоевременно (мне так хотелось вставить Борино: "Так неуместно и несвоевременно только самое великое", но я сдержалась) — надо было его удержать, ведь у него есть такой добрый ангел, как вы...

(Боже мой, мне и присниться тогда не могло, какими грязными помоями Сурков будет поливать этого "доброго ангела").

На этом закончилась наша беседа, и мы вышли в зал.

Было много народу. Помню молодого Луконина, Наровчатова, Катаева (только что вступившего в партию), Соболева, Твардовского...

Сурков начал докладывать, что произошло между Пастернаком и итальянцами. Увы, от недавней благожелательности не осталось и следа. Начав спокойно с чтения письма "Нового мира", он себя "заводил" во время речи и, с какого-то момента появилось слово "предательство". Мои объяснения он, конечно, не учел. Соболев с места усердно поддакивал Суркову, а тот распалялся все больше. Он утверждал, что роман уже обсужден и осужден у нас, но Пастернак не прислушивается к мнению товарищей; что идет сговор о получении денег из-за границы за роман и т.п.*

— Ну что вы выдумываете? — возмутилась я. Но говорить мне не дали.

— Прошу меня не прерывать! — кричал Сурков.

Помню, как с места вмешался Твардовский:

— Дайте ей сказать, я хочу понять — что произошло; что вы ей рот затыкаете?

А Катаев, непристойно развалившись в кресле:

— Кого вы, собственно говоря, представительствовать пришли? Ущипните меня, я не знаю на каком я свете нахожусь — романы передаются за границу в чужие руки, происходит такое торгашество...

Ажаева больше всего интересовала "технология" передачи романа итальянцам; он на разные лады допытывался:

---

* Точно предсказал писатель К.: "А уж наши кретины пришьют политику и корысть — то, в чем сами сильны...".

— Как же он все-таки передал роман? Если бы мы знали — перехватили бы его...

Соболев, одетый как маленький пузатый мальчик, в комбинезон, говорил о том, что он чувствует себя оплеванным, оскорбленным; что поэт, которого так мало знают, вдруг прославился на весь мир таким безобразным способом.

— Вы мне дадите говорить, или нет? — возмутилась я.

И тут Сурков заорал:

— А почему вы здесь, а не он сам? Почему он не желает с нами разговаривать?

— Да, — ответила я, — ему трудно с вами разговаривать, а на все ваши вопросы могу ответить я.

И тут я повторила примерно то, о чем перед началом заседания рассказала Суркову.

В ходе рассказа меня все чаще и грубее прерывали. Когда я, обращаясь к Суркову, сказала: "Вот здесь сидит редактор романа Старостин..." — "Какого еще романа, — заорал Сурков, — ваш роман с "Гослитиздатом" я разрушу".

— Если вы мне не дадите говорить, то мне здесь делать нечего, — сказала я.

— Вам вообще здесь делать нечего, — почему-то больше всех кипятился Катаев, — вы кого представительствуете — поэта или предателя, или вам безразлично, что он — предатель своей родины?

Говорить стало невозможно — я села на свое место.

Было сказано, что хочет говорить редактор романа "Доктор Живаго" Анатолий Васильевич Старостин.

— Удивительное дело, — сказал при этих словах Катаев, — отыскался какой-то редактор; разве это еще можно и редактировать?

— Я мог бы вам сказать, — негромко и спокойно говорил Анатолий Васильевич, — что получил в руки совершенное произведение искусства, которое может прозвучать апофеозом русскому народу. Вы же сделали из него повод для травли...

Я не запомнила буквально текст выступления А.В., но ретроспективно вспоминая о нем, вижу его смысл в следующем.

Борис Леонидович не считал готовый вариант романа окончательным и не склонен был держаться за резкие высказывания, в нем содержащиеся. Он готов

был принять редактуру Анатолия Васильевича*. Но вот этого-то и не позволили сделать литературные руководители Союза, несмотря даже на явное поощрение со стороны отдела культуры ЦК партии.

Вместо того, чтобы привлечь художника на свою сторону, — его оттолкнули, ему не дали исправить то, что можно было исправить. Своими политическими обвинениями Пастернака, носящими самый отвратительный булгаринский характер, Сурков обманул всех, выпихнул за рубеж роман и вызвал травлю великого русского поэта.

Но разве можно преданность отчизне
За верность строгой правде выдавать?

Эти противоречия между "преданностью отчизне" и "верностью строгой правде" раздирали Бориса Леонидовича. Нередко он хотел быть неправым в своих суждениях, ему хотелось, чтобы действительность оказалась лучше, чем она изображалась в романе. Часто склонен он был полагать, что источником многих народных бед была злая воля далеко не лучших людей, попавших волею случая к власти, но отнюдь не природа строя.

Значит, роман можно было подредактировать, дать нужные акценты в толковом редакционном послесловии — автор на все это шел. Но для этого Суркову надо было проявить действительную заботу о судьбах родной литературы, а не о своих высоких литературных постах, подкрепляемых мелким политиканством. В угоду последнему он нанес удар не столько по Пастернаку (значимость поэта от этого не померкла, а популярность даже возросла), сколько по отечественной литературе — отнял у народа большое художественное произведение...

Наконец Сурков заявил, что на секретариате обсуждаются вопросы жизни Союза и присутствие посторонних лиц становится нежелательным.

---

* Правда, при этом Б.Л. говорил: "Вычеркивайте, но чтобы я этого не знал и в этом не участвовал. И никаких "мостиков" не перебрасывайте, ничего не добавляйте".

Разумеется, мне не оставалось ничего иного, как пойти к выходу. Сказав, что и он посторонний, вслед за мной пошел Анатолий Васильевич...

Под впечатлением этого безобразного заседания, один из его участников написал и передал через меня Борису Леонидовичу стихотворение:

Собрались толпою лиходеи,
Гнусное устроив торжество,
Чтоб унизить рыцаря идеи,
Чтобы имя запятнать его.

Брешут, упиваясь красноречьем,
Лютой злобой налились глаза —
Как посмел ты вечной лжи перечить,
Слово неподкупное сказать...

Как посмел ты написать такое,
Что когда от них исчезнет след,
Тысячи взволнованной толпою
Припадут к ногам твоим, поэт!

И не понимают, негодяи,
Что не прыгнуть выше головы,
И, хотя еще бесятся, лая,
Все они давно уже мертвы!

— Ты права, на эти собрания мне ходить не нужно, — сказал Боря в ответ на мой рассказ.

Вскоре (13 сентября 58 г.) состоялся вечер итальянских поэтов (кажется, в Политехническом музее). Отвечая на записку, в которой спрашивалось о том, почему Пастернак не присутствует на вечере, председатель Сурков объяснил, что Пастернак написал антисоветский роман, против сердца русской революции, и отдал его для опубликования за границу.

Это было первое публичное обвинение против Б.Л., выдвинутое пока еще в устной форме.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

"Нужно писать вещи небывалые, совершать открытия и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное все вздор", — еще раз вспомню слова Бориса Леонидовича времен зачина романа и нашего с ним сближения. И вот вещь поистине небывалая не только написана, но и невиданным тиражом распродается чуть ли не со всех книжных прилавков мира, а ее автор рассматривается как кандидат Нобелевской премии по литературе 1958 года.

Первая дата выдвижения Пастернака на Нобелевскую премию забыта. Это было в 1947 году, когда Б.Л. еще не знал имени "Живаго", а замысел романа был на уровне "Мальчиков и девочек". Его кандидатуру предложили английские писатели, полагавшие, что Пастернак является законным претендентом на такую награду за свои лирические произведения (см. П.Ольбер, "Швеция и Борис Пастернак"). В 1954 г. снова были разговоры о том, что Нобелевский комитет рассматривает кандидатуру Б.Л., но тогда отдали предпочтение Хемингуэю.

Теперь, в 1958 г., Б.Л. писал Ренате:

> "Некоторые считают, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо уверен, что она обойдет меня и достанется Альб. Моравиа. Ты не можешь себе представить, что даже сомнительное предположение такой возможности мысленно сталкивает меня с целым рядом трудностей, мучений и беспокойств. В жизни бывают такие положения, когда только некоторая неподвижность таит в себе равновесие для окружающих. Один шаг в сторону — и самые близкие люди присуждены к страданиям: ревности, обиде, травмам самолюбия, огорчениям — и все зарубцевавшиеся сердечные раны открываются снова..."

За два дня до решения Нобелевского комитета в письме той же Ренате:

> "... между прочим, как велик, очевидно, голод во всем мире на свободу и простоту, что все радуются Д-ру Ж., как на счастливый повод, чтобы позволить себе это самораскрепощение...".

И немного раньше:

> "... Скоро ты будешь читать мою книгу. Тогда ты заплачешь единственно правильными, единственно благодарными слезами, теми самыми, которые не могу сдержать и я, начиная читать французский перевод... было предвоенное время, теснота крупных городов, почти природная, почти как лес, пропитанная светом неба.
>
> Лишь блуждание по улицам было наслаждение искусством — толпы народа, уличное движение, витрины. Железные дороги и путешествия, освещенные ночи. И богатое, глубоко воздействующее искусство, которое может быть только в античном мире или в эпоху Возрождения... А потом пришло господство домоуправлений, барское топание ногой. Немыслимое (наше и ваше) падение общества, жертвами и свидетелями которого мы стали, уничтожение миллионов людей, разрушение тысяч городов. Мне кажется, что сам я как будто не сделал ничего нового, чего хотели мои учителя и предшественники, наши великие романисты (и скандинавы), написав, может быть, моими руками, как будто зажег я свечу Мальте*, стоявшую холодной, неиспользованной, и вышел со светом Рильке в руке из дома в темноту, во двор, на улицу, в гущу развалин. Подумай только, в своем романе он (как и Пруст) не находил применения для своего гениального проникновения, — и теперь, посмотри, — горы причин... жуткие, умоляющие

---

* Мальте — герой прозаического романа Р.-М.Рильке "Записки Мальте Лауридса Бригге".

предлоги творчества. Как действительность не для шуток, как трагична и строга она, и все же это — земная действительность, поэтическая определенность. И вот мы хотим плакать от счастья и трепета...".

Двадцать третьего октября Шведская Академия словесности и языкознания присудила Нобелевскую премию по литературе 1958 года Б.Л.Пастернаку "За значительный вклад как в современную лирику, так и в область великих традиций русских прозаиков".

В тот же день Б.Л. послал постоянному секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу телеграмму: "Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен".

На дачу нахлынули иностранные корреспонденты. Вот улыбающийся Б.Л. читает телеграмму о присуждении ему премии; вот он смущенно стоит с поднятым бокалом, отвечая на поздравления К.И.Чуковского, его внучки, Нины Табидзе... А на следующем снимке, через каких-нибудь двадцать минут, Б.Л. сидит за тем же столом в окружении тех же людей, но Боже мой, до чего же у него подавленный вид, грустные глаза, опущенные уголки губ! Дело в том, что за эти двадцать минут приходил Федин и, не поздравив его, сказал, что во избежание серьезных неприятностей, от премии и от романа Б.Л. должен "добровольно" отказаться.

Б.Л. пришел в нашу комнату в Переделкине возбужденный, удивленный:

— Да, Лелюша, представь себе, я получил эту премию и вот сейчас я хочу с тобой только посоветоваться; оказывается, меня ждет там Федин, и Поликарпов, кажется, приехал к нему; как ты думаешь, можно ли сказать, что я отказываюсь от романа?

Так странно прозвучал этот "отказ от романа?"!

Он долго говорил, сам себе что-то такое доказывал, рассказывал о своей благодарственной телеграмме в Стокгольм и ушел по дороге к большой даче.

Вечером позвонил в Москву Ире.

"Как же все это было? — вспоминает Ирина. — Мама и Б.Л. были в Переделкине. 24 октября в скверике около Белорусского вокзала я встретилась с корреспондентом газеты "Унита" Джузеппе Гарритано.

Он привез маме пишущую машинку "Торпедо", купленную для Б.Л. Он вручил мне эту машинку и спросил, знаю ли я, что вчера Шведская Академия присудила Б.Л. Нобелевскую премию. Вид у Гарритано был растерянный, и я сама ужасно испугалась. Я имела смутное представление о том, что такое Нобелевская премия. Что же теперь делать? Мне показалось, что произошло что-то недозволенное, компрометирующее, совершенно ненужное.

Я в растерянности вернулась домой, и тотчас же позвонил Б.Л. из Переделкина:

— Ах, ты уже знаешь, — сказал он разочарованно, — я сейчас звонил бабушке, подошел Сергей Степанович, я рассказал ему об этом, а он меня даже не поздравил (тут только мне пришло в голову, что с этим можно поздравлять, а не только замирать от ужаса). — И, конечно, уже началось, началось! Приходил Федин и предлагал отказаться. Пришел с таким видом, словно меня уличили в преступлении, не поздравил... И только Ивановы. Ах, какие замечательные люди! Тамара Владимировна расцеловала меня, какая умница! А эти... Я не стал с Фединым разговаривать. Да?".

Тут я вдруг догадалась, что, по-видимому, была первым человеком, которому он сообщал о своем решении, о взятом "курсе", что мама, если даже уже и знала о нем, находилась, наверное, в полной растерянности и ни о какой поддержке речи не было. Тогда я сказала с огромным энтузиазмом: "Конечно, конечно! Гнать их всех, рабы несчастные, запуганные, о чем с ними говорить!" и т.д.

— Да? — обрадованно повторил Б.Л. — Правда ведь?

В эту же ночь мне позвонил мой знакомый по литинституту молодой поэт Панкратов, тогда очень преданный Б.Л., и рассказал, что в институте готовят демонстрацию с плакатами, требующими высылки Пастернака за границу, всячески клеймящими его карикатурами...".

Это было в пятницу 24 октября.

КАК ЗВЕРЬ В ЗАГОНЕ

А в субботу 25 октября началось...

Более двух полос субботней "Литературки" заняла травля Б.Л.: большая редакционная статья плюс "письмо членов редколлегии...".

"... Житие злобного обывателя... откровенно ненавидит русский народ... мелкое, никчемное, подленькое рукоделие... злобствующий литературный сноб...".

В этот же день собралась "стихийная" демонстрация против Б.Л. Стихия эта готовилась очень тщательно и под большим нажимом руководства литинститута. Директор заявил, что отношение к Пастернаку будет лакмусовой бумажкой для проверки каждого из студентов. Требовалось: пойти на демонстрацию и подписать письмо в "Литературку" против Пастернака. Ира рассказывала:

"Это письмо собрало что-то немногим более ста подписей, в то время как в институте было более трехсот студентов. Собирающие подписи ходили по общежитию. Девчонки наши отсиживались в уборной, на кухне, делали вид, что их нет дома. Моя подружка Далька попросту выгнала их из своей комнаты, но не все могли себе это позволить".

Ирины друзья — Панкратов и Харабаров — рассказывали нам о демонстрации. Заводилами были литераторы В.Фирсов и Н.Сергованцев. Несмотря на все их усилия и угрозы парткома, собралась всего жалкая кучка — несколько десятков человек. Они отправились к Союзу писателей с плакатами. На одном из них была нарисована карикатура на Б.Л., который скрюченными пальцами тянется к мешку с долларами. "Иуда — вон из СССР" — было написано на другом. Плакаты поставили у забора. Вышел Воронков. Ему вручили письмо (опубликованное затем в "Лит. газете" за 1 ноября под заголовком "Позорный поступок") и сказали, что поедут "продолжать демонстрацию в Переделкино к даче Пастернака".

Воронков сказал, что он ценит их чувства, что соответствующее решение будет в ближайшие дни принято, так что им ехать в Переделкино не нужно и демонстрацию можно сворачивать...

На следующий день в воскресенье двадцать шестого октября все газеты полностью перепечатали материалы “Литературки”. Были, конечно, и новые — огромная (в полполосы) статья Д.Заславского “Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка”. Это тот самый Заславский, которого в свое время как нельзя лучше охарактеризовал В.И.Ленин: “... грязных господ Заславских...”, “таких негодяев, как ... Заславские...”, “... шантажистских наемных перьев (вроде Заславского и К)”, “... заведомого клеветника г-на Заславского”, и, наконец, “Надо точно, юридически отличить понятие сплетника и клеветника от разоблачителя” (см. ПСС т. 49, стр. 441, т. 34, стр. 91-93, т. 32, стр. 381).

Стало известно, что на следующий день (в понедельник) должно состояться какое-то объединенное заседание бюро, чтобы чинить суд и расправу над Б.Л.

Ира вспоминает:

“... Я очень обрадовалась, что Б.Л. не читает газет — эта чудовищная пошлость наверняка бы болезненно уязвила его, ранила бы, он не смог бы отнестись к ним так, как удавалось нам — с презрением и вчуже. Наверняка он принял бы близко к сердцу эту убогую грязь, мучительно и одновременно смешно оправдывался бы перед собой и всеми. Мне много раз приходилось, особенно в эти дни, видеть, что он не может разделить нашего иронического отношения к вещам почти идиотическим. Например, кто-то рассказал ему в эти дни, думая позабавить, подслушанный в метро разговор двух баб: "Что ты на меня кричишь? — говорила одна баба другой, — что я тебе, Живага какая-нибудь, что ли?" Пересказывая это нам потом, Б.Л. для виду очень веселился, но я, например, чувствовала — а в эти дни способность сочувствия была как-то необыкновенно обострена — чувствовала, что он при этом страдает... С Панкратовым и Харабаровым мы поехали в Переделкино. Было уже совершенно ясное ощущение, что начинается травля, начинается охота за ведьмами, неизвестно чем все это кончится, но во всяком случае наша роль во всей этой истории определилась. И вот с

этими моими друзьями, такими запуганными и трепещущими, но и переполненными желанием помочь, мы поехали в Переделкино и пришли на дачу к Кузьмичу, где находился в это время Борис Леонидович. Он был очень бодр, но не особенно обрадовался приезду каких-то лишних людей, ему хотелось побыть одному. Мы пошли провожать его к даче. У него было настроение "испить чашу страданий до дна". Ведь неизвестно было тогда, чем кончится вся эта история — только пять лет отделяло нас от сталинских расправ...

Очень ощущалось одиночество Б.Л., переносимое им с огромным мужеством. Он был тогда еще в обычном своем костюме — в кепке, плаще и резиновых сапогах — мы с мамой очень любили этот его облик; в последующие дни, когда начались поездки в высокие инстанции, он утратил свой обычный вид: это явно было для него что-то из ряда вон выходящее — он надевал парадный костюм, пальто, шляпу.

Мы проводили его до трансформаторной будки, откуда ему сворачивать на свою дачу и остановились. У кладбища перекликались электрички. Панкратов прочитал стихи:

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Борис Леонидович как-то встрепенулся, поблагодарил за приезд этих ребят, вытащил клетчатый платок и, почти заплакав, пошел домой...".

Нам говорили, что Белла Ахмадулина и многие молодые вокруг нее (и кроме нее) сочувствуют Б.Л. и хотят как-то помочь ему, но не решаются приблизиться, потревожить его, не знают, как выказать свою любовь, сочувствие, поддержку. Панкратов и Харабаров через знакомство с Ирой в этом больше преуспели, и какую-то моральную поддержку Б.Л. оказали. Но в нее попала ложка дегтя. Борис Леонидович так об этом рассказал Евгению Евтушенко.

— Были у меня Юра и Ваня, сказали: если не подпишут письмо Фирсова с требованием высылки меня из России, — их исключат из института. И спросили —

как быть? Ну что вы, ответил я, — какое это имеет значение, пустая формальность — подпишите. И, выглянув в окно, увидел, что они побежали вприпрыжку, взявшись за руки. Какая странная молодежь, какое странное поколение. В наше время так было не принято.

Да, я видела — этот поступок Б.Л. не смог душевно принять, как не мог он принять никакое предательство.

Марк Твен говорил, что человека допускают в церковь за то, что он верит, и изгоняют за то, что он знает.

Вот и пришло время изгонять Борю из церкви: он — знал.

Он нарушил основное правило эпохи — не замечать реальности. И узурпировал право руководящих лиц на слово, на мысль, на собственное суждение.

— Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности, — сказал Сурков в беседе с Н.Мандельштам.

Во все времена гений был опасен тем, что открывал истину.

Еще Пушкин 26 января 1837 года (в канун роковой дуэли) писал графу Карлу Федоровичу Толю: "Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя...". Вот почему диктаторы не могут простить поэтам их морального превосходства, их "драгоценного сознания поэтической правоты":

> "Каждый озабочен проверкой себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине".

“МЫ ПОИМЕННО ВСПОМНИМ ВСЕХ, КТО ПОДНЯЛ РУКУ”*

“Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа” (Генрих Гейне). Вот и наступил день Бориной Голгофы. Это было в понедельник двадцать седьмого октября. На двенадцать часов дня для рассмотрения “дела Пастернака” было назначено объединенное заседание президиума правления ССП, бюро оргкомитета СП РСФСР и президиума правления Московского отделения ССП.

С самого утра Б.Л. приехал из Переделкина на Потаповский. Туда пришел Кома Иванов**, были, конечно, и Ира и Митя. Сразу же возник вопрос — идти ли на расправу.

Помнится, Кома первый сказал — ни в коем случае не надо. Он очень любил Б.Л., берег его и помогал изо всех сил. Кому поддержали все. Б.Л. согласился, но попросил позвонить Воронкову и предупредить, что не приедет, а сам пошел в соседнюю комнату написать объяснительное письмо на имя заседания. Кома пошел звонить почему-то в соседнюю квартиру и сообщил, что письмо “привезет Иванов”. К тому времени, когда он вернулся, из соседней комнаты вышел Боря с исписанными карандашом листками своего письма заседанию. Это было своеобразное письмо-тезисы, написанное без дипломатии, без каких бы то ни было уверток или уступок — на едином дыхании.

Мы все, конечно, преступники, что не переписали это письмо и не сохранили его текст.

Я воспроизведу эти тезисы частично по памяти, частично по записям тех, кто слушал их на заседаниях 27 и 31 октября.

---

* А.Галич “Памяти Пастернака”.

** Вячеслав Всеволодович Иванов (сын писателя Всеволода Иванова) — литератор и ученый-филолог, которого я по старой памяти буду называть дружески кратко (как в те годы) — Кома.

"1. Я получил ваше приглашение, собирался туда пойти, но, зная, что там будет чудовищная демонстрация, отказался от этой идеи...

2. Я и сейчас еще верю, что можно написать роман "Доктор Живаго", оставаясь советским писателем, тем более, что он был закончен в период опубликования романа В.Дудинцева "Не хлебом единым", что создало впечатление оттепели, другой обстановки...

3. Я передал рукопись романа "Доктор Живаго" итальянскому коммунистическому издательству и ждал цензурованного перевода. Я согласен был выправить все места...

4. Дармоедом себя не считаю...

5. Самомнения у меня нет. Я просил Сталина позволить мне писать как умею...

6. Я думал, что "Доктора Живаго" коснется дружеская рука критика...

7. Ничто меня не заставит отказаться от чести быть лауреатом Нобелевской премии. Но деньги я готов отдать в фонд Совета мира...

8. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что вам угодно. Но прошу вас — не торопитесь. Ни счастья, ни славы вам это не прибавит".

Мы молча выслушали. Только Кома сказал в своей обычной манере:

— Ну что ж, это очень хорошо!

Кто-то посоветовал исключить упоминание о Дудинцеве, но напрасно.

Кома с Митей отвезли на такси письмо к началу заседания.

И вот — "Литературная газета" N 129 от 28 октября 1958 г.

Огромными буквами заголовок: "О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя".

И шрифтом помельче: "Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР".

И далее — две колонки постановления.

"... эти действия... направлены против традиций русской литературы, против народа, против мира и социализма... стал орудием буржуазной пропаганды... оболгать все прогрессивные и революционные движения... присоединился к борьбе против поступательного движения истории... непомерное самомнение автора при нищете мысли является воплем перепуганного обывателя, обиженного и устрашенного тем, что история не пошла по кривым путям, которые он хотел бы ей предписать... порвал последние связи со своей страной и ее народом... одни и те же силы организуют военный шантаж против арабских народов, провокации против народного Китая и поднимают шум вокруг имени Б.Пастернака... отщепенец... учитывая... его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны... лишают Б.Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР".

Присутствовали: Г.Марков, С.Михалков, В.Катаев, Г.Гулиа, Н.Зарян, В.Ажаев, М.Шагинян, М.Турсун-заде, Ю.Смолич, Г.Николаева, Н.К.Чуковский, В.Панова, М.Луконин, А.Прокофьев, А.Караваева, Л.Соболев, В.Ермилов, С.Антонов, Н.Грибачев, Б.Полевой, С.С.Смирнов, А.Яшин, П.Нилин, С.В.Смирнов, А.Венцлова, С.Щипачев, И.Абашидзе, А.Токомбаев, С.Рагимов, Н.Атаров, В.Кожевников, И.Анисимов.

Все они, как сообщила газета, "... единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем".

В редакционной заметке "Единодушное осуждение" рассказывается, что председателем собрания был Н.С.Тихонов — тот самый "Коля" Тихонов, который 29 августа 1934 г. с трибуны Первого съезда писателей говорил:

"Труднейшая скороговорка Б. Пастернака, этот обвал слов, сдержанных только тончайшим чувством меры, этот на первый взгляд темный напор, ошелом-

ляющий читателей и отпугивающий их, чудесной силой мастерства вызвал к жизни новые утверждения:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу как в ересь
В неслыханную простоту...".

В былые годы Б.Л. подарил Илье Сельвинскому превосходный свой портрет кисти отца — Леонида Пастернака. Еще совсем недавно Сельвинский публично благодарил:

... всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака .

И вот теперь, в критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты письмо:

"Ялта, 24.X.1958.

Дорогой Борис Леонидович!

Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин — так что Вы в неплохой, как видите компании.

Однако ситуация с Вашей книгой сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас — nihil, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но все же беру на себя смелость сказать Вам, что "игнорировать мнение партии", даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое пусть не очень точное, но хотя бы "точноватое" политическое чутье.

Обнимаю Вас дружески. Любящий Вас

Илья Сельвинский".

Это письмо было лишь первой снежинкой в стремительной лавине писем, вдруг обрушившейся на нас со всего света и не утихавшей до самой Бориной смерти.

Написав письмо Б.Л., Сельвинский не успокоился: вдруг оно останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с В.Б.Шкловским, Б.С.Евгеньевым (зам. гл. ред. журнала "Москва") и Б.А.Дьяковым (зав. отд. худ. лит. изд-ва "Советская Россия") отправился в редакцию местной газеты:

"Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад — сказал И.Л. Сельвинский, — был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство"*.

"Пастернак выслушивал критику своего "Доктора Живаго", говорил, что она "похожа на правду" и тут же отвергал ее, — сказал В.Б.Шкловский. — Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился..." ("Курортная газета", 31 октября 1958 г. N 213).

---

* И на этом не успокоился Сельвинский: в "Огоньке" N 11 за 1959 г. он опубликовал стихотворение; после сентенций о плохом сыне, избитом матерью и пожелавшем отомстить ей дрекольем соседа, И.С. писал:

А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, и любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы родину поставили под свист?

С ПЕТЛЕЙ У ГОРЛА

Нас начали преследовать почти сразу после опубликования романа в Милане в ноябре 1957 года, то есть еще задолго до публичной истерики, разразившейся немедленно после присуждения Б.Л. Нобелевской премии. Об одном из первых полуофициальных разбирательств я уже писала в главке "Наш или чужой?". Да и газеты, хотя и не вели активной травли Б.Л. (как в период скандала), но тоже не молчали. Например, в "Литгазете" N 108 от 9 сентября 58 г. в статье "Голоса жизни" критик В.Перцов писал: "... религиозные эпигонские стихи Пастернака, от которых несет нафталином из символистского сундука образца 1908-1910 годов..." (это — об Евангельском цикле стихов Б.Л.!).

Но преследователям с самого начала было ясно, что поскольку все журналы, все издательства, короче говоря, вся работа, все находится в руках государства, таких интеллигентиков, как мы, проще всего удушить голодом. И потому после выхода в мир романа нам начали присылать извещения о том, что тот или иной договор на переводы расторгнут. Ко времени, когда мы узнали о Нобелевской премии и разразился публичный скандал, я уже лишилась работы совершенно, а у Бори остался не расторгнутым один, кажется, договор на перевод стихов и пьесы "Мария Стюарт" Юлиуша Словацкого. Чем было жить — непонятно.

Вместе с тем казалось, что какая-то твердая линия принята — премия заслужена и ее надо получать — и отступать ни при каких случаях нельзя.

Но вот под вечер (насколько помню, это было в среду, 29 октября) на Потаповский, где мы все собрались, приезжает Б.Л., такой парадный, и заводит странный разговор. Вот теперь, — говорит он, — когда первая реакция на премию прошла, когда все их планы основаны на факте ее присуждения, он возьмет и именно сейчас откажется от премии — вот интересно, какая у них будет реакция...

Я ужасно разозлилась: когда какой-то курс уже взят, когда у них там настрой какой-то уже существует...

— Да, — говорит Боря, — и телеграмму все тому же Андерсу Эстерлингу в Стокгольм я уже отправил. — И показывает нам копию телеграммы:

> "В связи со значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ...".

Как и в случае с первой (благодарственной) телеграммой мы оторопели. Это было в его манере — сперва сделать, а уже потом сообщать и советоваться.

Кажется, только Ариадна сразу же подошла к нему, поцеловала и сказала:

— Вот и молодец, Боря, вот и молодец. — Разумеется, не потому, что она действительно так думала, но просто дело было сделано, и оставалось только поддержать БЛ.

Но на этом сюрпризы, как оказалось, еще не кончились. Одновременно с телеграммой в Шведскую Академию Боря направил телеграмму и в Цека. Копии ее не сохранилось, но смысл был таков:

"От Нобелевской премии отказался. Верните работу Ольге Ивинской."

Когда я пытаюсь теперь одним взглядом окинуть всю эту эпопею, мне начинает казаться, что отказ от премии не был одобрен никем из власть имущих, в том числе и Поликарповым. Не того они добивались, не тот у них был настрой. Огромная сумма в валюте не была бы лишней для государства. И не отказа от нее хотели они, а чего-то другого.

Только позднее я поняла, что этим "другим" было унижение поэта, его публичное покаяние и признание своих "ошибок"; и, следовательно, торжество грубой силы, торжество нетерпимости. Но Б.Л. для начала преподнес им сюрприз по-своему.

Между тем, тучи над головой сгущались. Нагнетала тревогу грубая слежка — какие-то подозрительные личности шли по пятам, куда бы мы ни направлялись. Работали они крайне грубо — даже переодевались в женское платье, разыгрывали "народное веселье" с танцами на нашей лестничной площадке на Потаповском. Я узнала, что и на даче нашей где-то вставлен магнитофон.

— Здравствуй, магнитофоша! — говорил, низко кланяясь стене Б.Л., и вешал свою кепку на гвоздь рядом с тем местом, где, как потом выяснилось, действительно этот магнитофон и был поставлен.

Боря не верил в его существование, но все равно создалось чувство всеобъемлющего преследования, так что говорили мы большей частью шепотом, опасаясь всего на свете, и косились на стены — и те казались враждебными нам. Многие тогда покинули нас.

Еще за два дня до отказа Б.Л. от премии (то есть в понедельник 27 октября), мы с Ариадной пошли к Банникову. После этого визита у нас обеих сложилось твердое впечатление, что он струсил и отмежевался от нас с Б.Л., был явно недоволен тем, что мы пришли к нему. Когда вышли, Ариадна без конца меня ругала — зачем было ходить? В Потаповском увидели, что филеры (некоторых мы уже знали в лицо) торчат у нашего подъезда. Тогда я решила, что надо спасать письма и рукописи, а кое-что сжечь.

Я предупредила Борю, когда он мне позвонил, что приеду в Переделкино на следующий день. И вот, назавтра, вдвоем с Митей мы захватили сумки с рукописями и письмами и увезли их к Кузьмичу. Почти тотчас после нашего приезда вошел Б.Л. и с порога прерывающимся голосом:

— Лелюша, я должен тебе сказать очень важную вещь, и пусть меня простит Митя. Мне эта история надоела. Я считаю, что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступаться нельзя. Если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо, давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоем, и вот так нас вдвоем пусть и найдут. Ты когда-то говорила, что если принять одиннадцать таблеток нембутала, то это смертельно; вот у меня двадцать две таблетки. Давай это сделаем. Ведь Ланны * же сделали так! А “им” это очень дорого обойдется... Это будет пощечина...

---

* За несколько дней до этого я рассказала Б.Л. о страшном самоубийстве супругов Ланн. Ланн — Евгений Львович Лозман (1896-1958) — литературовед, автор романа "Старая Англия" и книг о М.Волошине, Д.Конраде, Ч.Диккенсе. "Мучительный и восхитительный человек!... Его стихи мне совершенно чужие, но — как лавина!" (М.Цветаева).

Митя, воспитанный мальчик, краем уха почуяв чрезвычайный разговор, немедленно покинул комнату. Боря выбежал и задержал его:

— Митя, не вини меня, прости меня, мальчик мой дорогой, что я тяну за собой твою маму, но нам жить нельзя, а вам будет легче после нашей смерти. Увидите, какой будет переполох, какой шум я им наделаю. А нам уже довольно, хватит уже всего того, что произошло. Ни она не может жить без меня, ни я без нее. Поэтому ты уж прости нас. Ну, скажи, прав я или нет?

Митька, помню, был белый как стенка, но стоически ответил:

— Вы правы, Борис Леонидович, мать должна делать как вы.

Послав Митьку за корзиной щепок, я бросилась к Боре:

— Подожди, давай посмотрим на вещи со стороны, давай найдем в себе мужество еще потерпеть... трагедия еще может обратиться фарсом... Ведь наше самоубийство их устроит — они обвинят нас в слабости и неправоте и еще будут злорадствовать! Ведь ты веришь в мое шестое чувство — так давай я еще попробую сходить и выяснить — чего еще они от тебя хотят и как они поступят с тобой дальше. Только не спрашивай, куда я пойду, — я этого еще сама не знаю. А ты иди спокойно, сядь в своем кабинете, успокойся, попиши. Я выясню ситуацию, и если можно будет над ней посмеяться, то лучше посмеяться и выиграть время... А если нет, если я увижу, что действительно конец — я тебе честно скажу... тогда давай кончать, тогда давай нембутал. Но только обожди до завтра, не смей ничего без меня!

Перечитываю эти слова и удивляюсь их бледности, неубедительности, беспомощности. Вероятно, тогда я инстинктивно нашла какие-то непередаваемые интонации, чтобы убедить его. И он сдался.

— Хорошо, ты там ходи сегодня, где хочешь, и ночуй в Москве. Завтра рано утром я приеду к тебе с этим нембуталом и будем решать — я уже ничего не могу противопоставить этим издевательствам.

На этом мы расстались. Боря пошел по дорожке к даче и, оборачиваясь, махал рукой нам вслед.

А мы с Митькой шлепали по непролазной грязи в противоположную сторону — к Федину. Скажи я тогда,

к кому собираюсь идти, — ни за что бы Б.Л. меня не пустил...

Было слякотно, грязно, рыжее месиво кипело на дорогах. С неба сыпалась какая-то отвратительная осенняя крупа. Вспоминалось Борино:

> "Был темный дождливый день в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней".

Насквозь промокшие, грязные, помятые вступили мы с Митькой в холл благоустроенной фединской дачи. Дочь Федина Нина долго не пускала нас, объясняла, что отец ее болен и никого не принимает.

— Я — Ивинская, и он будет жалеть, что не увидел меня сейчас, — наконец сказала я.

Но в это время на лестничной площадке с возгласом: "Сюда, сюда, господи Боже мой, Макарчик, сюда", — появился Константин Александрович. (Как-то, когда мы отдыхали с ним в одном и том же известинском санатории "Адлер" он стал называть меня "Макарчиком", потому что при всякой неудаче я говорила: "На бедного Макара все шишки валятся"). Но вдруг спохватился, стал официальным и повел меня в свой кабинет.

Я рассказала, что Б.Л. на грани самоубийства, что он только сейчас предлагал мне этот исход:

— Б.Л. не знает, что я здесь, — добавила я. — Вы старый его товарищ, интеллигентный человек, вы понимаете, что среди всего этого шума и гама ваше слово для него будет важно. Так скажите мне — чего от него сейчас еще хотят? Неужели и впрямь ждут, чтобы он покончил с собой?

Федин подошел к окну, и мне тогда показалось, что в его глазах стояли слезы.

Но вот он обернулся:

— Борис Леонидович вырыл такую пропасть между собой и нами, которую перейти нельзя, — сказал он с каким-то театральным жестом. И после короткой паузы совсем другим тоном:

— Вы мне сказали страшную вещь; сможете ли вы ее повторить в другом месте?

— Да хоть у черта в пекле, — отвечала я. — Я и сама умирать не хочу, и тем более не хочу быть свиде-

тельницей смерти Б.Л. Но ведь вы же сами подводите его к самоубийству.

— Я прошу вас обождать. Я сейчас позвоню, и вы встретитесь с человеком, которому расскажете все, о чем говорили сейчас мне. — И он стал звонить все тому же злосчастному Поликарпову. — Вы завтра сможете подъехать в Союз в три часа? Вас примет Дмитрий Алексеевич, но уже не в ЦК, а как писатель — в Доме литераторов.

— В Союз, в КГБ, или в ЦК, это, — говорю,— мне безразлично: я буду.

— Вы же сами понимаете, — напутствовал меня К.А. — что должны его удержать, чтобы не было второго удара для его родины.

Я поняла, что они не хотят этого самоубийства. Наследив Федину на чистый паркет, мы с Митькой удалились.

Знаю, что позже Федин мой приход и разговор с ним называл авантюристическим выпадом. Я же говорила с ним, движимая тем шестым чувством (его так хорошо понимала Ариадна), которое у меня всегда возникало, когда Б.Л. грозила опасность. На взгляд посторонних я иногда делала какие-то несусветные глупости, но они диктовались чувством самосохранения, и они на самом деле охраняли Борю. Здесь нужно было мне верить.

Когда утром следующего дня (в среду) Б.Л. приехал на Потаповский, я встретила его словами:

— Ты можешь меня убить, но я была у Федина.

— Зачем, только не у Федина, не у Кости Федина, который даже улыбку надевает на себя, — отвечал Боря. Оказывается, накануне он долго говорил с Корнеем Чуковским, немного подбодрился и успокоился.

— Давай посмотрим, что будет дальше!

И мы решили смотреть и ждать...

Б.Л. завез меня на такси в Дом литераторов, где я должна была встретиться с Поликарповым, а сам поехал в Переделкино.

Поликарпов меня уже ждал.

— Если вы допустите самоубийство Пастернака, — говорил он, — то поможете второму ножу вонзиться в спину России (ох уж эти ножи!). — Весь этот скандал

должен быть улажен, и мы его уладим с вашей помощью. Вы можете помочь ему повернуться к своему народу. Если только с ним что-нибудь случится, моральная ответственность падет на вас. Не обращайте внимание на лишние крики, будьте с ним рядом, не допускайте нелепых мыслей...

На мой вопрос — что же конкретно делать, Д.А. в довольно туманных выражениях дал понять, что Б.Л. "должен сейчас что-то сказать". Казалось бы, от премии он отказался — чего же большего от него ждут? Но ясно было, что ждут. На следующий день я поняла — чего. А пока разговор с Поликарповым меня как-то успокоил.

Я уже всей кожей ощутила близость нашей смерти и, когда поняла, что "они" ее не хотят — на сердце отлегло...

В сравнительно хорошем настроении я помчалась в Переделкино. Мы великолепно поговорили с Борей; я старалась с юмором пересказать свое свидание с вождем.

— Надо обязательно посмотреть, что будет дальше, непременно будем смотреть, — так мы решили.

И я поехала опять в Москву — нужно было успокоить детей, поговорить с Ариадной, Старостиным. Боря без конца звонил мне из Переделкинской конторы. Я была усталая, не выспалась за несколько ночей, все это наложило какой-то странный отпечаток на все происходящее. Под вечер мечтала подремать, попросила детей меня не будить.

И тем не менее вскоре Митька меня растолкал:

— Мать, Ариадна Сергеевна просит обязательно подойти.

— Сплю, — отвечала я. — Какого черта? — Но все же подошла.

— Ну, как ты там? — спросила она сердито. — Рано ты спать легла!

Когда я огрызнулась, что могла и устать, она пояснила:

— Включи-ка сейчас телевизор.

Выступал со своей речью Семичастный: "... паршивую овцу мы имеем... в лице Пастернака... взял и плюнул в лицо народу... свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ел... Пусть он стал бы действительно эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай..."

Опять завертелось! Значит — надо опять действовать, надо советоваться, надо что-то предпринимать, надо защищаться.

Б.Л. прочитал милые эти высказывания на следующий день в "Комсомольской правде". И тут на короткое время встал перед нами вопрос — а не ехать ли, раз гонят, впрямь? Первой высказалась Ира:

— Надо поехать, — заявила она храбро, — можно поехать!

— Может быть, может быть — поддержал ее Б.Л., — а вас я потом через Неру вытребую. — В то время до нас дошли слухи, будто Неру заявил о своей готовности предоставить политическое убежище Пастернаку.

— А может быть, давай уедем? — вдруг предложил он мне. И сел за письмо правительству.

Б.Л. писал, что, поскольку его считают эмигрантом, он просит отпустить его, но при этом не хочет "оставлять заложников" и потому просит отпустить с ним и меня, и моих близких.

Написал, порвал письмо и сказал мне:

— Нет, Лелюша, ехать за границу я не смог бы, даже если бы нас всех отпустили. Я мечтал поехать на Запад как на праздник, но на празднике этом повседневно существовать ни за что не смог бы. Пусть будут родные будни, родные березы, привычные неприятности и даже — привычные гонения. И — надежда... Буду испытывать свое горе.

Да, это было лишь минутное настроение, а серьезно вопрос "ехать ли" не стоял. Б.Л. всегда ощущал себя русским и по-настоящему любил Россию.

МОЯ ВИНА

Тридцатого октября утром я поехала в Лаврушинский переулок в "Авторские права" — посоветоваться с Г.Б.Хесиным. Хесин всегда казался нам интеллигентным, приятным. Думалось, что он прекрасно относится к Б.Л., да и ко мне. Когда я приезжала по делам в "Авторские права", Григорий Борисович целовал мне руку, усаживал в кресло, расспрашивал, весь — доброжелательность и сплошная готовность к услугам.

Увы, на этот раз, когда я больше всего нуждалась в совете и поддержке, Хесин окатил меня ледяным душем. Это был холодный, чопорный, сжатый, чужой человек. Корректно поклонившись, он выжидающе на меня уставился.

— Григорий Борисович, я приехала к вам за поддержкой, скажите, ну что нам делать? Вот была я вчера в Союзе, там волновались за Б.Л., говорили мне быть неотступно при нем; я даже успокоилась, как вдруг — это ужасное выступление Семичастного; что же нам делать?

— Ольга Всеволодовна, — почему-то очень громко и четко выговаривая каждое слово, начал Хесин, — теперь советовать вам мы уже больше не сможем. Я считаю, что Пастернак совершил предательство и стал пособником холодной войны, внутренним эмигрантом. Некоторые вещи ради своей родины нельзя прощать. Нет, советовать тут я вам ничего не могу.

Потрясенная метаморфозой Хесина, я вскочила и, не попрощавшись с ним, вышла в коридор, хлопнув дверью. Невидящими глазами уставилась в вестибюле на какую-то стенгазету с юмористическими картинками, хотела успокоиться, собраться с силами. И почти тотчас же за моей спиной раздался молодой, приятный голос:

— Ольга Всеволодовна, ради Бога обождите! Я так боялся, что Вы ушли.

Это был один из молодых адвокатов. У него было нежное девическое лицо, невинные глаза, словом, вполне подкупающая внешность. Звали его Зоренька.

— Я всеми силами хочу вам помочь, — говорил Зоренька, — для меня Борис Леонидович святой! Вы сейчас не очень хорошо понимаете обстановку. Давайте условимся, где нам можно встретиться и все обсудить.

Обрадованная этой нежданной помощью, я дала мамин адрес в Собиновском переулке и попросила Зореньку приехать туда через два часа.

Он был точен.

— Помните, что я люблю Бориса Леонидовича и знайте, что для меня это святое имя, — начал он свою речь на Собиновском; (ну как я могла ему не поверить?) — но время не терпит! Я только одно могу вам посоветовать: надо писать письмо на имя Хрущева, иначе его могут из страны выслать, хотя он и отказался

от премии. Текст этого письма я помогу вам выработать сейчас же.

Через много лет я прочитала: "Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его первый стук бывает не громче твоего сердца — и только избранное ухо успевает его различить". Это был подобного рода миг. Но я его не различила...

В страхе перед возможностью вынужденной эмиграции (что Б.Л., с его любовью к многолетнему укладу, несомненно убило бы) я попросила нашего доброжелателя сочинить черновик письма к Хрущеву, а сама бросилась звонить на Потаповский Ире, чтобы она собрала ближайших друзей.

И вот сидят в столовой на Потаповском Ира, Митя, Кома, Ариадна. Мы на все лады обсуждаем проект этого письма. У меня шумело в ушах; что-то долго говорила Ариадна; потом Ира настаивала, что не надо посылать это письмо, не надо каяться ни в какой форме.

Теперь ясно, что такая позиция была единственно правильной. Но тогда все выглядело иначе. Даже для меня авторитетные люди, например, Александр Яшин и Марк Живов усиленно советовали обратное. И самое главное — стало уже страшно: погромные письма, студенческая демонстрация, слухи о возможном разгроме дачи, грязная ругань Семичастного с угрозами выгнать "в капиталистический рай" — все это устрашало, заставляло призадуматься. А я просто боялась за жизнь Б.Л.

Надо отступать, и мне ясно показалось — иначе нельзя! Я решилась. Мы переписали текст, припасенный Зоренькой, стараясь выдержать тон Пастернака. Ира с Комой поехали в Переделкино за подписью Б.Л.

Сейчас это выглядит дико — мы составили такое письмо, а Б.Л. еще не догадывался о его существовании; но тогда мы торопились, нам все в этом бедламе казалось нормальным.

Б.Л. подписал письмо, внес одну лишь поправку в конце. Он подписал еще несколько чистых бланков, чтобы я могла исправить еще что-нибудь, если понадобится. Была еще приписка красным карандашом: "Лелюша, все оставляй как есть, только если можно, напиши, что я рожден не в Советском Союзе, а в России".

После этого письмо приобрело следующий вид:

"Уважаемый Никита Сергеевич,

Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство "не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР".

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

Б. Пастернак .

Этой же ночью Ира с Ниной Игнатьевной* повезли письмо на Старую площадь в ЦК. Сдали его в окошечко, из которого, как рассказывала Ира, на нее с большим интересом воззрились офицер и солдат.

Итак, иезуитская хитрость наших преследователей удалась полностью: предложение покаяться, выдвинутое в лоб — было бы с негодованием отвергнуто; но когда "поклонник и доброжелатель" дал этот совет, а мы все

---

* Нина Игнатьевна Бам — вдова известного советского литературоведа С.Ромова, в 1937 г. незаконно репрессированного. В 1946 г. в Москве вышла книга "Воспоминания" А.С.Аллилуевой (сестры жены И.Сталина) в литературной редакции Нины Бам. Летом 1955 года Нина Игнатьевна, желая познакомиться с близким Борису Леонидовичу человеком, пришла с одной нашей общей знакомой в Переделкино ко мне.

его поддержали и "освятили" по сути навязанный нам текст письма — все получилось.

В дни присуждения Нобелевской премии другому русскому писателю — Александру Солженицыну — я заново переживала те страшные дни конца октября теперь уже далекого пятьдесят восьмого года. И особенно остро поняла нашу нестойкость, быть может даже глупость, неумение уловить "великий миг", который обернулся позорным.

Да, сейчас уже не поймешь, чего больше было в отказе от премии — вызова или малодушия.

И если уж искать оправданий (а их, пожалуй, нет), то можно вспомнить, что Солженицын в момент присуждения премии был почти на двадцать лет моложе Б.Л. и прошел (наверное — как никто в мире) сквозь тройную закалку: четыре года фронтовой жизни, восемь лет каторжных концлагерей и раковую болезнь.

С ним ли можно равняться типичному "мягкотелому интеллигенту" Борису Пастернаку? Счастье еще, что он умер у себя в постели, а не на случайной трамвайной остановке, как Юрий Живаго...

Не надо было посылать это письмо. Не надо было! Но — его послали. Моя вина.

"ПОБЕДА ПУТЕМ ОТКАЗА"

Да, "моя вина", и я не могу оставаться равнодушной, когда ее перекладывают на плечи самого близкого мне человека. Это — неразумно и попросту несправедливо. А происходят такие несправедливости не так уж редко. И я хочу ненадолго отвлечься от последовательного изложения перипетий "Романа вокруг романа", чтобы рассказать об одной из таких несправедливостей, особенно обидной для памяти о Пастернаке и происшедшей уже в начале семидесятых годов.

Однажды, весенней холодною ночью я выехала в Москву из Ленинграда, и, ввиду заботливости моих ленинградских друзей, посчастливилось — билет мне до-

стали на “мяконькую” “стрелу”, как между нами величался этот почти недоступный для рядовых советских граждан поезд. Купе в международном вагоне, как известно, только двухместные, удобства — соответственные: лампы на столиках, комфорт, ресторан.

Через стекло вагона за десять минут до отъезда я перешучивалась с провожающими. Для полного счастья мне не хватало только соседки-"бабы". Мы бы с ней спокойно облачились в халаты, кремом носы помазали, почитали и выспались. Но тут Бог рассудил иначе. Из дверей моего купе, где мне предстояло блаженствовать, были видны затылки двух мужчин. Один из них, по всему видать, провожал. Лысина другого сияла из глубины слабо освещенного бархатного логова.

Несколько расстроенная, я пошла по коридору, заглядывая в другие двери. Искала даму, предложить обменяться. Но увы — привилегированный вагон должен был доставить в Москву только высокопоставленных мужчин. Я попрощалась с моими ленинградцами и подождала, пока из моего купе не выйдет провожающий.

Извиняясь передо мной за задержку, тот вышел в последнюю минуту, со скрипкой в футляре в руках.

Навстречу мне поднялся высокий человек в расстегнутой мятой сорочке, со свернутым набок галстуком. За его спиной открылся столик, бутерброды с черной икрой на газете, недопитые стаканы, лежащая на боку бутылка из-под шампанского.

У моего будущего спутника оказалось молодое, несмотря на почтенную лысину, милое лицо, слегка выпяченная, капризная нижняя губа и детские, как принято говорить — “чистые” — серые глаза.

Встретил он меня по-домашнему, как старую знакомую, случайно заставшую его врасплох.

— Ради Бога извините, — бормотал он, снимая с меня пальто. — Мы тут с товарищем поужинать не успели, прямо с его выступления. Он, знаете, очень хороший музыкант. Публика его тепло принимает. Еле успели, так уже тут и пришлось закусить... Шампанское здесь в буфете есть. Хотите?

— Я, наоборот, очень хорошо поужинала, — сказала я с тайной досадой. Ясно вижу — такой скоро не угомонится, и на даму поменять его мне, совершенно очевидно, не удастся. Я разложила вещи, вынула

журнал, где с продолжениями была напечатана повесть известного советского автора.

— Как это вы можете читать такую чепуховину? Я и в руки такие журналы не беру. Все заранее ясно!

Так завязался наш литературный разговор.

— Я, например, из современных могу читать только тех, кого сейчас не печатают, — задорно заявил мой спутник.

— Ну, например? — спросила я.

— Да вот, например, Солженицына! Считаю его выше Толстого. А вы не признаете его, небось? не положено? Последних вещей — не читали?

Спутник мой явно задирался, но когда я заверила его, что вовсе не оспариваю достоинств Солженицына и уважаю его литературное место, он радостно вскочил.

— Ну знаете, по этому поводу мы с вами должны выпить, пойду посмотрю, что там есть, — с этими словами новый знакомый удалился в ресторанный буфет, а обратно явился с такими же бутербродами с икрой и с бутылками шампанского в обеих руках.

— Меня зовут Слава, — отрекомендовался он. — Давайте уж сразу познакомимся — все равно теперь уж мы друг друга не потеряем. Правда?

— Конечно, правда! — отвечала я. Слава этот очень мне понравился. Сразу он как-то открывался: порывистый, чистосердечный, доверчивый. Мнения свои высказывать не стеснялся, но даже бравировал тем, что другие стыдливо скрывают, фактически может быть думая то же самое.

— А я еще вас на бабу хотела поменять, — созналась я, смеясь и чокаясь с ним гранеными вагонными стаканами.

— Ну вот еще, не вышел бы номер, я верю в судьбу.

Всю ночь мы не спали, разговаривая под шампанское про крамольную судьбу Солженицына, о людях, принимавших участие в нем. Мы и спорили, и даже ссорились. Теперь я вспоминаю, что "Слава" делал мне с самого начала нашей беседы прозрачные намеки, что это именно он и есть главный опекун опального писателя.

Но только к утру, когда прощались, на клочке бумажки, где написал свой телефон Слава, уже звавший меня нежно Оленькой, значилось: "Мстислав Леопольдович Ростропович" — и стало мне многое ясно. И свободное

высказывание мыслей, и признания, на которые он имел право без всякого труда — ему было все можно. Но как я, дура, не догадалась! Правда, виолончель ночевала в верхнем багажном отделении, но это, конечно, не оправдание. Думаю, что по моим репликам на некоторые свои тезисы спутник мой догадался, кто я. Когда мы касались судеб нобелевских лауреатов, мой оппонент высказывался гневно и определенно, явно отождествляя себя с Солженицыным.

— Это не тот человек, чтобы отказываться от себя, как Пастернак. Солженицын просто негодовал на позорное, трусливое его поведение, на это дурацкое письмо-отречение, которое позволил себе Пастернак! "Их" ведь не нужно бояться — покажешь, что боишься — и пропал! Эх, Оленька, если бы вы знали, как осуждал его Александр Исаевич! Нет! Александр Исаевич не жалкий интеллигент. Он действительно объявил войну за правду и сумел отстаивать ее! Готов был действительно на смерть за нее!

На это я, не сдерживая возмущения, отвечала, что все они забывают и о времени, когда произошла трагедия Пастернака, и о том, что теперь все последующие идут по пути, проторенному все-таки Пастернаком. Да, хорошо, что у Солженицына есть друзья и покровители, его поддержавшие.

А кто был у Пастернака? Тогда и молчать было геройством, а выступить за него означало "поддерживать холодную войну", идти за это на гражданскую смерть.

— Кто ж такие эти "друзья" Солженицына? — прищурился Слава.

— Ну, господи, Чуковский, Сахаров тот же...Ростропович, наконец...

Тут Слава просто разозлился.

— Ах, наконец, Ростропович?! Ишь ты! Конечно! А вы знаете, что Ростропович только один раз увидел его на вечере в Рязани и сразу пригласил его к себе жить? Что он все с ним разделял, и вот теперь добьется не только прописки его в Москве, но и разрешения на дачный дом! Он дойдет до верхов и ничего не побоится! А что сделал Сахаров?

Долго в запальчивости говорил Слава о дружбе Ростроповича и Солженицына. Но и тогда я не догадывалась, что со мной говорит именно сам Ростропович...

Помню, что я, с такою же злобой, обнажая явную свою причастность к отречению Пастернака и “позору” его, рассказала историю второго письма, написанного, вернее, вынужденно подписанного Б.Л. вследствие душевной усталости, от жалости к испуганным, обескураженным женщинам, дрожавшим за его жизнь... Да, он жалел, мучился, заботился о заложниках. Да и нечего сравнивать его с борцом Солженицыным, прошедшим лагерную школу, поборовшим даже рак! Да, подписывал письмо. Б.Л. защищал и успокаивал и все-таки оставил роман свой говорить за себя!

— Ну да... — задумчиво сказал Слава. — Это все, конечно, бабы... Эх, эти бабы! Ну, конечно, я представляю теперь все несколько иначе... Но Солженицын не пошел бы у баб на поводу...

Тут М.Л. долго рассказывал мне, как он сам провозил через ошеломленную его наглостью таможню запрещенные здесь книги своего любимого писателя и связанные с этим анекдоты...

Ему можно было все... Но чего он, собственно, добился?

Вскоре мне удалось получить кусочек записи Солженицына о Пастернаке — не то из дневника, не то из будущей автобиографической повести. Вот что, оказывается, записал в дневнике нынешний лауреат, прочитав в газете покаянное письмо Пастернака, то есть в то время, когда был еще безвестным учителем физики в рязанской средней школе, что не мешало ему уверенно размышлять о том, как он распорядится своей Нобелевской премией (сомнений в том, что он ее получит, у него, очевидно, не было):

“Я мерил его (т.е. Пастернака —*О.И.*) своими целями, своими мерками — и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих ”ошибках и заблуждениях", “собственной вине”, вложенной в роман, — от собственных мыслей, от своего духа отрекаться — только, чтоб не выслали? И “славное настоящее”, и “гордость за то время, в которое живу” и, конечно, “светлая вера в общее будущее” — и это не в провинциальном университете профессора секут, но — на весь мир наш

нобелевский лауреат? Не-ет, мы безнадежны! Нет, если позван на бой, да еще в таких превосходных обстоятельствах, — иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озверелым зэком".

Превосходно сказано! По форме; а по смыслу — поразительно несправедливо.

Несправедливо дважды: во-первых, потому, что не учтена ситуация и время, когда Пастернак своим романом решился на одно из самых волнующих в середине века сражений духа против насилия; во-вторых, потому, что совершенно не поняты мотивы подписания им двух покаянных писем.

Но вначале — о моральной обстановке, сложившейся к концу сорок шестого года, когда у Пастернака созрел план романа.

В августе этого года не только писатели — все думающие и что-то понимающие люди были потрясены постановлением о журналах "Звезда" и "Ленинград". Тон его исчерпывающе определялся такими фразами: "пошляк и подонок литературы Михаил Зощенко", "омерзительная вещь "Перед восходом солнца", "физиономия Ахматовой известна", "подозрительная рецензия Юрия Германа о творчестве Зощенко" и т.п.

В обстановке интеллектуального подавления, особенно тяжкого для творческой личности, в обстановке, когда "письменность и словесность... помогают не учить людей , а морочить заверениями, не более правдивыми, чем фразы "огонь не жжет" или "в море не утонешь", — Пастернак оставался самим собой и был в своем творчестве преисполнен "невиляющей верности фактам" и исторической правде.

Вопреки времени у него сохранилась беспредельная уверенность в своей внутренней свободе. Молодой литературовед из ФРГ Герд Руге впоследствии писал о Пастернаке: это — "самый свободный человек, с которым я когда-либо говорил".

Именно то, что в условиях творческой несвободы Б.Л. осуществлял не ограниченный догмой поиск правды, гармонии и красоты, делали его поистине трагически одинокой фигурой.

Разумеется, он был только писателем, а не политическим деятелем. Но, не считаясь ни с какими подлыми политическими мерками, Б.Л. не выбирал легких путей и не стремился завоевать себе расположение власть имущих. Он был далек от казенно-слащавых фраз о родине и партии, от безмерного бахвальства победами (реальными и мнимыми), которыми не брезговали многие его собратья по искусству.

Типичным из них был "восхитительный в своей откровенности циник", "ловкий рвач", обладавший "великим умением поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко" — Алексей Толстой (автор этих "лестных" определений — Иван Бунин).*

В самые тяжкие месяцы печально знаменитого тридцать седьмого года, в месяцы, когда по словам Ахматовой:

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных "марусь",

Алексей Толстой часто выступал по радио, писал в газетах, переживал происходящее "вместе с народом": он пел дифирамбы палачам и шельмовал их жертвы. Вот один только образчик его "гуманистической" деятельности, характерный для писательской и политической атмосферы тех времен:

"Ставрогин из романа Достоевского "Бесы"... прообраз тех из наших современников, у кого в душе...скепсис и двойная жизнь: на собраниях ли, на службе ли — "стопроцентный" гражданин; дома — облезлый волк, глядящий в лес... Это — бульон для троцкизма, предательства, шпионажа: ... всякий

* См. И.А. Бунин, Собр. сочинений, том 9, стр. 433, ГИХЛ, 1967.

гражданин, не любящий свою родину, — троцкист, диверсант и шпион"*.

И это при всем том, что совсем еще недавно о молодой советской власти он писал в Париж И.А.Бунину: "вся жизнь построена на песке, на политике, на авантюре, — революция была только заказана сверху".** Но проходит немного времени — и, встретив Бунина в Париже, уже советский Толстой хвастается: "У меня целое поместье в Царском селе, у меня три автомобиля..."***. Спустя год после этой встречи он защищает свое поместье и автомобили элементарно просто: поет хвалу террору против народа своей же страны; отождествляет любовь к родине с любовью к власть предержащим и грозит расстрелом всякому, кто от "любви" к этим властям отступится. А самое главное — целый народ свой объявляет "бульоном для шпионажа", призывает тем самым ко всеобщей подозрительности, доносительству, предательству — растлевает своих сограждан во имя собственного благополучия. Всякий сейчас может взять тринадцатый том сочинений Толстого и в полную меру насладиться его сказками о "бактериях в баночках", которые якобы разбрасывали в поездах "враги народа" и другими измышлениями, написанными по заказу. И писал это не хам какой-нибудь по недостатку способностей и образования, не быдло, а — граф российский.

Не очень-то отставали в каждоминутной демонстрации своего патриотизма, верноподданности и народности многие другие писатели.

На этом фоне линия поведения Пастернака поразительно контрастирует. Вспомните, как жена Б.Л., находясь в преддверии родов, валялась у него в ногах, умоляя не губить ее и ребенка — подписать письмо, одобряющее очередной смертный приговор, на чем категорически настаивал Ставский. Взамен подписи Пастернак послал письмо Сталину; писал в нем, что "вырос

---

* "Известия" N 138 от 14.6.37; ПСС, т. 13, стр. 179, 180, ГИХЛ, 1949.

** И.А.Бунин, Собр. соч., том 9, стр. 443, ГИХЛ, 1967.

***Там же, стр. 445.

в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери" и, предлагая Сталину располагать его жизнью, тем не менее категорически утверждал, что "себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей".

А в другом письме писал: "Я с годами... все больше живу как на чердаке... Мне стыдно было, что мы продолжаем двигаться, разговариваем и улыбаемся...".

Вот вам позиция двух русских писателей по отношению к одной и той же общенародной беде: великому террору властей. Один проявил крайнюю бессовестность и цинизм, чтобы панегирики палачам использовать в защиту своего поместья, автомобилей, социального престижа.

Другой упорно молчал, и никакие силы тупого принуждения не сумели заставить его лгать в угоду кривде. А когда невозможно стало молчать, он мужественно заговорил правду, хотя и знал, что рискует не только собой, но и свободой и жизнью своей семьи.

Первого назвали народным писателем и завалили премиями, орденами и материальными благами. Второго объявили антинародным писателем, эгоцентриком, внутренним эмигрантом и в конце концов затравили как "зверя в загоне".

Ему не могли простить беспрецедентного поступка: перехода от вынужденного молчания через потрясающую раскованность духа к вольному художественному слову романа "Доктор Живаго". Ведь Пастернак его писал в то время, когда литература задыхалась во лжи.

Лишь в конце шестидесятых годов мы узнали, что с 1928 по 1940 годы Михаил Булгаков писал роман "Мастер и Маргарита", который стал широко известен лишь спустя двадцать шесть лет после смерти автора (и то сперва с большими купюрами).

Пастернак же с конца 46 г. и во все последующие годы сталинского режима массовых репрессий не боялся не только открыто писать книгу, но и читать главы из нее без особых опасений за состав слушателей. И наказание за это не заставило себя долго ждать. Но даже такое потрясение, как мой арест и осуждение не сделали его осторожнее и не остановили романа. А ведь ли-

сточки из первой части лежали на столе следователя; а самого его уж очень интересовали стукаческие доносы о чтении глав романа в некоторых домах Москвы...

Не надо забывать, что в те годы Б.Л., быть может, был не только первым, но и вовсе единственным профессиональным писателем, решившимся на такой шаг. В этом смысле, как и признает в своих записях Солженицын, Пастернак был тем, кто "открывал пути литературе и закрывал пути ее врагов", кто "воспринимал сущее с точки зрения вечности".

При этом он, конечно, отдавал себе отчет в том, что моим арестом дело не ограничится, что наступит день, когда начнется лобовая травля, не оставляющая места никаким аргументам. Их заменят примитивные ярлыки, вполне доступные собачьему пониманию: "Ату его — чужой!" И такой день, как мы уже знаем, действительно наступил.

Поэтому-то я и думаю, что когда годы спустя после смерти и Сталина, и Пастернака в литературу пришел Солженицын — к тому же не рафинированный российский интеллигент, а по его самохарактеристике — "озверелый зэк" — он осваивал путь, уже пройденный ранее Борисом Леонидовичем. И пройденный в гораздо более страшные времена.

Так что не стоит Солженицыну "корчиться от стыда" за того, кто задолго до него не побоялся тупых, беспощадных, мертвящих, бесчеловечных грозных сил, кто безусловно был первым. Это — об обстановке, предшествовавшей и сопутствовавшей роману.

Вторая сторона дела — отказ от премии и "позорные" письма. Ростропович и многие другие считают этот акт поражением Пастернака. Сам он это расценил иначе... Наиболее четко это видно из его письма во Францию к Жаклин де Пруаяр:

"... Нас стараются всячески притеснять, то прямыми угрозами, то отвратительными ограничениями, но мы не только торжествуем над всем, но именно эта враждебная сила печалей и препятствий оказывает нам величайшую услугу, сохраняя то, что было живого, испытанного и глубоко прочувствованного в нашей победе, без чего она, возможно, выродилась в отвлеченное ничто, в высокопарные фразы... Как бы я хотел вам сказать, как все чудесно, как все исполнено будущим

даже в этот поздний час, в нескольких шагах от возможного конца!".*

Да, его понимание победы или поражения в этом неравном поединке основывалось главным образом "на результатах", а не на внешних престижных проявлениях. Если бы я, Аля Эфрон, Кома Иванов и Ира не подготовили и не подсунули Б.Л. на подпись покаянные письма — он и не подумал бы их подписывать. Потому-то и продвинули эту идейку ему через нас, наши страхи, наши руки, наше влияние.

А нас — душили. Теперь даже официальная печать признает, что тогда вокруг Пастернака "многолетними усилиями доморощенных политических обывателей была создана густая пелена лжи, недомыслия и диффамации".** В этих условиях ему легче было почти не глядя подписать все, что бы я ему ни принесла — лишь бы оставили меня и его в покое.

В конце концов правильно сказано: "Каждый из нас вправе на собственную, личную Голгофу, но никто не вправе волочь на нее других". И не захотел Б.Л. уехать на Запад, оставив всех нас заложниками на родной "Голгофе".

Вот он и подписал принесенные мною письма. И легко подписал, так как нисколько не сомневался в своей конечной победе. Ибо он понимал самое главное: ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО — книга написана, издана, читалась не столько страной, сколько — миром, "Живаго" совершал свой "космический рейс" (выражение Б.Л.) вокруг планеты. И кроме того — тогда уже ему была ясна истина, ставшая теперь очевидной почти всякому: эти письма ничего не испортят, кроме репутации тех, кто его к ним принудил. Сам он об этом очень четко и недвусмысленно позже записал: "когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления...". Так оно и было.

---

* Оригинал на французском языке.

** "Литературная Грузия "N 11, 1972 г., стр. 22.

Марина Цветаева в одном из своих писем рассматривает вариант победы интеллигента — вариант, названный ею "победой путем отказа". Это был именно такой случай.

Да, многоуважаемые Александр Исаевич и Мстислав Леопольдович, вы ошиблись, думая, что, отказываясь от премии и подписывая извинительные письма, Пастернак сдался. Сейчас, в начале семидесятых годов, уже становится очевидным для всех, что это была подлинная "ПОБЕДА ПУТЕМ ОТКАЗА".

"ИГРА В ЛЮДЕЙ"

Вернусь к пятнице тридцать первого октября пятьдесят восьмого года, когда наступил кульминационный момент "романа вокруг романа". События разыгрывались сразу на нескольких "сценических площадках" — в Доме кино, в ЦК, в Переделкине, в автомашинах... За всем сразу не уследишь... Сперва — Дом кино.

* * *

В этот день в Доме кино на улице Воровского состоялось общее собрание писателей города Москвы. Цель — проштемпелевать именем всех московских писателей постановление об исключении Б.Л. из ССП, принятое двадцать седьмого числа.

Кроме того (и это самое главное), где-то в верхах поняли, что для Б.Л. выезд с родины немыслим, решили "закручивать гайки" дальше — лишить его советского гражданства. И вот для запуска очередной машины голосования был собран народ в Доме кино.

Разумеется, ни Б.Л., ни я на это собрание не пошли. Но там были люди, записавшие ход собрания, и переславшие свои записи нам.*

---

* В этих записях, сделанных по горячим следам, разумеется, есть некоторые неточности. Полный текст стенограммы см.: "Горизонт", 1989, N 9.

Председательствует Сергей Сергеевич Смирнов (говорят — порядочный человек в том смысле, что самостоятельно на предумышленную подлость не пойдет, но, тем не менее, по команде сверху сделает все, что угодно). Он начал с оглашения письма группы писателей, одобряющих исключение Пастернака из Союза писателей и требующих еще более суровых кар.

С.С.Смирнов: Дело в том, что группа московских писателей, возмущенная поведением Пастернака, составила письмо, которое предполагалось опубликовать в газете и которое подписало большое число московских писателей... (оглашает список). Но возникла мысль: почему письмо подписано только группой московских литераторов, разве московская организация в целом не хочет выразить свое мнение?

Нет поэта более далекого от народа... Узкий круг читателей был уделом поэта... И этот узкий круг друзей постепенно создавал ему какой-то ореол, и приобрела весьма широкое хождение в нашей среде легенда о Пастернаке... Были такие люди из друзей поэта, которые заявили на заседаниях, что когда произносят имя Пастернака — надо вставать. Эта легенда сейчас разоблачена и похоронена произведением и поведением Пастернака. "Доктор Живаго" — произведение остро политическое...

Пастернак в адрес Шведской Академии послал телеграмму: "Бесконечно признателен. Тронут. Удивлен. Сконфужен. Пастернак". И в интервью иностранным корреспондентам: "Я счастлив... Я хотел бы поехать в Стокгольм за премией".

... Смотрите, в какую компанию попал Пастернак — французский реакционный писатель Камю, Черчилль...

В субботу студенты Литературного института пришли к Союзу писателей с плакатами: "Долой Иуду из СССР!". В понедельник 27 октября состоялось заседание президиума правления СП СССР, бюро оргкомитета СП РСФСР, президиума правления Московского отделения СП. Был приглашен и Пастернак, но он не явился, хотя в Москву из Переделкина приехал. Он прислал письмо.

(Далее Смирнов зачитал тезисы, кратко изложенные в главе "Мы поименно вспомним всех, кто поднял

руку"). Читал это письмо сквозь зубы, скороговоркой, словно ему было непосильно читать слова презираемого человека; а может быть для того, чтобы стенографистки не успели записать. После чтения:

"Пастернак хочет откупиться. А в свое время Федин четыре дня просил его подписать Стокгольмское воззвание мира... К дому предателя Кнута Гамсуна приходили его читатели и бросали за ограду его книги...

... Я, когда закрыл книгу, как-то невольно согласился со словами Семичастного, сказанными им на пленуме ЦК комсомола. Может быть, это были несколько грубоватые слова — сравнение со свинством, но по существу это действительно так... Мне особенно понравилась та вторая часть выступления товарища Семичастного, в которой он говорил, что надо превратить Пастернака из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного... Нам следует обратиться к правительству с просьбой о лишении Пастернака советского гражданства (громкие аплодисменты). Идут слухи, что Пастернак отказался от Нобелевской премии, но мы об этом ничего не знаем.* За границей опубликовано его заявление: "В связи с реакцией советского общества я вынужден отказаться от премии...".

В течение сорока лет скрытый враг, преисполненный ненавистью и злобой, жил среди нас, и мы делили с ним наш хлеб.** По-моему, было бы лучше, если бы он встал в ряды открытых врагов Советского Союза, а потом уже был бы награжден премией...

Лев Ошанин (с листочком): Пастернак был под наблюдением наших врагов. Присуждение ему Нобелевской премии — тонкий, расчетливый удар. Когда в сорок пятом году вручали медали "За доблестный труд"

---

* За два дня до этого (29 октября) газеты мира опубликовали телеграмму Б.Л. об отказе от премии, в тот же день Боря известил об этом телеграммой Союз писателей, а председатель столь ответственного собрания "ничего не знает".

** Когда во время этой кампании травли поэта не раз попрекали его хлебом и салом, которые он ест, Боря как-то сказал мне: "Разве они не помнят пословицу: "Хлеб-соль ешь, а правду режь".

пригласили и его для награждения. А он — “Ах, медаль... Я пришлю, может быть, сына...”. Андроников много часов ходил вокруг него, чтобы тот подписал Стокгольмское воззвание. Я называю его внутренним эмигрантом... А ведь было, что вдруг писал он несколько настоящих слов о Ленине... (Голос из зала: “А Союз писателей умилился”). Он — ярчайший образец космополита в нашей среде. Не надо нам такого гражданина! Его письмо нам изумительно — он нас “прощает”. Он уверовал в боженьку и начал писать...

К.Л.Зелинский (без записки): Я внимательно, с карандашом в руках прочитал роман “Доктор Живаго”. И почувствовал себя оплеванным. Масса религиозной писанины. Я ценил Пастернака как художника-поэта... На Западе имя Пастернака стало синонимом холодной войны. Портреты Пастернака печатают на первых страницах газет рядом с портретом другого предателя — Чан Кайши. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку — это литературная атомная бомба. Удар в лицо советскому правительству.

В Неаполе было собрание четырехсот писателей из двадцати двух государств. Никто не произнес имени Пастернака, так как это все равно, что неприличный звук в обществе... Виновно его окружение. Оно создало культ его личности. В свое время за мою критику Пастернака ("Поэзия — чувство современности") В.В.Иванов перестал подавать мне руку.

Мы должны сказать Пастернаку: иди, получай там свои тридцать сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен, а мы будем строить тот мир, которому мы посвятили свою жизнь!

В.Герасимова: Я, как бывшая комсомолка, не могу простить сцены стрельбы доктора Живаго по дереву вместо врага. Это доктор Мертваго, а не Живаго. Цвет интеллигенции не он, а Макаренко, Тимирязев...

В.Перцов: Негодование не улеглось, хотя прошла уже неделя. В “Тезисах” Пастернака меня поразила одна вещь. Он считает смягчающим обстоятельством то, что своего “Доктора Живаго” писал одновременно с романом Дудинцева. Но эти вещи разные!

Я встретил Пастернака в обществе Маяковского, я не курил ему фимиам, но и не думал о низости...

Кроме особо гурмански настроенных молодых людей Пастернака никто не читает. Пастернак — индивидуалист. Поэтическое кредо Пастернака можно охарактеризовать как "восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа"... В молодые годы я опубликовал статью о Пастернаке ("Вымышленная фигура"), чем вызвал гнев Асеева, Шкловского...

Это — подлая фигура. Свою автобиографию Пастернак опубликовал в Париже. Более гнусного, чем то, как он написал о Маяковском, я не знаю*. Он написал Сталину письмо, в котором благодарит за эпитет, данный Сталиным Маяковскому: "лучший, талантливейший поэт нашей эпохи...".

Что делать с господином Пастернаком? Мне кажется, что товарищ Семичастный прав. Он свободен от нашего общества, но от "того" общества не свободен. И пусть он отправляется туда. Мне и многим нашим товарищам просто даже трудно себе представить, что живут такие люди в писательском поселке. Я не могу себе представить, чтобы у меня осталось соседство с Пастернаком. Нельзя, чтобы он попал в перепись населения СССР.

Мы поздно опубликовали письмо редакции "Нового мира" Пастернаку. Мы вступили бы тогда в разговор с буржуазным миром в более выгодной позиции для нас. Это упущение нам нужно запомнить. Давайте по-настоящему хорошо работать...

А.Безыменский: Сегодня длинный спор с Пастернаком кончился. Еще в тридцать четвертом году группа пролетарских писателей давала бой Бухарину, сказавшему, что надо ориентироваться на Пастернака. Теперь Пастернак своим поганым романом и своим поведением поставил себя вне советской литературы и вне советского общества. (Далее — взахлеб расхваливает выступление Семичастного).

Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и обществен-

---

* Не странно ли, что такую "гнусность" спустя девять лет опубликовал журнал "Новый мир" (N 1 за 1967 г.)?

ность, и правительство никаких препятствий ему не чинили бы, а, наоборот, считали бы, что этот его уход от нашей среды освежил бы воздух. Дурную траву — вон с поля!

А.Софронов (с запиской): Даже в Чили один писатель на перепутье сказал нам: "Странно вы ведете себя с Пастернаком; ведь он ваш враг". (Говорит плохо, путаясь, не заканчивая фраз, одними газетными штампами)... вон из нашей страны!

С.Антонов: Размер премии — сорок-пятьдесят тысяч долларов. Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому пошли его деньги... и очень жалко, что в 1958 г. таким петрушкой для того, чтобы вести грязную антисоветскую работу, была выбрана фигура Пастернака! То решение, которое мы приняли об исключении Пастернака из Союза писателей — его приняли слишком поздно... Можно было принять это решение год тому назад...

Б.Слуцкий: Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди... Шведская Академия знает о нас только по ненавистной Полтавской битве и еще более ненавистной Октябрьской революции. Премия Пастернака дана из-за ненависти к нам... Пастернак — лауреат Нобелевской премии против коммунизма.

Г.Николаева: Я принадлежу к тем людям, которые воспринимали и любили некоторые стороны творчества Пастернака — о природе, о Ленине. Я думала, что Пастернак найдет новый путь. Но история Пастернака — это история предательства... "Доктор Живаго" — плевок в народ... У меня теплилась надежда, что у него найдется мужество раскаяться... Письмо товарищей из "Нового мира" слишком мягко... И я присоединяюсь к тому, что не место этому человеку на советской земле...

В.Солоухин (много цитирует наизусть Пастернака, анализирует стихи и делает вывод): Если разобраться в этих строках, то получается, что настоящий поэт должен находиться в оппозиции к обществу, в котором он живет! Вот почему "Доктор Живаго" не является исключением в творческой биографии Пастернака. Здесь все закономерно... все это — сознательная проповедь индивидуализма, достойная внутреннего эмигранта...

Эта книга в целом является орудием холодной войны против коммунизма.

Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то мудрый Мао Цзэдун.* сказал, что она нужна американцам только до тех пор, пока остается в нашем лагере. Пастернак "там" будет нужен до тех пор, пока он у нас. Когда же он станет настоящим эмигрантом — он там не будет нужен, и о нем скоро забудут. Он там ничего не сможет рассказать интересного, и через месяц его выбросят как съеденное яйцо, как выжатый лимон. Вот это и будет его самая главная казнь за то предательство, которое он совершил.

С.Баруздин: Товарищи, завтра исполнится неделя, как наш народ узнал о деле Пастернака... Народ не знал Пастернака как писателя, он узнал его как предателя... Вот самое позорное, что есть в Пастернаке (цитирует из письма Пастернака: "Честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому..."). Что можно после этого требовать? Есть хорошая русская пословица: "Собачьего нрава не изменишь!". Мне кажется, что самое правильное — убраться Пастернаку из нашей страны поскорее (аплодисменты).

Л.Мартынов (произносит "Пастерняк", всю речь считывал с записки, даже прямую речь): У нас, здесь присутствующих, не расходятся мнения в оценке поведения Пастерняка. Живые, стремящиеся к лучшему будущему люди не за автора "Доктора Живаго"... Так пусть Пастерняк останется со злопыхателями, которые льстят ему премией, а передовое человечество есть и будет с нами. (Далее говорит, что в Италии, в Риме, в многолюдном зале большинство присутствующих встретили аплодисментами советскую оценку этого дела, выступил лишь один оппонент).

Б.Полевой: Вот заметка "Голоса Америки": "Антикоммунист забрался в коммунистический лагерь". Вот

---

* Интересно было бы спросить у Владимира Алексеевича, не изменилось ли у него мнение относительно мудрости Мао Цзэдуна.

заглавие из западногерманского журнала "Дер Штерн": "Самый большой удар по коммунизму". Вот заглавие из приложения к "Нью-Йорк Таймс": "Крупнейший удар по советской культуре"... Холодная война тоже знает своих предателей, и Пастернак по существу, на мой взгляд, это — литературный Власов. Генерала Власова советский суд расстрелял (голос с места: "повесил!")... Я думаю, что изменника в холодной войне тоже должна постигнуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: "Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом" (Аплодисменты).

С.Смирнов: Поступило предложение прекратить прения. Хотели выступить следующие товарищи: Е.Долматовский, С.Васильев, М.Луконин, Г.Серебряков, П.Богданов, П.Арский, П.Лукницкий, С.Сорин, В.Инбер, Н.Амегова, В.Дудинцев, Р.Азарх, Д.Кугультинов (от имени слушателей высших курсов).

В.Солоухин: Предлагаю дать слово Дудинцеву. Ибо Пастернак в своем письме поставил знак равенства между своим романом и романом Дудинцева.

С.Смирнов считает это недемократичным и объявляет голосование. Большинство за полное прекращение прений.

(Зачитывается проект резолюции).

Гражданка N 1: Предлагаю просить Советское правительство лишить Пастернака советского гражданства.

Гражданка N 2: Слово "изгнанник" (в проекте резолюции) заменить словом "эмигрант", так как "изгнанник" вызывает сожаление, а Пастернак не достоин этого.

Гражданин N 1: Называть Пастернака космополитом нельзя. Эстет и декадент — мало, слабо и литературно.

(Резолюция принимается единогласно).

В "Литературной газете" резолюция этого собрания напечатана под заголовком: "Голос московских писателей":

"...Поведение "литератора" (подчеркнуто мною — *О.И.*) Б.Пастернака... самовлюбленный эстет и декадент... враг святого для каждого из нас... антисоветский, клеветнический роман... предательство по отношению к советской литературе, советской стране и всем советским

людям... грязный пасквиль... Пришел в восторг от этой оценки своего предательства... протянул руку к тридцати сребреникам... Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б.Пастернака советского гражданства... все, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, предавшему Родину и ее народ!".

Что же касается формулы — "единогласно" — то здесь не все так уж гладко. Я могла бы назвать не одну фамилию тех писателей, которые не имея мужества заступиться за Б.Л., набрались мужества выйти во время голосования из зала в буфет, в туалет, к черту, к дьяволу — лишь бы не участвовать в этом постыдном судилище невежественных чинуш от литературы.

Похоже — это о них вскоре написал Евтушенко:

Когда их те клеймили всуе,
Кому б самим держать ответ,
Из доброты не голосуя
Вы удалялись в туалет.

А после вам на удивленье,
Всем неразумным напоказ,
Нерасторопных, как тюленей,
Поодиночке били вас.

Евтушенко в то время был секретарем комсомольской организации Союза. Перед собранием его вместе с парторгом Сытиным вызвали к первому секретарю Московского горкома комсомола и долго убеждали, требовали — выступить. Но он — не выступил.

Илья Эренбург (как рассказала нам с Б.Л. его секретарша) в дни травли сам, не разрешая другим брать трубку, подходил к телефону и, в ответ на приглашения на различные собрания, отвечал (своим обычным голосом): "Илья Григорьевич уехал, приедет не скоро". Это был его поступок, и по тем временам — далеко не самый безопасный.

Я хочу вспомнить дневник Юрия Живаго. Он назывался "Игра в людей" и состоял из "прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно, что разыгрывает".

Перечитываю запись собрания и ясно вижу прогресс по сравнению с двадцатым годом, когда велся этот дневник: не половина, а большинство выступавших "играли в людей", ибо говорили не то, что думают.

Разве можно поверить, что все, кто выступал, рвался выступить или просто аплодировал — действительно считали Пастернака предателем, роман — рукоделием и т.п. Нет, я лучшего мнения о них. Они понимали, но "условия игры" были для них превыше какого бы то ни было понимания.

Хотя, конечно, почти никто не читал роман; и выступали главным образом те, кто хотел сделать на этой мутной волне карьеру, либо, памятуя о недавней сталинщине, уж очень дрожал за свою шкуру.

> "Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы...".

Позже другой писатель и по другому поводу сказал: "Это куцый расчет, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести". Не всем это пренебрежение нравственным чутьем, это пренебрежение возражениями совести далось легко.

Внучка Веры Фигнер Марина рассказывала, что в поезде "Ленинград — Москва" сосед ее по купе — С.С.Смирнов — говорил ей:

"На мне несмываемое пятно. Я всю жизнь буду его носить"*. Я не злопамятна. Можно было бы и простить человека, если подлость его принудили сделать под

---

* Говорят, что "раскаяние" Смирнова не помешало ему через много лет внести предложение об исключении Булата Окуджавы из Союза писателей.

угрозой лишения свободы или куска хлеба. Но всякий, кто слушал Смирнова в ту черную пятницу, помнит, что он зачитывал письмо-тезисы Бориса Леонидовича издевательским мерзким тоном, явно зло пародировал манеру Б.Л. говорить... Смирнова могли заставить председательствовать на собрании; но никто не мог его заставить так издеваться над текстом и автором письма.

Уже после собрания он опубликовал статью "Философия предательства" (журнал "Агитатор", N 22, 1958, стр. 61-63), в которой развил свою вступительную речь. С.С.Смирнов заодно объявил там Альбера Камю, приславшего поздравительную телеграмму Б.Л., "фашиствующим писателем, которому... не протянет руки ни один порядочный французский писатель".

В 1970 году Евг. Евтушенко побывал в маленьком городке Летиция в джунглях Колумбии, где живут главным образом ловлей крокодилов. Рассказывал потом, как удивил его "Доктор Живаго" (на испанском) среди книг местного поэта-самоучки Диаса. Самым примечательным здесь оказался трогательный автограф (на испанском же) единственного из посетивших Колумбию до Евтушенко советских писателей — ... С.С. Смирнова. "Но ведь Смирнов был председателем собрания, исключившего Пастернака", — с удивлением сказал Женя. Диас сперва решил вырвать из книги лист с надписью, но, подумав, сказал: "Пожалуй, в таком случае книга с этой надписью становится уникальной, приобретает особую ценность".

Я была знакома с Борисом Слуцким, признавала его как поэта, но говорили — он не любил поэзию Пастернака. Б.Л. как-то рассказал в полушутливом тоне Евтушенко, что после чтения "Вакханалии" у Ивановых получил от Слуцкого странную оценку:

— Ну что ж, это не худшее из ваших стихотворений.

Но подлости по отношению к Б.Л. от Слуцкого никто не ожидал. Напротив, сидя в задних рядах Дома кино вместе с Винокуровым, Евтушенко был уверен, что Слуцкий будет защищать Б.Л., и был обеспокоен последствиями. И потому в перерыве сказал: "Борис, будь осторожен". "Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно", — отвечал Слуцкий.

Эти “акценты” теперь известны всем. Такое выступление совершенно незапятнанного до того человека явилось, говорит Евтушенко, первым гигантским потрясением в его жизни. Кто-то, говорят, демонстративно едва ли не швырнул Слуцкому одолженную у него до того сотню — ничем не хотел ему быть обязанным.

Ариадна, рассказывая нам о раскаяньи Слуцкого, возмущалась, что он после пресловутого собрания плакал на ее бидонах в Тарусе, и, кажется, сочувствия ему не выразила, а сердито прекратила его сетования.

Этот поступок Слуцкого надолго поверг его в глубокий творческий кризис.

Да, многие из активистов того собрания дорого бы дали, чтобы история их не запомнила. И особенно те, кто знает, что память о поэте ничуть не померкла, но какими мерзкими высветило время тех, кто всем скопом его душил.

К НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ...

Все та же длинная пятница тридцать первого октября. Утомленная эпопеей предыдущего дня и отправкой в ЦК письма я опять легла накануне поздно, спала скверно. Днем я пришла к маме на Собиновский с тем, чтобы хоть немного вздремнуть.

Не тут-то было — мама вскоре меня разбудила:

— Звонят, говорят, что из ЦК, по очень важному делу.

Пришлось подняться. Оказалось — Хесин. Он говорил взволнованным благожелательным голосом, как будто ничего не случилось, и не было того нашего последнего разговора, после которого я ушла, хлопнув дверью.

— Ольга Всеволодовна, дорогая, вы — умница: письмо Б.Л. получено, все в порядке, держитесь. Должен вам сказать, что сейчас нам надо немедленно с вами повидаться, мы сейчас к вам подъедем.

— Я с вами, Григорий Борисович, и разговаривать-то не хочу, — раздраженно отвечала я. — Очень странно слышать, что вы ко мне обращаетесь. Ведь в самый трудный для меня момент вы показали, какой вы друг! Никаких отношений у нас с вами отныне быть не может.

После долгой паузы Хесин сказал, что передает трубку Поликарпову.

— Ольга Всеволодовна, голубчик, — послышался умиротворяющий голос Дмитрия Алексеевича, — мы вас ждем. Сейчас мы подъедем к вам на Собиновский, а вы накиньте шубку и выходите, мы все вместе поедем в Переделкино: нужно срочно привезти Бориса Леонидовича в Москву, в Центральный Комитет.

Только два часа назад было сдано письмо в ЦК на имя Хрущева, и вот уже требуют Б.Л. в ЦК, как будто все заранее было готово, продумано, и только и ждали этого письма.

Первым моим движением было найти Иринку, пусть мчится в Переделкино раньше нас и предупредит Б.Л.,

что сейчас за ним приедут везти в ЦК. А главное, убедить его, что все самое страшное позади, и чтобы он ко всему относился как к фарсу. Я поняла, что после письма кульминация пройдена, и мы идем на безболезненное снижение. Оставалась официальная процедура личной беседы. С кем? Сомнений ни у кого не было: раз за Б.Л. в Переделкино едет Поликарпов, то принимать будет сам Хрущев.

Ире я дозвонилась, и она согласилась ехать. Значит, надо было задержаться мне, чтобы ей успеть выполнить свою миссию. Однако вскоре после нашего разговора раздались призывные звуки сирены. В переулке в воротах дома стоял черный правительственный ЗИЛ с Поликарповым и Хесиным.

Я вышла к ним и сказала, что мне нужно еще что-то такое взять, и вернулась к маме, с единственным расчетом протянуть время и дать возможность Ире приехать в Переделкино раньше нас и предупредить Бориса Леонидовича.

Но не тут-то было: наша машина шла по правительственной трассе, не останавливаясь у светофоров. До поворота на Переделкино мы промчались почти без остановок.

По дороге Хесин начал шептать мне: "Вы никогда не понимаете, кто ваш доброжелатель, кто враг. Вы никогда ничего не понимаете: ведь это же я к вам на помощь Зореньку подослал...".

Я так и ахнула. Так вот оно что: им мало было отказа от премии; им очень хотелось публично унизить Б.Л. Ведь именно таким унижением для Пастернака было подобного рода письмо. Как же его заставить подписать такое? Ведь Б.Л. упрям и не научился мыслить по указке. Это они все понимали. И вот находится путь; путь проходит через меня, через мои страхи, мое недомыслие. Понимая, что официальное лицо меня может не убедить — мне подсовывают "милого мальчика", "поклонника Пастернака" — и план удается...

Не отвечая Хесину, я умышленно громко с чем-то обратилась к Поликарпову.

— Вся теперь надежда на вас, — сказал, оборачиваясь ко мне с улыбкой, Дмитрий Алексеевич, — вы его успокоите, сейчас правительство ответит ему на его письмо. Надо, чтобы ничего лишнего при этом

там сказано не было. Держитесь теперь без шума. Главное сейчас — вывезти его из Переделкина. Чтобы он, чего доброго, не отказался ехать.

Когда потом я перебирала в памяти все перипетии этой пятницы, я удивлялась — как они все боялись, что Б.Л. не поедет. Не всякий полководец, при таком превосходстве сил, так тщательно готовит боевую операцию, как готовилась операция "Привоз Пастернака в ЦК".

Первую остановку мы сделали у "фадеевского шалмана" (сиречь возле нашей пивнушки на шоссе). Рядами там стояли машины, а возле них — Г.Марков, Воронков, еще кто-то (силы-то, силы какие были стянуты!). Здесь Поликарпов сказал, чтобы я с Хесиным пересела в другую машину и ехала дальше, а он будет ждать возле шалмана; когда мы уже с Б.Л. проедем в сторону Москвы — он поедет вслед.

Мне был нарисован такой план действий: Ира заходит на дачу к Б.Л. и просит его выйти ко мне, я его убеждаю ехать в ЦК, после чего мы едем в Москву на Потаповский и должны побыть там некоторое время. Мне, мол, надо переодеться и всем попить чаю. Машина будет ждать и довезет нас до ЦК, где будут уже готовы пропуска. Словом, надо было для чего-то оттянуть время.

Между тем стало темнеть уже тогда, когда мы подъезжали к переделкинской даче. Закрапал дождь. Возле дачи никакого Ириного такси не оказалось. Злилась и волновалась я невероятно — ведь я дала ей по крайней мере сорок минут фору... Делать нечего, план есть план — не нарушать же его... и минут пятнадцать мы молча стояли в темноте, глядя на дорогу. Наконец, появилось Ирино долгожданное такси. Оказалось, она разыскивала по Москве Кому... Нашла время! Но вот видим, как Ира зашла на крыльцо. Ей навстречу вышла испуганная Зинаида Николаевна и сказала, что Б.Л. сейчас оденется. Он, видимо, что-то понял (или испугался внезапного приезда Иры) и вышел в своем выходном сером пальто и серой шляпе.

С ходу уловив ситуацию, в машину он уже садился в веселом настроении, только жаловался, что Ира не дала переодеть ему брюки:

— Ты знаешь, — говорил он, — я великолепный надел пиджак, аргентинский, этот синий; он мне к лицу, но вот брюки Ирка мне не дала переодеть!

— Ну, Ирочка, — обращался он к ней, — ну, девочка моя, теперь я покажу им, теперь вот увидишь, какую я историю разыграю. Я им все сейчас выскажу, все выскажу.

— Боря, так ведь ей не дадут пропуска, — говорю я; — нечего ее туда тащить и сцены там устраивать.

— Ну, я без нее не пойду, не беспокойся, Лелюша, я достану пропуск.

Тут я шепнула ему на ухо, что недурно нам заехать на Потаповский, попить чайку, мне переодеться, а потом уже спокойненько ехать в ЦК. Эта идея Боре очень понравилась, — бедняга, он даже не подозревал, что эта "вольность" была предписана Поликарповым и значилась в его стратегическом плане.

Пару раз я, тихонько толкнув Борю, шептала ему на ухо, указывая на шофера: "Боря, тише, ведь это же шпик", но он нисколько не унимался. Он очень смешно жаловался, что плохо выглядит, мало спал, что брюки на нем дачные; как он это все объяснит в ЦК? Он скажет, будто его поймали, когда он гулял, и поэтому он не успел переодеться; а главное — плохой вид, плохой его вид — он все время косился в шоферское зеркальце: "Боже мой, они там увидят меня и скажут — из-за такой рожи шум на весь мир". И мы в машине все время смеялись.

А за нами цугом шли правительственные машины. Я знала, что в одной из них — Поликарпов.

И вот наконец Потаповский. Боря разделся, походил, выпил крепкого чаю, попросил меня не надевать никаких украшений и не мазать сильно губы.

— Олюша, — говорил он, — Бог тебя не обидел, пожалуйста, не наводись. — Это было нашим всегдашним столкновением.

Затем Б.Л. велел Ире захватить лекарства. Она взяла огромный флакон с валерьянкой, валокордин — в случае конфликта оказать первую помощь. Машина нас ждала, опоздать мы не боялись, и поэтому было какое-то, пожалуй чуть истеричное веселье...

Поехали по Покровке к пятому подъезду ЦК на Старой площади. Б.Л. подошел к часовому и стал объяснять, что ему назначено, но у него нет с собой никаких документов, кроме писательского билета.

— Это билет вашего союза, из которого вы только что меня вычистили, — сообщил он солдату, и тотчас же перешел к брюкам, — вот видите, меня застали во время прогулки, — (точно как он задумал, так он и сказал), — меня застали во время прогулки, поэтому у меня и брюки такие!

Солдат слушал с большим удивлением, но вполне доброжелательно.

— У нас можно, у нас все можно, ничего, можно, — говорил он.

Как я и ожидала, нас с Борей провели в гардероб, а потом вверх по лестнице, а Иру не пропустили.

— Ничего, моя девочка, — шептал ей Боря, — посиди здесь немножко, а я сейчас достану тебе пропуск, я без тебя туда не пойду.

Пока мы поднимались по лестнице, Боря перемигивался со мной, перешептывался.

— Ты увидишь, — шептал он мне, — сейчас будет интересно.

Конечно, он нисколько не сомневался, что его ожидает сам Хрущев.

Но вот отворилась заповедная дверь, и за огромным столом мы увидели... все того же Дмитрия Алексеевича Поликарпова. Только он был побрит и выглядел получше, словно не было этого суматошного дня. Очевидно, уже после того, как смотался с нами в Переделкино, он успел привести себя в порядок. Стало ясно, зачем он запланировал наш заезд на Потаповский. Только было как-то неловко за него — сколько он сил потратил, чтобы привезти сюда Б.Л., а теперь пытается делать вид, что он с утра не выходил из своего кабинета, и в приезде Б.Л. нисколечко не заинтересован. (Будто тот офицер из рассказа "В исправительной колонии" Кафки, что сам изобрел машину и сам же в эту машину и лег...).

Рядом с Поликарповым сидел худой человек, который мне казался знакомым по портретам, но он все время молчал, и мне трудно что-нибудь о нем сказать. Потом еще ненадолго появился человек с папкой. Но в общем, главным действующим лицом в этом кабинете был Поликарпов. Нас пригласили сесть. Мы с Борей сели друг против друга в мягкие кожаные кресла.

Боря начал первый и, конечно, с того, что потребовал пропуск для Иры.

— Она меня будет отпаивать валерианкой.

Поликарпов нахмурился.

— Как бы нас не пришлось отпаивать, Борис Леонидович, зачем же девочку еще путать? Она и так слышит Бог знает что!

— Я прошу дать ей пропуск — упорствовал Боря, — пусть она сама судит!

— Ну ладно, — вмешалась я, — мы скоро выйдем отсюда, пусть она обождет.

После препирательств из-за Иры Поликарпов откашлялся, торжественно встал и голосом глашатая на площади возвестил, что в ответ на письмо к Хрущеву Пастернаку позволяется остаться на родине. Теперь, мол, его личное дело, как он будет мириться со своим народом.

— Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, — заявил при этом Поликарпов. — Мы, например, просто не можем остановить завтрашний номер "Литературной газеты...".

— Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич? — перебил его Боря, — какой там гнев? Ведь в вас даже что-то человеческое есть, так что же вы лепите такие трафаретные фразы? "Народ!", "народ!" — как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово — народ.

Бедный Дмитрий Алексеевич шумно набрал воздуху в грудь, походил по кабинету, и, вооружившись терпением, снова подступился к Боре.

— Ну, теперь все кончено, теперь будем мириться, потихонечку все наладится, Борис Леонидович... — А потом вдруг дружески похлопал его по плечу, — Эх, старик, старик, заварил ты кашу...

Но Боря, разозлившись, что при мне его назвали стариком (а он себя чувствовал молодым и здоровым, да к тому же еще героем дня) сердито сбросил руку со своего плеча:

— Пожалуйста, вы эту песню бросьте, так со мной разговаривать нельзя.

Но Поликарпов не сразу сошел с неверно взятого им тона:

— Эх, вонзил нож в спину России, вот теперь улаживай... (опять этот пресловутый нож, почти как "и примкнувший к ним Шепилов").

Боря вскочил:

— Извольте взять свои слова назад, я больше разговаривать с вами не буду, — и рывком пошел к двери.

Поликарпов послал мне отчаянный взгляд:

— Задержите, задержите его, Ольга Всеволодовна!

— Вы его будете травить, а я буду его держать? — ответила я не без злорадства, — Возьмите свои слова назад!

— Беру, беру, — испуганно забормотал Поликарпов.

В дверях Б.Л. замедлил шаги, я вернула его, разговор продолжался в другом тоне.

У выхода, попрощавшись с Б.Л., Поликарпов задержал меня:

— Я должен буду вас скоро найти; недели две мы будем спокойны, но потом, очевидно, еще раз придется писать какое-то обращение от имени Бориса Леонидовича. Мы с вами сами его выработаем вот в этих стенах; но это будет после октябрьских праздников, проводите их спокойно. Сознайтесь, у вас тоже упала гора с плеч?

— Ох, не знаю, — отвечала я.

— Вот видишь, Лелюша, — говорил Боря, спускаясь по лестнице, — как они не умеют... вот им бы сейчас руки распахнуть, и совсем было бы по-другому, но они не умеют, они все крохоборствуют, боятся передать, в этом их основная ошибка. Им бы сейчас поговорить со мной по-человечески. Но у них нет чувств. Они не люди, они машины. Видишь, какие это страшные стены, и все тут как заведенные автоматы... А все-таки я заставил их побеспокоиться, они свое получили!.*

И вот мы втроем, с Ирой, в огромной черной правительственной машине мчимся обратно в

---

* Писатель, вполне осведомленный, мне рассказал, что перед своим падением Хрущев пригласил к себе Эренбурга. И пожалел, что затравили Пастернака: доверил вождь Поликарпову и Суркову, а когда сам нашел время просмотреть роман — понял, что его ввели в заблуждение, но — было поздно.

Переделкино. Боря, как и по дороге в Москву, возбужден, радостен, говорлив. Взахлеб и в лицах он изображает Ире весь наш разговор с Поликарповым. Сколько я ни дергаю его за рукав и киваю в сторону шофера — ничего не помогает. Но вот в какой-то паузе Ира по памяти читает отрывок из "Шмидта":

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

....

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

....

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью.

Энергический подъем и возбуждение Б.Л. как рукой сняло. Все время он был в напряженно-бодром состоянии, а тут вдруг, слушая свои же стихи, даже всплакнул:

— Подумай, как хорошо, как верно написано!

Мы простились с ним, и он пошел к себе на "Большую дачу". А нам надо было обратно в Москву. Увы, оказалось, что наша большая машина прочно засела в луже. Мы все объединились в "трудовом процессе" с шофером, но ничего не получалось. Ире снова пришлось идти на дачу Пастернаков за помощью. Вышли Татьяна Матвеевна (домработница) и младший сын Леня. Особенно Татьяна Матвеевна усердствовала, выпихивая машину, и Ирочка говорила, что в этом есть даже нечто символическое...

Так поздно ночью закончилась эта длинная пятница тридцать первого октября.

“Я ПАСТЕРНАКА НЕ ЧИТАЛ, НО...”

На следующее утро мы исправно получили обещанный накануне Поликарповым “гнев народа”. Это была полоса “Литературки”, так и озаглавленная трехсантиметровыми буквами: “Гнев и возмущение”.

В редакционной врезке утверждалось, что “письма и телеграммы в адрес "Литературной газеты" идут в эти дни буквально потоком".

Это, разумеется, была правда. Но далеко не все письма осуждали Б.Л. Мы получали сотни писем, идущих из многих городов СССР и зарубежных стран. В них были сочувствие, возмущение травлей, поддержка. Многие из этих писем представляли собой копии отправленных в Союз писателей и “Литгазету”. Но места им в газете, разумеется, “не нашлось”.

Центральное место занимает в “ЛГ” заметка экскаваторщика Ф.Васильцева “Лягушка в болоте”. Она отражает смысл всех остальных заметок, статей, постановлений, которыми “Литгазета” выражала праведный гнев. Но прежде я хочу вспомнить слова из книги, впитавшей в себя тысячелетнюю мудрость человечества.

“Сказал также Иисус ученикам своим: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят: лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих” (От Луки, гл. 17, ст. 1, 2).

Это сказано о них — людях, готовивших полосу “гнева”, это они сказались искусителями “малых сих”, это они предпочли трусливую анонимность, точнее, псевдонимность: спрятались под именами преступно обманутых и оболваненных ими Васильцева, Касимова, Ситало и других, не читавших Пастернака, но по своему статусу имеющих право говорить от лица “простого народа” и, по мнению искусителей, имеющих право на “осуждение без рассуждения”.

Так вот, восстановим заметку экскаваторщика: “Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал”. Публичное признание в собственной невежественности в обсуждаемом вопросе нисколько не помешало ему сделать совершенно кате-

горический вывод: “это не писатель, а белогвардеец... Я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше”.

Кажется, впервые на моей памяти невежественность людей возвели в их заслугу, в их право судить и бить художника:

“Кто такой Пастернак, что он написал?” — вопрошал нефтяник Р.Касимов — и объяснял, что Пастернак — автор “эстетских, заумных стихов, непонятных читателям”.

Это не случайные эпизоды, а скорее — поветрие времени. Надежда Мандельштам в своей книге рассказывает, как она разговорилась о Пастернаке с соседом по купе поезда уже в 1963 г.:

“ — Как могли допустить, — кипятился он, — подумайте, до чего довели: за границу переслал. Прохлопали.

Самого Пастернака он не читал и “читать не собирался”.

— Кто ж его читает? Я в курсе литературы, приходится... И то не читал...

Когда Н.Я. возразила, что он не читал ни Тютчева, ни Баратынского, тот вынул записную книжку:

— Как вы сказали? Ознакомлюсь...".

Но вернусь к хорошо организованному “гневу народа”.

Председатель колхоза Г.Ситало о литературе, нужно отдать ему должное, не брался судить — он сыпал числами:

“1250 тысяч пудов хлеба... 200 тысяч пудов маслосемян... пудов... пудов... пудов...”. Но вывод из всех этих пудов однозначен: “Мы... с радостью встретили сообщение о том, что Пастернак... исключен из ССП”.

Ну что ж, не будем вешать жернова на шеи “малых сих”, а искусители их предусмотрительно от нашего взора скрылись. Хуже, что мало чем от авторов заметок — нефтяников и колхозников — отличаются и интеллигенты. Говорят, что интеллигент — это тот, чья мысль не подражательна. Интеллигентный (любой словарь об этом толкует) — понимающий. Интеллигент может не принимать Пастернака, но только понимая его, имеет право о нем судить. И уж эти люди, в отличие от “малых сих”, должны сами отвечать за свои слова. Так что же они пишут? И можно ли их после этого называть

интеллигентами? Например, инженер А.Дубинский относит поэта "к разряду тех, кто продается по дешевке". "Место его — за негодностью — на мусорной свалке!".

Пианистка Д.Вилина (из Риги) пишет: "Манерная заумь Пастернака никогда не трогала меня...". Отсюда "ясно, что Нобелевская премия присуждена ему за антисоветский поступок".

Геолог М.Филиппович глубокомысленно замечает: "Доктор Живаго — не духовный ли сын Клима Самгина? Горький разоблачил Самгина. Пастернак в Живаго разоблачил сам себя".*

Педагог А.Маситин прибегает к испытанному методу: "Не случаен был давний бухаринский панегирик в его адрес!".

Совесть педагога позволила ему стать на сторону палача — против его жертвы.

Голос пенсионеров: "Озлобленная шавка, он даже не господин Пастернак, а просто так... пустота и мрак" (В.Симонов).

Продавщица книжного магазина Г.Радзевичюте из Вильнюса предрекала: "Его имя будет забыто, к его книгам не прикоснется рука честного человека"... Не получилось из нее Сивиллы.

Разумеется, собраны проклятия безымянных представителей и национальных литератур, которые, конечно же, являются особо компетентными знатоками поэзии Пастернака. Киевские "письменники" роман называют "бездарной писаниной", а о премии, как положено, говорят как о "плате за измену". Писатели и знатоки русской поэзии из Узбекистана и Азербайджана не могут "терпеть в рядах советских литераторов ренегата и отщепенца Б.Пастернака".

Известно, как много грузинских писателей были связаны дружбой и творчеством с Б.Л., но и из Грузии

---

* Передо мною фотография этой самой Марии Филиппович, — бывшей подружки моей сестры Тани еще с семилетки. Она входила в мой дом в счастливые для меня с Б.Л. дни — дни первых радостей и печалей. И подарила мне снимок с надписью: "Самой счастливой женщине на свете на память о бродяге — 15.IV.49, М.Ф.". "Счастливой" — это за Борину любовь.

есть соответствующая случаю телеграмма, причем — единственная, подписанная конкретным именем — Ираклия Абашидзе.

И еще список республик и краев, "возмущающихся", "одобряющих" и т.д. и т.п., но без единой фамилии. Даже чеченцы и калмыки, от мала до велика на своей шкуре испытавшие мудрость сталинской национальной политики (они все были высланы Сталиным в места не столь отдаленные), — и те тоже очень возмущаются...

И, наконец, под заголовком "Вызов всем честным людям" заявление Николая Рыленкова: "В то время, как все прогрессивные писатели мира... Борис Пастернак опубликовал роман... проповедующий... идеи атомной политики... Он... превратился в клеветника, и народ с презрением отворачивается от него...". Умиляет скромность, с какой Рыленков расписался от имени всех прогрессивных писателей мира, всего народа и вообще всех честных людей.

И все это "на полном серьезе" печатает орган ССП "Литературная газета" N 131 от 1.11.58 г.

Сижу над этой полосой "Литературки" и думаю — неужели редакторы не заметили, что всю ее можно заменить одной фразой: "Я Пастернака не читал. Но...".

И невольно вспоминаются гневные строки Марины Цветаевой:

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...

"ПО КОШАЧЬИМ И ЛИСЬИМ СЛЕДАМ..."

Каждый день почта приносила по шестьдесят-семьдесят писем. Я не завидую лаврам "Литературки", которые ей можно присудить за "объективность" в подборе писем, и потому скажу сразу: хотя подавляющая часть писем носила доброжелательный и сочувствующий характер, попадались не только критические, но и

попросту погромные письма. О последних не стоит говорить, а вот о критике коллег умолчать нельзя.

Письмо Сельвинского я привела полностью, но не могу сделать того же с письмом Галины Николаевой, хотя оно у меня в руках: двенадцать исписанных карандашом страниц. Начинается оно с признания в любви: она любила Пастернака — "Лейтенанта Шмидта", но дальше:

> "... пулю загнать в затылок предателю. Я женщина, много видевшая горя, не злая, но за такое предательство рука не дрогнула бы".

Предложив свои услуги на должность палача (причем в буквальном, физическом смысле этого слова), Николаева на случай, если ее великодушное предложение "не злой" и "не жестокой" женщины не будет сразу принято, рекомендовала поэту поездить по стране, узнать людей, которых он оклеветал, понять, что это за люди, поездить по колхозам, по "великим стройкам коммунизма", и тогда она будет надеяться, что Пастернак "Лейтенанта Шмидта" не сможет остаться равнодушным.

В день опубликования "гнева народа" Б.Л. написал Николаевой ответ. Вот он:

> 1 ноября 1958,
>
> Благодарю Вас за искренность. Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался до их разоблачения.
>
> Все же я на Вашем месте несколько сбавил бы тону. Помните Верещагина и сцену справедливого народного гнева в "Войне и мире". Сколько бы Вы ни приписывали самостоятельности Вашим словам и голосу, они сливаются и тонут в этом справедливом негодовании.
>
> Хочу успокоить Вашу протестующую правоту и честность. Вы моложе меня, и доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому.
>
> От премии я отказался раньше содержащихся в Вашем письме советов и пророчеств. Я Вам пишу, чтобы Вам не казалось, что я уклонился от ответа.
>
> Б.П.

А на отдельном листочке Боря написал записку для меня:

> "Олюша, надо ли отвечать Галине Николаевой? Прочти и подумай. Если не надо, уничтожь письмо. Целую тебя. Если бы не плечо и лопатка, я был бы на верху блаженства. А ты?".

Я не отправила это письмо, и оно хранится сейчас у Иры.

Я не помню больше писем такого типа.

Каждый день стекался к нам поток сочувствия и поддержки. И иногда самые безыскусные, самые простые письма вызывали у Б.Л. слезы умиления.

Вот одно из них:

> Уважаемый Борис Леонидович!
>
> Сегодня я рассылаю поздравительные открытки и письма, и мне захотелось написать также и Вам.
>
> Всю эту неделю слежу за газетами с большой печалью и со стыдом за наших литераторов.
>
> ... Но я не верю нашим литераторам, выступившим против Вас. Их поведение омерзительно...
>
> Кто-то из писателей сказал, что Вам теперь никто не подаст руки. Ошибается. Крепко жму Вашу руку и желаю Вам сил и здоровья перенести все эти испытания.
>
> Помните, что важен только свой суд, суд своей совести. Прав тот, кто уверен в своей правоте.
>
> Вы не должны чувствовать себя одиноким. Вероятно, за всю свою жизнь Вы не имели столько сочувствия далеких Вам людей, сколько имеете сейчас.
>
> Будьте счастливы.
>
> Уважающая Вас
>
> Г.Зинченко
>
> Закройщица фабрики "Индпошив"
>
> Киев 4/XI 58.

Из редакции "Правды" нам переслали письмо главного инженера конструкторского бюро п/я 729 из Ленинграда С.А.Оболенского. Он писал:

Уважаемый т. Редактор!

Я — старый производственник... я — не критик, но я — большой любитель стихов, ценитель поэзии. И вот, прочитав статью В.Ермилова “За социалистический реализм”, опубликованную в N 154 газеты “Правда”, я подумал: “Если бы мы, производственники, ТАК ЖЕ критиковали друг друга, если бы каждый из нас РАДОВАЛСЯ промахам другого и старался бы их раздувать — не далеко ушли бы мы в своем производстве...”.

И далее он обстоятельно развенчивает доводы Ермилова против поэзии и прозы Пастернака.

Из Литвы П.Яцкявичус прислал Боре копию своей большой статьи:

“Пастернак выдержал труднейшее испытание временем. Круг его ценителей невелик, но тот, кто вошел в неповторимый мир его поэзии, уже никогда не изменит ей.

Ныне принято ставить в заслугу писателю искренность и честность. Пастернак был одним из немногих, кто предпочел молчание неискренности. Опаснейшая часть пути пройдена. Впереди — время, когда Пастернак перестанет быть “поэтом для поэтов” и станет поэтом для всех".

Было и такое письмо:

“Поэту Борису Пастернаку.

Я низко (до земли) Вам кланяюсь за счастье и радость, которые Вы дали мне своими стихами с тех пор, как я их узнала. Я ухожу из жизни, но я ухожу с ними, и я давала их многим, которые их будут знать и не забудут.

К.Прутская”.

Были и анонимные письма. Вот одно из тех, что пришли в разгар травли:

“Глубокоуважаемый Борис Леонидович!

Миллионы русских людей радуются появлению в нашей литературе настоящего большого произведения. История не обидит Вас.

29.X.58 Русский народ".

Помимо писем такого характера каждый день приходили пачки из-за рубежа из десятков различных городов мира, от людей самых несхожих профессий.

Помню, как Б.Л. до слез растрогало письмо какого-то кукольника из Гамбурга. Он писал о неудачах в своем кукольном театре, но ничего не просил. Тем не менее Боря послал распоряжение Фельтринелли в счет гонорара выслать кукольнику к Рождеству большую сумму денег.

Мне кажется, что тем, кто его переводил, принимал в нем какое-то участие или просто о чем-то просил, он за короткий срок раздал в виде подарков свыше ста тысяч долларов.

Чтение писем и ответы на них занимали тогда много времени, которым Б.Л. так дорожил. Но отвечать на письма казалось ему необходимым, наиважнейшим делом. Он отвечал почти на каждое письмо, если видел в нем живую человеческую душу.

Характерная для его позиции концовка письма к Е.Д. Романовой.

"...Я обрываю письмо не вследствие скудости чувства, а потому, что я совершенно не знаю досуга под тяжестью навалившихся дел, работ, забот и иностранной переписки, на какую-то долю которой я отвечаю по тем же побуждениям, как Вам, то есть когда отвечать заставляют не лица, писавшие мне, не правила вежливости, не наперед предрешенная и естественная признательность, но сами письма, одухотворенные, вызывающие восторг и удивление...".

Борису Зайцеву 29.7.59*: "Мне выпало большое и незаслуженное счастье вступить к концу жизни в прямые личные отношения со многими достойными людьми в самом обширном и далеком мире и завязать

---

* Борис Константинович Зайцев (1881-1972) — русский писатель; эмигрировал в 1922 г.; с 1924 г. жил в Париже.

с ними непринужденный, задушевный и важный разговор. К несчастью, это пришло слишком поздно".

По оценке Герда Руге за период с момента присуждения Нобелевской премии до дня смерти Б.Л. было получено от двадцати до тридцати тысяч писем.

Времени для стихов оставалось совсем мало. Одно из последних стихотворений было посвящено письмам:

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков...

За два-три дня до нашей поездки в ЦК по команде свыше все письма на имя Б.Л. задерживались и не доставлялись. Это его угнетало больше всего, больше всей этой травли. И поэтому первое, что Б.Л. потребовал у Поликарпова, когда вырабатывались условия "соглашения", это — разрешить переписку. На другой день почтальонша принесла Боре две полные сумки писем, накопившихся за это время, он был счастлив.

Приходили зарубежные газеты и журналы. И приносили отклики на травлю Пастернака.

Эрнест Хемингуэй: Я подарю ему дом, чтобы облегчить ему жизнь на Западе. Я хочу создать для него условия, необходимые для продолжения его

творчества. Я понимаю душевную разорванность, в которой сейчас должен находиться Борис. Я знаю, насколько глубоко он врос всем своим сердцем в Россию. Для такого гения, как Пастернак, разрыв с родиной был бы трагедией. Но если он приедет к нам — мы его не разочаруем. Я сделаю все, что в моих скромных силах, чтобы сохранить миру этот творческий гений. Я каждый день думаю о Пастернаке.

Халлдор Лакснесс: Я не понимаю ни Хрущева, ни советских коллег. Терпимость — единственная важная предпосылка для того, чтобы суметь оценить действительные заслуги такого великого писателя, каким является Борис Пастернак.

Альберто Моравиа: Пастернак производит впечатление юноши с седыми волосами... Только темные глаза с проницательным печальным взглядом выдают его происхождение. Это глаза человека, с которым беспощадно обходились, и которого жизнь подвергла жестоким испытаниям.

Альбер Камю: Весь мир знает, что Союз советских писателей с гораздо большим удовольствием увидел бы, что Шолохов награжден премией вместо Пастернака. Однако на Шведскую Академию это не могло повлиять. Она могла лишь со стороны оценить литературные заслуги обоих писателей. В этом отношении ее выбор, который далеко не является политическим выбором, означает просто признание литературных заслуг Пастернака. У Шолохова давно уже ничего не выходит нового, в то время как “Доктор Живаго” появился повсюду в мире как несравненная книга, которая далеко превосходит всю массу литературной продукции мира. Этот большой роман о любви не является антисоветским, как некоторые об этом говорят, он не имеет дела ни с какой партией, он — всеобъемлющ.

Джавахарлал Неру: Мы считаем, что если известный писатель высказывает мнение, которое противоречит господствующим в его стране взглядам, то он должен пользоваться уважением, а не подвергаться каким-либо ограничениям.

ВОЖДЬ НА ПРОВОДЕ

Поликарпов обещал нам, что праздники мы проведем спокойно, а потом, недели через две, он пригласит меня, чтобы составлять какое-то новое письмо. Ясно было, что они на этом одном унижении не остановятся. Но хоть эти обещанных две недели мы надеялись провести спокойно.

Не тут-то было. Во вторник четвертого ноября мы с Борей и Митей с утра сидели на Потаповском и разбирали очередную толстую пачку писем.

Боря страшно обрадовался, когда из одного разрезанного Митей конверта выпали листы, вырванные из книги. Это был рассказ Куприна "Анафема". Больше ни строчки, — да и к чему?

Раздался телефонный звонок. Мы попросили Митю отвечать, что нас нет дома — хотелось спокойно посидеть, хоть на час отгородившись от всего враждебного нам мира. Но послышался трагический полушепот зажавшего ладонью трубку Митьки:

— Мать, вождь на проводе!

— Говорят из ЦК. Ольга Всеволодовна, говорит Дмитрий Алексеевич, пора нам встретиться, давайте попросим Бориса Леонидовича написать обращение к народу...

Конечно, проще всего было бы остановиться на письме Б.Л. к Хрущеву, но на это не хватало ни ума, ни элементарной гуманности.

И все началось заново.

Боря тут же сел за стол и написал проект письма в "Правду". Он писал, что по его разумению Нобелевская премия должна была бы быть гордостью его народа и если он от нее отказался, то не потому, что считает себя виновным или испугался за себя лично, а только лишь под давлением близких и боязнью за них... Письмо было заведомо неприемлемо для Поликарпова.

Пошла я на следующий день с проектом письма, написанного Борей, в ЦК. Как и следовало ожидать, Поликарпов сказал, что мы с ним будем "сами работать

над этим письмом". Это была работа завзятых фальсификаторов. Мы брали отдельные фразы Б.Л., написанные или сказанные им в разное время и по разному поводу, соединяли их вместе. Вырванные из контекста, они не отражали общего хода мысли Б.Л. Белое становилось черным.

Но здесь же была выдана плата: Поликарпов твердым голосом заявил, что выручит нас в переиздании "Фауста" и обещал снять вето с Бори и меня в "Гослитиздате", так что нас будут снабжать переводческой работой.

Когда я тут же пришла к Боре с новым вариантом письма, в котором были почти все его слова, но совсем не было его мысли — он только рукой махнул. Он устал. Ему хотелось покончить с этим исключительным положением. Нужны были деньги на два дома и для других, кому он привык помогать. (Он как-то сказал: "вокруг меня создалось целое финансовое управление, много людей от меня зависят, и очень много денег надо зарабатывать..."). Обещание Поликарпова вернуть заказы на переводы поддержали надежду на возобновление прежней жизни... И Б.Л., совершив над собой непоправимое насилие, подписал это второе письмо. Оно было опубликовано в четверг шестого ноября:

> "Я обращаюсь к редакции газеты "Правда" с просьбой опубликовать мое заявление.
>
> Сделать его заставляет мое уважение к правде.
>
> Как все происшедшее со мною было естественным следствием совершенных мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии.
>
> Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу.
>
> Но я ошибся. Так ошибиться я имел основания, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например пять лет назад, когда моего романа еще не существовало.
>
> По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа, и убедился, что это присуждение шаг

политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я, по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ.

В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.

Но между мною и этой связью стали стеною препятствия, по моей собственной вине порожденные романом.

У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу.

Редакция "Нового мира" предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями, как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею.

В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию.

Мне ясно, что под утверждениями, доведенными до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему в конце концов я от премии отказался.

Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии (издания в других странах выпускались без моего ведома), вероятно, мне удалось бы хотя бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно об этом говорить.

В продолжение этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершались

добровольно. Люди, близко со мной знакомые, хорошо знают, что ничего на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал, и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают.

Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей.

Б. Пастернак.

5 ноября 1958.

Не об этих ли письмах Б.Л. говорил: "когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления"?

А рядом с трагедией, как это обычно бывает, своим чередом шли фарсы.

После второго письма — "епитимьи" — мы стали меньше бывать в Москве, а сидели больше в Переделкине. Кузьмич, наш хозяин — забавный и хитрый старик, был большой пройдоха. Боря иногда любил с ним беседовать, восхищаться его сочной речью и не один раз пил с ним самогон, получая от всей компании и застольных бесед большое удовольствие.

Не раз Кузьмич возвращался из шалмана навеселе и пел старинную песню: "Пущай могила меня накажеть за то, что я ее люблю. А я могилы да не страшуси...". Почувствовав, что нам очень нравится его пение, он всегда напевал при появлении на участке Б.Л. или тогда, когда особенно хотел подлизаться ко мне, получить вперед деньги.

Нас умиляли и разговоры стариков за стеной. Параличная бабка — жена Кузьмича — боялась, что тот ее оставит, а он набивал себе цену.

Бабка льстиво пела, встречая пьяноватого Кузьмича: "Да игде же это сокол наш? Да игде же это он летаеть?".

А Кузьмич хвастался, громыхая дровами: с "фекстиваля"-де он привезет себе турчанку в тюрбане, и во-

обще громко рассказывал — какой он был “лютый до баб” и в прежние времена “Олечку очень просто отбил бы” у Бориса Леонидовича.

А вообще-то Кузьмич с подобострастием относился к Б.Л., к его щедрости и шуткам. Правда, один раз очень был им недоволен. Мы с Б.Л. как-то восьмого марта не поладили и долго объяснялись. А Сергей Кузьмич ждал обычной “чекушки”. Б.Л. ушел, хлопнув дверью.

— Принес? — сочувственно спросил у меня Кузьмич, высовывая свою ушанку ко мне в дверь. Расстроенная, я отмахнулась.

— Чижолый тип... — вздохнул Кузьмич.

Вечером того же дня мы с Б.Л. хохотали над кузьмичевской неудачей.

Летом Сергей Кузьмич носил мою соломенную шляпу с широкими мягкими полями. Его большой нос кувшином забавно торчал из-под полей. Когда он встречался нам на мостике — трудно было удержаться от смеха, глядя на его высокую сутулую фигуру и усы, торчащие из-под шляпы.

То, что мы с Б.Л. нашли у него приют, Кузьмичу очень льстило.

Но вот рупоры заголосили на весь Божий свет, что Пастернак продался мировому капитализму, и глас этот достиг кузьмичевых ушей; старик справедливо рассудил, что денег у капиталистов должно быть много.

Через стенку в нашу комнату до нас донеслись разглагольствования Кузьмича:

— Ишь ты, а наш-то миллионщиком оказался! И кто бы мог подумать — сапожонки-то плохонькие, хуже моих; и сам-то не Бог весть что, а какими миллиенами ворочает...

Я засмеялась, а Боря неожиданно рассердился. Он стремительно подхватился и, опрометью обежав вокруг террасы, ворвался к Кузьмичу (а мне за стенкой все было слышно):

— Какие миллионы, Сергей Кузьмич? Ведь я же отказался от премии! Теперь будут твердить — миллионы, миллионы, забыв что с этими миллионами произошло — ведь я от них отказался!

Кузьмич, чтобы не портить отношений с Б.Л., тут же начал поддакивать:

— Да, да, знамо, слыхали, как же, отказались, отказались...

— Ну ты подумай, что он говорит, — кипятился Боря, возвращаясь через террасу назад, — он не хочет слышать, что я отказался, он слышит только про какие-то мои миллионы...

Я пыталась его успокоить, но скептическое отношение к происшедшему у Кузьмича взяло верх и мы явственно услышали его ворчание:

— Хм, это ктой-то же от таких деньжищ откажется?... Отказался!

Позже, когда мы перебрались в другой домик, нашей соседкой оказалась сторожиха Маруся, о которой я уже однажды вспоминала на этих страницах. Это была здоровая, красивая девка лет около тридцати; были у нее монгольские, но большие коричневые глаза, крепкие груди, ярко-розовый смуглый румянец. Частенько к ней наведывался развеселый дядя, маленький, плешивый, задорный и разговорчивый. Окошко комнатушки ее, имевшей отдельное крыльцо, выходило на шоссе, прямо на "шалман имени Фадеева", где вечно толпились пьяницы. Наши же три окошечка мирно смотрели на овраг, на струйку Сетуни, которая тут же, сразу разрасталась в озеро, столько раз воспетое в стихах конца пятидесятых годов.

Теперь этот "шалман" разгромлен, буйная поросль прикрыла струйку речонки, полынь и сорная трава оккупируют освобожденную от "шалмана" территорию; и пьяниц на дороге не видать, и Маруся не знаю где. Тогда в наш домик мы забирались с шоссе по корням деревьев, а теперь сооружена лестница. И бродят теперь там одни мои воспоминания — одни мои, но еще живут...

Так вот, не будем скрывать, развеселый Марусин дядя часто заезжал в гости и гнал в сарайчике самогон. Маруся нет-нет да и угощала меня, но пила я только, чтобы ее не обидеть — с отвращением и ужасом. Отношения с Марусей и дядей ее у нас были прекрасные. Теперь вместо Кузьмича Маруся топила комнату нашу в наше отсутствие, я оставляла ей ключи, Боря был с ней щедр, мил, доброжелателен, и, по-моему, Маруся не хотела других жильцов. В один полувесенний апрельский, сыроватый и милый денек, мы увидели двух

незнакомых мужчин у Марусиного крыльца. Они по-хозяйски выносили какие-то тазы, таскали ящики и вежливо представились нам, как родственники Маруси. Маруся была как-то растеряна, как бы извиняясь передо мной сказала, что они тут поживут совсем недолго.

Утром я проснулась от странного сверлящего звука.

— Что это вы там мастерили с утра? — спросила я Марусю.

Та, тревожно оглядываясь на дверь, сообщила, что два этих типа никакие ей не родственники — это они так обязали ее говорить нам, якобы для того, чтобы не вызвать ненужного беспокойства. А на самом деле — это работники уголовного розыска просверлили дырку в стене, чтобы удобней наблюдать за каким-то крупным уголовником, посещавшим шалман; и они якобы намереваются раскрыть целую бандитскую шайку. Маруся очень просила меня соблюдать полный секрет, и я никому, кроме Б.Л., сначала ничего не сказала.

Люди эти пожили немного, потом уехали, потом возвращались еще, и не один раз. А когда один из друзей предупредил, что у нас где-то поставлен магнитофон (проболтался живший у него пьяный служащий соответствующего учреждения), и даже номер этого магнитофона сообщил, я стала тревожиться и раздражать своими тревогами Б.Л. А он, по обыкновению, подшучивал надо мной, и спрашивал — зачем, по моему дурацкому соображению дырка в стене, которую я ему в отсутствие Маруси таинственно показала, и какое отношение дырка эта имеет к нам? Моей тревоге по-настоящему сочувствовал только Гейнц; рассказывал всякие страсти о том, как сейчас техника помогает подслушивать на расстоянии, чем меня не очень-то утешил. А русский наш друг предложил позвать "своего парня" — радиотехника и выстукать стены и подвал. В случае, если мы отыщем "адскую" машинку, нас не только не обвинят, а наоборот — обвинять будем уже мы, так как вставлять такие штучки в стенки — недозволенный вроде метод.

Этот же мой друг, правда не сразу, а через довольно большой промежуток времени прислал нам такого радиста. Я, помню, всех выставила из дома, когда Маруся уехала куда-то, и парень этот стал выстукивать стенки и полез в подвал, который мы открывали зимой для кота. Вылез он оттуда в кошачьих испражнениях, в пы-

ли и паутине, заработал свои денежки честно, но ничего не нашел. В случае успеха парню была обещана тысяча рублей, а ежели не найдет — половина. В общем, плакали наши денежки, и Боре снова был полный простор для издевательства надо мной.

Но все же — дырка оставалась, "родственнички" Маруси нет-нет да являлись время от времени. Так что все-таки что-то тревожило, на душе было неспокойно. Но вот однажды и дырка объяснилась. Как-то мы все пили чай — Боря, мама, Сергей Степанович и я. Был, как сейчас помню, розовый закатный час, когда за мной прибежала Маруся и потащила к дырке. На шоссе стоял черный "воронок", и кого-то вталкивали туда за белые ручки.

— Поймали! Выследили! — Я была еще раз осмеяна.

— Неужели ты думаешь, — иронизировал Б.Л., — что для тебя специально вора ловили и "воронок" присылали? Очень мы им нужны! Тем более — наши взгляды им очень хорошо известны — будут "они" такие деньги тратить! Мы же не скрываемся.

Когда пришлось мне встречать Новый год у друзей, я рассказала, смеясь над собой, о своей мнительности. В компании был известный адвокат — ему потом пришлось защищать меня. Помню, как он неожиданно серьезно выслушал мой рассказ и загадочно сказал: "А как раз может для вас это и было проделано. Думаете, вы таких денег не стоите?". Я передала этот разговор Боре, он только возмутился, что я снова схожу с ума, и все это глупости — такая ерунда!

А на самом деле вскоре выяснилось: не мифических разбойников выслеживали, а за нами следили. Мы стоили того: и дырок, и бутафорского "воронка", и магнитофона (он тоже потом нашелся).

Меня трогало и удивляло, что Б.Л., совершенно равнодушный к мнению сильных мира сего, дорожил отношением почтальонши, молчаливой преданностью домработницы Татьяны, радовался, что истопник здоровается с ним "так же, как и прежде".

Однажды, после прогулки, словно произошло что-то очень важное и светлое, со слезами в глазах он рассказал, как по дороге встретил переделкинского милиционера, старого знакомого. И этот милиционер поздоровался с ним, словно ничего не произошло...

По молчаливому соглашению держаться в те дни на юморе, извлекая его откуда возможно, мы таким образом, казалось бы, "легким" отношением к происходяще-

му заразили и Б.Л. С большим артистизмом и остроумием рассказывал он о разных случаях, связанных с последними событиями. Один из таких рассказов запомнила Ира:

> "..."Доктор Живаго" и Нобелевская премия, — говорил Б.Л., — настолько выходит за рамки обыденщины, что все наши сумасшедшие приняли меня за своего вождя. Поэтому какие-то безумцы подстерегают меня и тем или иным способом проникают на дачу. Один предлагал зашифровать роман. Другой (по фамилии, кажется, Гилитин) утверждал, что он и его мама видят апокалиптические сны, определяющие мою жизненную линию. И вот, чтобы сообщить об этой линии, чтобы я с нее ненароком не сбился, Гилитин пробрался на чердак, а уже с чердака проник на второй этаж и, поведав мне о своих и маминых снах, удалился. Спустя некоторое время раздался стук в парадную дверь: вернулся Гилитин. Он забыл на чердаке галоши, и вот Леня лезет по лестнице на чердак за его галошами... ".

Таких анекдотических историй очень много. И если одну из них я здесь привожу, то только потому, что они играли какую-то не совсем последнюю роль для Б.Л.

Я понимала, что в этом — много актерства, но и знала, какой болью сердца ему все это достается. Ну а внешне — внешне все хорошо: мы все хохотали, и со стороны можно было подумать, что все легко и ладно.

Наше тревожное и беспокойное настроение рассеивали ребята. Они под предводительством Ирки (мы ее стали называть "Тимур и ее команда") приезжали по вечерам к Б.Л., а ему так важно было знать: его по-прежнему любят и уважают, им восхищаются, гордятся. Среди студентов я припоминаю Юру Панкратова — известного теперь поэта, покойного Ваню Харабарова и молодого чувашского поэта Геннадия Лисина (Айги).

Когда молодежь приезжала, Б.Л. с удовольствием сидел с ними в кузьмичевской комнатке, разговаривал. А потом они все его провожали по тропинке между нашей изгородью и окном, через длинный мост над Измалковским озером, под старыми ветлами. Б.Л. был воз-

бужден, много говорил, по-детски неприкрыто радовался, что его любят, и особенно привязался за это время к Ирине.

Как раз в те дни он подарил ей любительский киноаппарат, и она хоть и неумело, но сняла одну из таких прогулок. Осталось несколько кадров, на них Б.Л. такой живой, такой близкий, что трудно этот, к счастью, сохранившийся у нас "фильм", смотреть без слез.

— Она моя умница, — говорил Б.Л. про Иринку. — Как раз такая, о которой я мечтал всю жизнь. Сколько у меня или около меня детей выросло, а люблю я одну ее...

И когда я его упрекала, что он балует Ирку где нужно и где не нужно, он мне отвечал:

— Лелюша, не надо на нее нападать, ее устами всегда говорит правда. Ты же говоришь, что она больше моя, чем твоя, так вот делай, как она говорит! Она большая умница и все понимает. Тот будет счастливый человек, кто поймет, какая это тонкая и особенная душа. Ее сразу не разглядишь, но когда она открывается во всей прелести, то нет, нет, я не вижу еще человека, достойного ее.

На переводе "Фауста" Б.Л. написал:

> "Ирочка, это твой экземпляр. Я верю в тебя и уверен в твоем будущем. Будь смела душой и мыслью, мечтой и волей. Доверяй природе, духу судьбы, крупным событиям, а из людей только тем немногим, тысячу раз проверенным, достойным твоей веры.
>
> Почти отечески
>
> твой Б.П.
>
> 3 ноября 1955 — Переделкино".

* * *

С концом официальных преследований не закончился "Роман вокруг романа".

Продолжались нелепые выпады, появлялись то стишки Михалкова, то статейка Кочетова, то обзор "Операция Пастернак" в журнале "Новое время". Это Б.Л. не трогало. Главное заключалось в том, что нельзя было насиловать его душу безнаказанно. А ведь он, подписав те два письма, совершил над собой непоправимое насилие. Ибо главная ложь писем — мнимое отсутствие насилия, которое одно только и превалировало над всей

нашей жизнью, особенно в дни бешеной травли за роман. Конечно, ни от одной строчки из романа Б.Л. не отказался до последнего вздоха.

А то, что происходило с нами, — это он знал все заранее. Ведь еще в романе он писал:

> "...От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, кого не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состояшее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно...".

Вероятно, в каждом человеке есть черта, которую не преодолеешь, есть какой-то минимум того, каким человек есть и каким быть может.

Вот этого-то минимума ко времени, когда Б.Л. пришлось делать все наперекор своим наклонностям и стремлениям, и насиловать себя непрестанно, по-видимому, уже не оставалось.

А насилие было всеобъемлющим, насилие сломило Б.Л. и убило его. Медленно, но верно... Силы были надорваны, сердце и нервы стали сдавать. Сказалась губительность психологической обстановки, в которой он жил. Поток озлобленных писем и превосходно организованный и отрепетированный "гнев народа" только еше выше поднимал у Бориса Леонидовича чувство человеческого достоинства и гордости. И тем не менее все эти тошнотворные потоки казенной брани и лжи не могли не вызвать нервного перевозбуждения и его последствий.

Давно, еще в начале двадцатых годов, Марина Цветаева писала Пастернаку : "Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь". Нет, он не израсходовался. Верно о нем сказано: "Все скудеют на склоне лет, самих себя перепевают, самих себя переживают. А этот, прожив одну творческую жизнь, шагнул во вторую".

Но не зря гласит народная мудрость : "В тесноте люди живут, а в обиде гибнут...".

О последнем годе жизни Бориса Пастернака я хочу рассказать отдельно.

Часть четвертая

"АВГУСТ"

Я расскажу о той из века в век
повторяющейся странности,
которую можно назвать последним
годом поэта...

БОРИС ПАСТЕРНАК

Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

БОРИС ПАСТЕРНАК

СВЕТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Да, трагедию мы, казалось, пережили и теперь делали все, чтобы жизнь не выходила из обычной колеи. Никогда еще не было между нами такого сердечного единодушия. Так верно об этом написано в романе: “Они любили друг друга не из неизбежности, не ”опаленные страстью", как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались".

Когда я уезжала в Москву, Боре не сиделось на “Большой даче”, и он летел утром за мной. На Потаповском мы принимали людей, которые не боялись к нам приходить. Почти всегда была с нами строгая, спокойная, очень твердая Ариадна, Н.М.Любимов, жертвенный и благородный Кома Иванов, часто бывали у нас Костя Богатырев, Юля Живова, Инна Малинкович.

Постепенно восстанавливался режим дня, отработанный Борисом Леонидовичем годами, ставший почти ритуальным. А по ритуалу полагалось часов в девять вечера звонить по делам. Заранее составлялся список, рядом с именами писателей — по какому делу.

Здесь были и какая-нибудь поклонница-старушка, или обожавший Б.Л молодой поэт, или, бывало, Б.Л. отвечал по телефону на какое-нибудь письмо, деловое или личное, вел переговоры с редакциями.

Ирочке из Переделкина он часто звонил, например, по таким поводам:

— Во вторник я буду в Москве. Купи, пожалуйста, к этому дню сто конвертов без картинок, а также разных марок, особенно тех, с белками, помнишь?

А для ответов людям, которые ему были неприятны, он требовал купить какие-то специальные марки, на которых, по его мнению, была изображена “противная рожа”.

В дни, когда не только над стабильным жизнепорядком, но и над самой жизнью нависла угроза — и тогда Б.Л продолжал, по возможности, поддерживать свой привычный режим дня. Ему казалось, что этим он не дает хаосу и страху затопить все, а значит — победить себя.

В положенные часы он переводил Словацкого и Кальдерона. В работе над Кальдероном ему помогал Николай Михайлович Любимов — человек тонкий и образованный, понимающий, что грязь и сумятица вокруг романа пройдут, а Пастернак останется Пастернаком.

Я ехала в Москву и там, на Потаповском, считывала с Николаем Михайловичем куски перевода, а потом осторожно просила Б.Л. изменить то, что Н.М. находил отдаленным от текста. Вскоре пришел первый после скандала гонорар за Кальдерона. А обещанное Поликарповым переиздание "Фауста" все еще брезжило где-то за горами.

Прежним остался и ритуал вечерней прогулки. Я, а иногда мы с Ирой, провожали Б.Л. до конторы Дома творчества и очень хорошо чувствовали, что теперь традиционные вечерние звонки стали мучительными, хотя он и не мог от них отказаться. Б.Л. боялся теперь услышать из трубки холодный голос, грубость; бывало ему и горько, и страшно, но, превозмогая волнение — звонил.

Как-то мы шли в контору втроем. Б.Л. вошел туда, а мы остались с Ирой на крыльце у полуоткрытой двери. Осенняя промозглая тьма... шум в соснах... свистки далеких электричек... В такие минуты страшно за всех, но особенно за одного — самого одинокого и беззащитного в этом огромном и враждебном ему мире.

Так мы стояли в осеннюю непогоду со своими невеселыми мыслями, и вдруг услышали громкие, отчаянные рыдания. Вбежала я внутрь и увидела — Б.Л. плачет, держа трубку в руках, что-то хочет сказать, но не может. Наконец он положил трубку и рассказал, что позвонил Лиле Брик и та воскликнула, как будто все время ждала его звонка:

— Боря, дорогой мой, что же это такое, что же это делается с тобой?

Это было так неожиданно, что он ничего не мог ответить, от слез не мог выговорить ни слова. Потом позвонил Лиле еще раз...

Бывали у нас иностранцы, и этого никак нельзя было избежать. Вскоре после появления романа в Италии, а затем и повсюду в мире, последовало два параллельных вызова нас к властям "наверх". Смысл их был один — внушить Б.Л. и мне: "никаких иностранцев!". Время показало, что ничего не было абсурдней и непродуманней такого требования.

Первого "наверх" позвали Борю. И не позвали, а нахрапом, неожиданно, почти насильно подхватили в машину и увезли — усовещевать. День его вызова был едва ли не самым тяжелым в моей жизни.

Накануне я уехала в Москву с тем, чтобы остаться там на завтра. Но в тот же день, не успела я приехать, он позвонил из Переделкина и попросил отложить все дела и к девяти утра вернуться в нашу комнатушку. Приезжаю, но его нет. Жду, волнуюсь — чего только не передумала — хоть бейся головой об стенку. Вызвал — и нет! Что-то страшное, наверное, случилось.

Только в пять вечера, совершенно больная, догадалась пойти в контору — позвонить в Москву: может, там что-то знают? И не ошиблась: у телефона сидел связной — Митя; сказал, что Классюша два раза звонил, сообщил, что он неожиданно находится в Москве и передавал, если я догадаюсь позвонить, чтобы сидела в Переделкине и его дожидалась. Мое отчаянье сменилось негодованием. Возвращаясь из конторы, я с удивлением узрела правительственную машину, из которой у нашего мостика высадился и пошел ко мне навстречу Боря. Я было набросилась на него, но он рассеянно выслушал мои упреки и объяснил, как внезапно, прямо у нас на крылечке, на него налетели и увезли.

— Не сердись, Олюша, — твердил он, целуя меня посредине дороги, — зато, что я тебе расскажу! Знаешь, я говорил с человеком без шеи...

Это был прокурор, если не ошибаюсь — Руденко. Он пытался взять у Б.Л. письменное обязательство не встречаться с иностранцами.

— Если Вам надо — поставьте конвой и не пускайте ко мне иностранцев, — отвечал ему Б.Л., — а подписать я могу только, что знаком с вашей бумагой, но обязательств — никаких. И вообще странно от меня требовать, чтобы я лизал руку, которая меня бьет и даже не раскланивался с теми, кто меня приветствует.

— Так вы же двурушник, Борис Леонидович, — раздраженно сказал прокурор.

И Боря с удовольствием подхватил и поддакнул:

— Да, да, правильное вы нашли слово, действительно я двурушник...

Вернувшись на "Большую дачу", Б.Л. на входных дверях вывесил объявление, написанное на английском, французском, немецком языках: "Пастернак не принимает, ему запрещено принимать иностранцев".

Я была "отомщена" очень скоро. Уже дней через десять Б.Л. пришлось на Потаповском волноваться за меня. Дети ему сказали, что двое неизвестных увезли меня на черном "зим"е. В виде особой милости среди дня мне дали возможность позвонить домой и сказать, что я скоро вернусь. А привезли меня на Лубянку, где маленький, сухонький генерал угощал меня чаем и тоже хотел получить от меня подписку о необщении с иностранцами. Идя по Бориным стопам, я расписалась лишь за то, что ознакомлена с таким требованием, но никаких обязательств на себя не взяла. А генерал говорил еще, что на меня и Б.Л. они рукой махнули, но нужно спасать от нас детей, — они, мол, слушают не то, что нужно*.

— Подумай, "они" детей стали воспитывать, видишь как, "помягчели", — удивлялся Боря на мой рассказ. – Я думал, что ты не вернешься и готовился скандал им закатить на весь свет.

Но помню, после этих двух наших визитов мы решили по возможности гусей не дразнить и лишних встреч с иностранцами временно избегать. Как же я разозлилась, когда тут же после нашего уговора Боря вслед за мной в Москву послал молодого филолога из ФРГ Герда Руге.

— Олюша, я не мог ему отказать! — защищался Б.Л. — Он пишет обо мне книгу! Первый вариант у него с собой. Он хочет познакомиться с Ларой и Катенькой! Не мог я ему отказать: он такой красивый, такой белокурый!

---

* Незадолго до того Митя на вечерушке сломал под каким-то парнем стул за то, что тот оскорбительно отозвался о Б.Л. А у Иры появился жених — француз. И все это, как оказалось, немедленно становилось известно на Лубянке.

Ирка немедленно поснимала все скатерти “на западный манер” и предупредила меня — не устраивать “жральню”, а угощать только шампанским и ананасами в сахарной пудре.

Тут позвонил Руге для уточнения адреса. Я объяснила бестолково, сказала, что встретит его моя Ира где-то между Покровскими и Кировскими воротами. Как ни странно, но Ира тотчас же признала его и привела. Он был действительно очень красив, кареглаз, белокур, выхолен и на вид моложе Митьки — а тому было лет шестнадцать. Герду же — двадцать семь.

Ананасы съели, а гость продолжал сидеть за столом. Когда позвонил Б.Л. узнать, как он себя чувствует, я рассказала об Ирином ультимативном великосветском меню. Б.Л. позвал Ирку к телефону, усовестил, и она сдалась. Герд с удовольствием ел котлеты по-киевски, сосиски, картошку. И сидел до трех часов ночи...

В один из последующих визитов Герд Руге попросил разрешения представить нам своего товарища из ФРГ — постоянного корреспондента газеты “Ди Вельт” в Москве — Гейнца Шеве. Вскоре пришел Гейнц Шеве — высокий, еще молодой, благожелательный человек, скверно, но не без юмора говоривший по-русски. Он представился Боре как однокашник. И правда: бывший летчик, он окончил затем Марбургский университет, где почти за 45 лет до этого слушал курс знаменитого проф. Когена Борис Леонидович. И еще одно очень важное обстоятельство: Г.Шеве был ближайшим другом Джанджакомо Фельтринелли, привез от него для Б.Л. советские деньги и деликатное поручение — просить Б.Л. держаться подальше от Д’Анжело и близких ему людей. Издатель просил поддерживать связь с ним исключительно через Гейнца.

Забегая вперед скажу, что Шеве стал и нашим настоящим бескорыстным, преданным другом. Показав проект договора от Фельтринелли, он мягко остановил готового подписать бумагу Б.Л.: “Не торопитесь, Джанджакомо там, в Милане, а Вы здесь, в Москве. Фельтринелли оттуда не видит ваших опасностей. Надо подумать”.

Вскоре стало ясно, что Гейнц неравнодушен к нашей Иринке. Б.Л. был даже доволен этим обстоятельством, но у Иры в это время начался роман с Жоржем Нива. И, видя огорченные глаза Шеве, когда Ирина пе-

рестала приезжать на наши воскресные обеды и стала явно избегать Гейнца, Б.Л. подарил ему перевод "Фауста" с надписью: "Как бы ни повернулась жизнь — вы всегда будете членом нашей семьи".

Еще позже, второго июня шестидесятого года, когда десятки (если не сотни) корреспондентов со всех концов земли снимали, записывали на магнитофоны и в книжки каждый момент похорон Бориса Леонидовича, Гейнц неотступно был возле меня, начисто забыв о своих профессиональных интересах. Когда кто-то из корреспондентов упрекнул его за это, Гейнц ответил: "Да, я не снимаю, да, я не пишу — ведь я друга хороню...".

Это — только отдельные штрихи. С момента, когда Шеве вошел в нашу жизнь, мы каждое мгновенье чувствовали и понимали, что это настоящий друг, каких не часто встретишь. К сожалению, обстоятельства (а иногда и легкомыслие) привели к тому, что мы ослушались предупреждений Фельтринелли относительно его испортившихся отношений с Д'Анжело и продолжали писать Серджио. Нам пришлось поплатиться за это дорогой ценой.

К этому времени Д'Анжело сделал перевод на итальянский автобиографического очерка Б.Л. и решил, что хватит ему служить у Фельтринелли, а пора открывать свое издательство. Возник острый конфликт, с которым мы, к сожалению, не посчитались.

Срок пребывания в Москве Д'Анжело как официального работника Московского радио, истек, и, уезжая, он познакомил нас со своим преемником Гарритано. Этот Гарритано возбуждал у всех нас какое-то интуитивное недоверие и неприязнь. Однако, несмотря на это и на все предупреждения Шеве, мы дали втянуть себя в неприятную историю.

Как раз когда Шеве в Москве не было, я по странному поручению Бориса Леонидовича встретилась с Гарритано, передала ему два чистых бланка с подписью Б.Л. и какие-то важные распоряжения и документы для передачи их через Д'Анжело — Фельтринелли. Гарритано уехал, как потом выяснилось не в Италию, а на юг. Когда он вернулся, уже после смерти Б.Л., то его жена Мирелла несла мне несусветный вздор о том, будто "корзинка" со всеми адресованными Фельтринелли документами попала под какой-то легендарный кавказский ливень, размокла и "исчезла".

Я апеллировала к Гейнцу. В это время ов возвратился в Москву. Несмотря на свою обиду, Гейнц явился незамедлительно. Я заставила прийти на Потаповский и супругов Гарритано, хотя вначале итальянский "коммунист" не хотел встречаться с западным немцем. На встрече я впала в истерику, а Гейнц унимал меня и, слушая несусветное вранье про корзинку и ливень, ледяным тоном говорил: "И такое бывает...". А потом, потирая пальцы, вежливо спрашивал: "А какова погода в Риме?".

Мы договорились встретиться вчетвером еще раз, чтобы сообщить условия, на каких мы дадим знать Фельтринелли об очевидном предательстве его и наших интересов, и супруги Гарритано ушли. Едва захлопнулась за ними дверь, как спокойствие Гейнца испарилось: "Вы верите хоть одному слову этим людям? — спрашивал он в бешенстве на своем ломаном языке. — Ничего они не сказали правду! Я сумею наказать их!"*.

Глаза у Гейнца отливали стальным блеском, пылали сдержанной яростью, и он все потирал руки, стараясь вернуть себе спокойствие.

Да, это был преданный друг. Он делал все, чтобы уберечь меня от безрассудных шагов.

— Глюпая женщина, — говорил он по международному радио, пытаясь защитить меня, — слишком много на нее упало сразу.

И нет, не его вина, что от многого уберечь меня не удалось...

Но я слишком далеко забежала вперед. Надо вернуться к началу последнего в жизни Б.Л. года.

"НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ"

Все назревало исподволь и давно. Со старой семьей у Бори установились холодные, враждебные отношения.

---

* Роль супругов Гарритано во всей этой истории (и кому они служили) так и осталась невыясненной.

Причиной всех бед на "Большой даче" считали меня, но и Борю понять не могли и не хотели.

25 января 1960 г. Б.Л. писал Ренате Швейцер:

> "Ты познакомишься с моей женой З., увидишь дом и жизнь в доме. Ты придешь и, может быть, увидишь людей и положения, которые меня как-то характеризуют или людей и положения, которые, несмотря на кажущуюся близость, меня вовсе не характеризуют. Все это зависит от случая. А потом я тебя поведу к О...".

Но тут его терпение лопнуло, он решил порвать с "Большой дачей" навсегда. Оказалось — он договорился с Паустовским, что зиму мы проживем у него в Тарусе.

С самого начала мне не верилось, что Боря способен выдержать бурю ухода. И вообще — можно ли этого требовать от человека в шестьдесят девять лет? Но он сам это решил и мне казалось — очень твердо.

Мели январские затяжные метели, и на душе было сумрачно и тревожно.

В день, назначенный для переезда в Тарусу, Б.Л. пришел рано утром, очень бледный, и сказал, что ему это не по плечу.

— Чего тебе еще нужно, — говорил он, будто инициатива перемены исходила от меня, — когда ты знаешь, что ты моя правая рука, что я весь с тобою? — Но нельзя, мол, обездолить людей, которые этого не заслужили и сейчас уже ничего не требуют, кроме видимости привычного уклада; нужно примириться, пусть будут два дома и две дачи. Он говорил еще много, и все в этом духе.

Я разозлилась не на шутку. Интуитивно я догадывалась, что больше, чем кто бы то ни было нуждаюсь в защите именем Пастернака, и заслужила его. Мои худшие предчувствия оправдались полтора года спустя. Если в сорок девятом его имя мне помогло, то в шестидесятом (если бы было закреплено официально) оно бы предотвратило катастрофу.

Но тогда, двадцатого января пятьдесят девятого, я только смутно могла об этом догадываться, и главным были не эти смутные догадки, а дух женского протеста, его, сам того не желая, вызвал во мне Б.Л. Я упрекнула его в том, что он сохраняет свое спокойствие за

счет моего и объявила о своем немедленном отъезде в Москву.

Он беспомощно повторял, что я сейчас, конечно, могу его бросить, потому что он отверженный.

Я назвала его позером; он побледнел и, тихо повторяя, что я все скоро пойму, вышел. Я не удерживала его.

Приехала в Москву — и вечером в трубке виноватым голосом обычное начало:

— Олюша, я люблю тебя... — Я бросила трубку.

Утром раздался звонок из ЦК:

— То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, — возмущенным голосом говорил Поликарпов, — еще хуже истории с романом.

— Я ничего не знаю, — отвечала я, — я ночевала в Москве и еще днем рассталась с Борисом Леонидовичем.

— Вы поссорились? — спросил раздраженно Поликарпов. — Нашли время. Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств...

Я начала одеваться, когда из переделкинской конторы позвонил Боря:

— Лелюша, не бросай трубку, — начал он, — я тебе все сейчас расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Пошел на "Большую дачу" и написал стихотворение о Нобелевской премии.

Вот оно:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет — все равно.

Что ж посмел я намаракать,
Пакостник я и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Все тесней кольцо облавы.
И другому я виной —
Нет руки со мною правой —
Друга сердца нет со мной.

Я б хотел, с петлей у горла,
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.

— Я написал это стихотворение, Лелюша, и пошел к тебе, — рассказывал мне Боря, — мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать? Я рассказал, что только что потерял любимого человека и показал ему стихотворение, которое нес тебе...

Я поехала в Переделкино и, в свою очередь, рассказала Боре о звонке Поликарпова. В нашей измалковской халупе снова восстановился мир.

— Неужели ты думал, что я тебя и впрямь брошу, что бы ты ни натворил? Путаник ты мой...

На следующий день на снежной дороге от переделкинского магазина меня догнал Юрий Олеша:

— Подождите минуточку! — Я остановилась. — Вы не бросайте его, — сказал Юрий Карлович, умоляюще глядя на меня. — Я знаю, вы хорошая женщина. Не бросайте его!

А стихотворение "Нобелевская премия", хотя оно было написано не для печати, тоже пошло гулять по белу свету.

Иногда падение крошечного камешка является причиной горного обвала. Только в этом смысле наша ссора явилась причиной появления "Нобелевской премии". Главной же причиной была травля Б.Л., его "положение зверя в загоне". Этим стихотворением он перечеркнул все усилия своих преследователей, желавших обмануть потомков — будто он сам "совершенно добровольно" отказался от премии и публично покаялся... Б.Л. достойно отплатил за те два письма, которые в страхе за близких и перед лицом угрозы лишения родины принужден был подписать.

На этой же неделе, в воскресенье, Б.Л. нашел среди своих бумаг две литографии, выпущенные в количе-

стве ста экземпляров Строгановским училищем в 1908 году с рисунка Леонида Осиповича Пастернака. Это известный рисунок с натуры: за рабочим столом — Лев Толстой.

Б.Л. подарил эти две литографии моим близким: сыну Мите и отчиму Сергею Степановичу. На литографии, предназначенной Мите, Б.Л. надписал:

> Дорогому Мите Виноградову, опрометчивому и одаренному молодому человеку, с пожеланиями, чтобы его крутой и отрывистый юношеский путь выровнялся и стал легче, с любовью и верой в него.
>
> 25 января 1959 г. Б.Л. Пастернак.

В общем — снова у нас наступили мир и согласие.

Но если бы эта наша ссора была последней! Если бы так было!...

В начале февраля меня снова вызвал Поликарпов. Он сказал, что в Москву приедет премьер-министр Великобритании Мак-Миллан со свитой и что встреча Б.Л. с кем-либо из англичан нежелательна. Он может дать какое-нибудь опрометчивое интервью, которое ему-де самому потом повредит. Поэтому было бы хорошо, если бы Б.Л. на это время куда-нибудь уехал.

Как я и думала, Б.Л. возмутился и сказал, что ни за что никуда не поедет. Но здесь подоспело приглашение от Нины Александровны Табидзе. Зинаида Николаевна, дружившая с Н.А., увезла Борю в Тбилиси.

Перед отъездом, прощаясь со мной, Боря беспомощно твердил:

— Олюша, это не ты, не ты это говоришь. Это все уже из плохого романа. Это не мы с тобой.

Но я, холодная и чужая, уехала в Ленинград. Ира пересылала мне туда Борины письма, а я на них не отвечала. Горечь этой последней в нашей жизни ссоры гложет меня и по сей день.

Обычно, когда у него дрожали голос и руки, — я бросалась к нему, покрывая поцелуями руки, глаза, щеки. Как он был беззащитен и как любим...

Борис Леонидович пробыл в Тбилиси с 20 февраля по 6 марта 1959 года и прислал мне оттуда одиннадцать чудесных писем (см. письма 10 — 20 в конце книги).

Вскоре после приезда (15 марта 1959 г.) он писал Б.Зайцеву в Париж:

"Не могу Вам передать... как Вы обрадовали своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражений, которой, наверно, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам".

И уже незадолго до конца (быть может — в его предчувствии) Б.Л. писал 7 февраля 1960 г. в Нью-Йорк Джорджу Риви:

"По правде говоря, мне следовало бы сейчас исчезнуть и спрятаться, как сделал Кнут Гамсун к концу жизни — и писать втайне все, что я еще могу сделать — но в русских условиях это невозможно" *.

"ДРУЗЬЯ, РОДНЫЕ — МИЛЫЙ ХЛАМ..."

Борис Леонидович не выносил одиночества, и в дни тревоги не я одна — многие из по-своему любивших его людей говорили с ним, советовали, убеждали.

Однако, подобно киплинговскому "коту, который ходил сам по себе", Б.Л., невзирая ни на чьи советы, делал все по-своему. У него были свои понятия, чем ему надо и не надо заниматься.

Нередко при этом получалось так, что не умевшие понять этой истины люди, мнившие себя ближайшими друзьями поэта, при попытке присвоить себе право как-то влиять на его поведение или образ мыслей, подвергались остракизму.

---

* "Девять писем Бориса Пастернака". Публикация Елены Левин. Бюллетень Гарвардской библиотеки, том XV, N 4, октябрь 1967 г. (Написано по-английски).

Еще тридцатого сентября пятьдесят восьмого года Боря писал Ренате Швейцер:

"... Мне свойственна эта тяга к сводничеству — познакомить между собой и собирать самых избранных и дорогих своих друзей. Они встречаются между собой чаще, чем со мной, это скорее всего наша компания вокруг Ольги. Наши обычные гости, т.е. наша домашняя компания для меня гораздо безразличнее. Эта воскресная компания, которая Ольгу совсем не знает, состоит из признанных, богатых людей мира искусства и театра, но моя душа не принадлежит им, а... молодым, неизвестным, которых тянет к Ольге".

В мрачные дни преследований "домашняя компания" "Большой дачи" стала не только безразличной Б.Л., но часто и раздражающей его.

"Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал".

Б.Л. обычно охотно соглашался почти со всяким советом и критикой.

— Да, да, да, вы совершенно правы, — нетерпеливо поддакивал он с улыбкой, — это очень плохо. — Но потом без приязни вспоминал этого человека.

"Его доверчивось равнялась только его недоверчивости. Он доверял — вверялся! — первому встречному, но что-то в нем не доверяло — лучшему другу" (М. Цветаева).

Ранней осенью пятьдесят девятого актер театра Вахтангова Астангов пригласил Б.Л. и меня на спектакль "Перед заходом солнца". Боря любил Михаила Федоровича и как человека, и как актера. Он охотно принял приглашение, и мы, не подозревая об ожидающем нас душевном смятении, отправились в театр.

Борис Леонидович смотрел спектакль молча, сосредоточенно, почти не отводя взгляда от сцены. Я чувствовала, что в его напряженном внимании к действию кроется не просто интерес к произведению искусства, но какое-то глубоко затаенное личное переживание. Моя догадка подтвердилась — на выходе из театра Боря сказал:

— Астангов превосходно сыграл меня, но вот Целиковская — очень слабо тебя.

Всякий, знающий пьесу Гауптмана "Перед заходом солнца", поймет — что значит отождествление Борисом Леонидовичем себя с Матиасом Клаузеном и меня — с Инкен Петерс. Стена непонимания и злобы, окружавшая последнюю любовь старого ученого, отчуждает его от всех близких и приводит к трагическому концу...

Борис Леонидович был полон таких предчувствий. И потому всякий камень в меня (кем бы он ни был брошен) его раздражал, а порицание романа (нередко опять же связанное с моей особой) приводило его в негодование. И тогда обычно добродушный и доброжелательнейший Борис Леонидович становился вдруг резким, нетерпимым, временами даже — грубым.

Не все из близких это понимали и учитывали в своих отношениях с Б.Л. Актер МХАТа Борис Ливанов исподволь, но достаточно определенно пытался внушить Б.Л., что тот прежде всего — лирический поэт, и потому неразумно уделять столько времени и сил роману. А тем более — отстаивать право на его существование.

Роман же для Б.Л. был творческой целью всей его жизни, в него вложил он раздумья свои о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о любви, природе и назначении искусства. И потому настырное стремление некоторых из друзей принизить роль и вес романа не могло не окончиться взрывом.

Тридцатого сентября 1959 г., во время воскресного обеда на "Большой даче" Ливанов снова начал что-то говорить о "Докторе Живаго", Боря не выдержал и попросил его замолчать.

— Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?

Между тем о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь и рассказывал, что в свое время на приеме в Кремле даже у самого Сталина просил совета — как лучше сыграть эту роль. Сталин ответил, что с таким вопросом лучше обратиться к Немировичу-Данченко, но что лично он играть Гамлета не стал бы, ибо эта пьеса пессимистическая и реакционная.

На этом попытки Ливанова завершились, но мечта о Гамлете осталась. И Боря невежливо на нее "наступил"...

Не знаю, что было дальше, но в понедельник утром Боря пришел ко мне и тут же написал короткое стихотворение:

Друзья, родные — милый хлам,
Вы времени пришлись по вкусу.

О, как я вас еще предам,
Когда-нибудь, лжецы и трусы.
Ведь в этом видно Божий перст
И нету вам другой дороги,
Как по приемным министерств
Упорно обивать пороги...

Третья строфа не сохранилась в моей памяти. Тогда же он написал большое письмо Ливанову:

"14 сент. 1959

Дорогой Борис, тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет.

Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна.

И дело не в вине и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого постылого занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощенное напоминание.

Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.

Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобою, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.

Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А конечно охотнее всего я всех бы вас перевешал.

Твой Борис".

Конечно, сердиться долго он ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу: "если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо".

Как тут не вспомнить слова Юрия Живаго:

"Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали".

А еще раньше писалось: "мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к черту".

Когда я вспоминаю этот последний год его жизни, мне кажется, что ребенок или какой-нибудь Кузьмич был Боре роднее маститых посетителей его "Большой дачи".

Похоже — справедливо утверждение о том, что чем глубже и интеллигентнее человек, тем более он находит вокруг себя интересных людей; и лишь ограниченные люди не замечают различий между людьми.

Сын Люси Поповой поздравил Б.Л. с днем рождения и приложил рисунок, на котором изобразил Б.Л. так, как он его представлял. 16 февраля 1959 г. Б.Л. благодарил семилетнего малыша:

> Дорогой мой Кирюша, от души благодарю Вас за поздравление. Как хорошо Вы уже пишете! И очень хорошо рисуете: Вы — молодец. Но меня Вы страшно прикрасили, я никогда таким красивым в жизни не был.
>
> Кирюша, Вы — прелесть, и доставили мне большую радость. Желаю Вам в жизни много успехов, радости и удач. И чтобы бабушка, мама и все в доме долго-долго жили и были здоровы. Кланяйтесь им.
>
> Целую Вас крепко.
>
> Ваш Б. Пастернак.

Моему отчиму С.С Бастрыкину Б.Л. писал:

> 20 окт. 1959.
>
> Дорогой Сергей Степанович, с днем ангела! Я помню, как мы провели такой же вечер у Вас на старой квартире, и жалею, что не смогу этого повторить сегодня. Но на некоторое время, мне кажется, Марии Николаевне* следовало бы сделать Вашу жизнь не-

* Мария Николаевна Басыркина — моя мать.

сколько скучнее, без частых подъемов духа и торжеств. Такие потребности в покое ведь временны и проходят, я так знаю это по себе.

Я очень рад, что обстоятельства жизни сблизили нас. Я мало верю в сродство идей и убеждений (наверное, их у меня нет), но соседству по сложившейся судьбе, соседству в жизни придаю большое значение. Я рад в Вашем лице обнять и расцеловать такого соседа. Кроме того, поздравляю Марию Николаевну, главного ангела данного торжества.

Ваш Б. Пастернак.

А вот гораздо более давний случай. Незадолго перед моим арестом сорок девятого года я как-то мельком сказала Б.Л. о том, что Ирочка (которой тогда было одиннадцать лет) пишет какие-то стихи и что-то вроде рассказа. Он тотчас же изъявил желание посмотреть их, но тут грянули грозные события. И вот уже в мою предпоследнюю потьминскую зиму, во время одного из своих приходов к моим на Потаповский, Боря натолкнулся на какие-то обрывки из Ирочкиных детских попыток творчества. Потом он рассказывал, как его разволновала ситуация: мать — за него в лагере, а у дочери некому развить, быть может, прирожденный талант. И он послал Ирочке открытку:

Дорогая Ирочка! Мне всегда бывает некогда и я тороплюсь, когда захожу к вам. Для того, чтобы я мог прочесть твои стихи, о которых была речь зимой, и рассказ, надо, чтобы ты их переписала (от руки, конечно) и я их захватил с собой для просмотра. Сделай, пожалуйста, это в свободную минуту. Тогда я тебе напишу или на словах скажу свое мнение. Я уверен, что все это очень интересно и хорошо.

Твой Б.Л., 3 мая 1952 г.

Явная популярность романа во всем мире принесла вместе с радостью и огорчения. Во-первых, Борю раздражал поток статей, бесчисленные догадки (главным образом — совершенно нелепые) относительно прототипов, и, чаще всего, относительно символики романа.

Четырнадцатого мая пятьдесят девятого года Боря писал в письме к Швейцер:

“Разные ложные толкования обо мне существуют везде (созданные для моего восхваления) и может быть, тебя частично вводят в заблуждение. Напри-

мер, в Америке книгу эту изучают, как тайнопись. Названия улиц, имена собственные, ситуации, все вплоть до отдельных слогов — все должно быть аллегорией, все должно быть символично, все это будто бы скрытое глубокомыслие. Но если бы вообще был возможен такой антихудожественный, неестественный вздор, то что в нем могло бы быть достойного похвалы?

Весь мой символизм, если только о нем вообще может идти речь, состоит в том, что я, несмотря на весь необходимый мне, неотъемлемый от меня реализм, несмотря на все подробности, старался описать действительность в состоянии движения, в состоянии взволнованного вдохновения, как я ее всегда наблюдал, видел и знал...".

А спустя шесть дней — Жаклин де Пруаяр во Францию:

"В каждом слоге моего романа ищут скрытый смысл, расшифровывают слова, названия улиц, имена людей как аллегории или криптограммы. Ничего этого у меня нет. Я отрицаю существование возможности законченных, частичных и обособленных символов даже у других, у кого бы то ни было, если это только художник. Если художественное произведение не исчерпывается тем, что в нем сказано и напечатано, если есть в нем еще что-то кроме того, — то это может быть только то общее качество, дыхание, движение, бесконечное устремление, которые пронизывают все произведение и делают его таким или иным, не потому, что в нем скрыта определенная идея, как разгадка ребуса, а потому, что душа, по нашему предположению, наполняет тело, и не может быть из него извлечена.

Итак, если душа живописи французских импрессионистов — это воздух и свет, то что является душой новой прозы "Доктора Живаго"? В своем происхождении, в своей подготовке и по своему заданию это было реалистическое произведение. В нем должна была быть обрисована определенная реальность определенного периода романа. А именно: русская действительность последних пятидесяти лет. После того, как это было осуществлено, оставался еще некоторый остаток, достойный того, чтобы быть охарактеризованным и описанным. Что же это за остаток? Действительность как таковая, сама действительность как

явление или категория философии — самый факт бытия какой-то действительности.

Не нужно думать, что это что-то совсем новое, что прежде никто не ставил себе подобной задачи. Наоборот, большое искусство всегда стремилось передать целостное восприятие жизни, в ее совокупности, но это делалось и комментировалось всегда по-разному, в согласии с философией эпохи и потому разными способами...

Вот мой символизм, мое ощущение действительности. Я описываю характеры, положения, детали, особенности с единственной высшей целью: расшатать идею железной причинности, идею абсолютной необходимости; представить действительность как зрелище воплощенного внутреннего порыва, как видение, движимое выбором и свободой, как определенный вариант среди других вариантов, как что-то свершающееся не случайно, а по чьей-то воле...".

(Оригинал на французском языке).

Издатели со всего мира терзали Борю всякого рода прожектами, планами изданий, предложениями на переиздание стихов и старой прозы.

Один американский издатель добивался от Б.Л. разрешения на издание сборника "лучших" статей о романе под названием "Памятник Живаго".

Еще больше Б.Л. раздражали переиздания на Западе его ранней прозы и поэзии. Мне кажется, в своем стремлении к простоте, пришедшей в последние годы, он явно недооценивал всей прелести своих ранних творений. Их сложность затмевала в его глазах все непреходящие со временем достоинства.

И еще в декабре предыдущего (пятьдесят восьмого) года он писал той же Ренате:

"После успеха Ж. хватают все, раннее и вообще любое, что бы то ни было, лишь бы перевести и издать стихами и прозой. Но почти все это никуда не годится. Все это носит на себе клеймо... эпохи экспрессионизма, распада формы, невыдержанного содержания, отданного на произвол судьбы неполного понимания слабого и пустого. Именно потому поднимается Ж. над всем этим, что в нем есть сгущение духа, что он является духовным подвигом... А теперь хотят мне этот победный сгусток разбавить ведрами и бочками чистейшей воды. Ведь издатели получили от Ж. мно-

го пользы и радости, можно было бы дать себе передышку, пока я когда-нибудь создам еще что-то ценное и более совершенное. А еще удивительно и непонятно: публикуют после искусно написанной и переведенной прозы стихотворный конец в бесформенной, вопреки всем правилам, прозаической репродукции, которая является лишь плохой прозой, следующей за хорошей настоящей прозой. Какой смысл в таком увенчивающем придатке, я понять не могу. А ведь совсем рядом имеются прекрасные рифмованные, точные переводы стихов, о чем никто не знает...".

Наталии Борисовне Сологуб, 29 июня 1959 г.:

"В годы основных общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как страшно и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь "просвещенный мир" посетил этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий... Успех романа и знаки моей готовности принять участие в позднем образумлении века повели к тому, что везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему этому не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой ненужной белиберды... Среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение".

Джорджу Риви в Нью-Йорк 10 декабря 1959 г.:

"Для меня невыразимо печально и больно, когда мне снова и снова напоминают об этих редких зернах жизни и правды, перемешанных с огромным количеством мертвой схематической ерунды и неживых вещей. Меня удивляют попытки Ваши и Кейдена воскресить вещи, заслуженно осужденные на прах и забвение".

* * *

Мне очень дорога надпись на "Докторе Живаго":

"Олюше ко дню ее рождения 27 июня 1959 г. со всей моею бедною жизнью. Б.П.".

"СЛЕПАЯ КРАСАВИЦА"

Замысел пьесы возник у Б.Л., очевидно, очень давно, в начале войны.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновленную войной, —
Под немолчный ропот леса,
Лежа думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

А в варианте стихотворения "Старый парк", подаренном Борей Гладкову, была еще и такая строфа:

Вся его мечта в театре.
Он с женою и детьми
Тайно года на два, на три
Сгинет где-нибудь в Перми...

В последние свои осень и зиму он начал свою "Слепую красавицу", пьесу о крепостной незрячей России. Много думал и работал, жаловался, что больше двух часов в день писать не может. Мне он твердил:

— Надо работать, надо работать!... Надо докончить ее в этом году!

В пьесе Б.Л. хотел дать свое понимание свободы и преемственности культуры. Вначале это предреформенные разговоры о свободе, проблемы социальной свободы, взятые исторически и национально. Потом реформа осуществляется, и становится ясной призрачность общественных свобод вообще, и подтверждается, что человек свободен лишь в творчестве.

Так в пьесе должен рассуждать крепостной актер Григорий.

Б.Л. часто повторял, что сейчас неважно, хорошо или плохо он напишет пьесу:

— Я пишу для себя, как роман; меня привлекло это время: неволя и вместе с тем — где-то близкое ос-

вобождение; и на фоне этого — судьба художника-актера, на том рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь.

Рядом с актером Б.Л. задумал домашнего учителя, будущего народовольца; в пьесе должно было отразиться время, судьбы и события (например, покушение на Александра II) и судьба большой любви.

Однако для пьесы требовалось много времени, а переписка едва ли не со всем светом встала ей поперек дороги.

Иногда он по-детски вздыхал:

— Если б можно было проснуться и увидеть пьесу написанной...

Когда у него спрашивали — в каком состоянии находится пьеса? — он отвечал:

— Перед тем, как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Сейчас пьеса — это газетный слой.

Написаны были тогда только пролог и третья-четвертая картины первого действия. Это 169 больших листов, написанных фиолетовыми чернилами (Б.Л. больше всего любил писать простым карандашом, и даже не карандашом, а маленьким огрызочком, но в крайнем случае — школьным пером N 86; авторучек не признавал вовсе).

Борису Зайцеву в Париж 4.10.59:

> "Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным желанием или делается страстью. Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет устоявшимся и надежным. И никак нельзя по-другому ни жить, ни думать".

Жаклин де Пруаяр в Париж 22.12.59 г.:

> "Если бы я только мог довести до конца драму. Я валюсь с ног под все увеличивающейся тяжестью вещей и дел, которые так часто мешают работать. Все это, все эти духовные связи с целым миром, пришло так поздно...".

И снова Борису Зайцеву на следующий день после своего семидесятилетия, 11 февраля 1960 года:

"Но Вам, лично Вам хочется сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону, ничего нельзя будет узнать, работа закипит и сдвинется с мертвой точки".

Примерно в те же дни в деловом письме, связанном с улаживанием сложных отношений между Пастернаком и его итальянским и французским издателями, я писала Джанджакомо Фельтринелли: "Теперь сообщу Вам нечто приятное. Я все время относилась недоверчиво к новой работе Б.Л., к пьесе из времен крепостного права в России. Во-первых, я думала, что Б.Л. будет ограничивать жанр, потом пугал материал. А вот теперь скажу Вам с уверенностью, что новая пьеса будет произведением, так же связанным с его судьбой и художественной сущностью, как был роман. Пока — это драматическое динамическое яркое повествование, из которого будет выкроена пьеса для театра. Язык колоритный, каждое слово играет, положения острые, сценичные. Все это для меня — первой его слушательницы — было такой неожиданностью и подарком. Собственно до окончания ему два месяца работы. Поэтому ему должна быть предоставлена возможность посвятить себя целиком этой работе и не мешать ему деловыми спорами".

И чуть раньше в письме к Серджио Д'Анжело: "Б. читал мне куски пьесы. Я рада сообщить Вам, что жанр его нисколько не стеснил, есть в ней места совершенно изумительные — где его талант во всю силу, слушала я с раскрытым ртом и неослабным вниманием. Моего ослепления тут нет — я совершенно в пьесу не верила и даже боялась...".

Я не знала, что до начала смертельной болезни оставались дни, до смерти — месяц.

Двадцать седьмого апреля шестидесятого года утром Б.Л. писал мне в записке:

"Меня очень интересует то правдивое и здравое, что вы (ты, Ира, Кома, Костя) думаете о недоработанной половине пьесы... Там так много неестественной болтовни, которая ждет устранения или переделки...".

И уже совсем больной, пятого мая, он снова беспокоился о пьесе:

"Все, что у меня или во мне было лучшего, я сообщаю или пересылаю тебе: рукопись пьесы, теперь

диплом*. Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой. Как бы при чтении не разрознили выпадающих страниц".

"Что меня мучает, что грызет мое сердце, — писал Б.Л. Ренате еще 15.6.59, — что я в отношении к О.В. и к тебе... получаю все от вас и пользуюсь всем. Но единственное, чем я мог бы вас отблагодарить и чем вам ответить — это новая работа, а она идет так медленно, так лениво, я недостоин вас обеих; но работа уже живет, я верю в нее...".

* * *

И вера эта не обманула его. Хотя он и назвал пьесу "газетным слоем", но коснись гений газеты — и та приобщается к искусству. Хотя и незавершенная — пьеса завоевывает сердца читателей и зрителей повсюду в мире. Ее печатают издательства, ставят театры, снимают по ней кинофильм.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Наступил последний в жизни Б.Л. новый тысяча девятьсот шестидесятый год.

Жизнь шла, казалось, по-прежнему. По делам я ездила в Москву, а когда возвращалась — Б.Л. так же встречал меня, прогуливаясь по шоссе у нашего нового домика, а иногда приходил сразу после того, как я,

---

* Уже смертельно больной Б.Л. получил диплом почетного члена Национального института и Академии литературы и искусств США, присужденный ему в феврале 1960 г. в знак "признания творческих достижений в искусстве". Этот диплом Б.Л. сразу же переслал мне через Костю Богатырева. "Только пронесите его незаметно, спрячьте как-нибудь", — сказал он Косте. Пронести незаметно жесткую папку размером 32х42 см — дело почти безнадежное. Но никто не встречал его и не провожал, как обычно в эти среды.

входя, закрывала за собой дверь и начинала растапливать печку.

В воскресенье мы иногда выходили на лыжную прогулку, конечно, без Бори; а затем у нас был обычно обед, сходились близкие люди. Из московских знакомых бывал Костя Богатырев, приходили из соседней дачи мама с Сергеем Степановичем, иногда приезжали Гейнц, Жорж, Ирина; Боря за столом был по-прежнему оживленным и веселым.

В среду десятого февраля Б.Л. исполнилось семьдесят лет. Удивительно — каким был он молодым, стройным в этом возрасте: всегда с блестящими глазами, всегда увлеченный, по-детски безрассудный.

Все, кто знали Б.Л., поражались его вечной, до самого смертного часа, молодости. Уже сейчас, вспоминая о своем знакомстве с Б.Л., Люся Попова рассказывает:

> "Он произвел на меня поразительное впечатление тем, что ничем не противоречил ожидаемому облику и в то же время был каким-то совсем невероятным, совсем из ряда вон. Такого, казалось бы, и представить-то себе невозможно, и все же он был как раз такой, как должен был быть по ожиданию моей души. И такой молодой! Господи, какой он был всегда молодой! До самой смерти он был молодым. Потом, когда я познакомилась с ним ближе, я видела его не только на публике, "в ударе"... Видела и нездоровым, и расстроенным, и утомленным, и даже отчаявшимся, но никогда он не глядел стариком...".

Я помню, как в это утро семидесятилетия мы выпили коньяку, как жарко мы целовались у трещащей печки, и, со вздохом глядя на свое прекрасное лицо в зеркале, он сказал:

— А все-таки поздно все пришло ко мне! И как мы, Лелюша, вдвоем вышли из всех неприятностей. И все счастливо! И так бы всегда жить. Стыжусь только этих поликарповских писем. Жалко, что ты заставила меня подписать их.

Я возмутилась — как он скоро забыл смертельные наши волнения!

Он сказал:

— Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!

С наслаждением вместе со мной читал в нашей избушке на горке поздравления со всего мира. Рассматривал подарки: сувениры из марбургской глины,

скульптурку Лары, свечечки и немецкие прозрачные иконки.

Многие подарки, которыми почтили Бориса Леонидовича в день его семидесятилетия, долго еще хранились после его смерти у Иры. Например, кожаный будильничек, присланный Неру, глиняные горшочки от владелицы бензоколонки из далекого Марбурга. Сохранилась записка Б.Л.:

> "Горшочки это от владелицы бензоколонки в Марбурге, г-жи Бекер, а красное, сердцевидное — это свечка от Р.Швейцер, которую надо будет когда-ниб. Ирочке зажечь, когда для этого будет случай".

Незадолго до того (в середине декабря 59 г.) в Москву приехал Гамбургский немецкий драматический театр под руководством Густава Грюндгенса. Борис Леонидович, желая принять у себя на даче основной состав труппы театра, послал 14.12.59 Гейнцу Шеве письмо (оригинал написан по-немецки):

"Дорогой господин Шеве, я убедительно прошу Вас не отказать нам в том, о чем Вас попросит О.В.*. Если Вы еще раз увидите дам и господ из Гамбургского театра, я хочу уточнить мое желание принять их у себя на даче, в Переделкино. Для меня было бы лучше всего, если бы во время их пребывания в Москве у них оказалось бы свободное воскресенье. Только пригласил я их к слишком позднему часу, а именно — примерно к трем часам дня. Я забыл, как много существенного и захватывающего мы должны будем обсудить. Теперь я желал бы просить их к себе в два или даже в час дня. Если у них не окажется такого воскресенья, это может быть любой другой день, какой им подойдет. В крайнем случае это может быть и ночью, после представления. В любом случае меня следует заранее своевременно известить. Переводчица из министерства в театре знает Константина Петровича Богатырева В-1-77-61, который мог бы (если в аппарате театра нет другого средства меня обо всем уведомить) послужить связующей нитью. Это могли бы быть 10 — 12 главных действующих лиц

---

* При публикации письма Шеве сделал здесь примечание: Ольга Всеволодовна Ивинская — "Лара".

постановки, великолепный Грюндгенс мог бы определить, какие именно. Помимо милой Эллы Бюхи, что само собой понятно, пусть окажут мне честь Фр. Бессель Гебель и превосходный Вагнер — господин Ловитц.

На этом я прощаюсь с Вами, дорогой друг. Не откажите передать Вашей Матушке выражение моего высокого уважения и наилучшие пожелания к Рождеству и новогодним праздникам. Счастливого путешествия. Желаю Вам провести полноценные, ничем и никем не потревоженные и не омраченные зимние каникулы с пользой и радостью.

Ваш Б.Пастернак".

Я уже писала (глава "Знаю — один мне равносилен"), почему не удалось Борису Леонидовичу осуществить этот прием. Но в театре общение с труппой оказалось трогательным. Гейнц, знакомый со всеми актерами лично, обеспечил нас билетами.

Мы с Борей смотрели "Разбитый кувшин", "Фауст". В первый же вечер артисты вытащили Б.Л. на сцену, мы ходили за кулисы, где собралась вся труппа во главе с директором. Очарованный и сверхсчастливый, Боря фотографировался с Густавом Грюндгенсом, которого он называл "поистине сатанинским Мефистофелем". На снимке, подаренном актеру, Б.Л. по-немецки надписал:

"По поводу спектакля:
Недостаточное —
Становится здесь событием;
Неописуемое — здесь сотворено.
Б.П.".

Актриса, игравшая Маргариту, вручила мне за кулисами пакет с подарками. Похвалы и приглашения, веселые комплименты Б.Л., его красоте, молодости — все это его очень радовало. Все вокруг казалось радостным, простым, безоблачным. До трех часов ночи мы говорили о театре, обо всем на свете...

А потом я начала замечать, что здоровье Бори ухудшается, только сядем править какой-нибудь перевод — он сразу уставал, и большую часть работы делала я одна.

Как прежде, мы выходили на улицу, иногда долго гуляли вокруг Баковского леса. Но я чувствовала, что Боря уже не был таким оживленным. И все чаще стала

замечать на его лице какие-то серые тени — их раньше не было. Это пугало меня. Однажды, взглянув на подушку, где лицо Бори выглядело как будто вдавленным, мне почудилось оно мертвым. Я знала за собой странную черту — живой и здоровый человек вдруг представлялся мне покойником; и потом он вскоре умирал. Я тотчас же отогнала от себя эту ужасную мысль.

Б.Л. начал жаловаться на боль в груди; опять заболела нога — какие-то рецидивы прежних болей. Вдруг появилось ощущение, что после прежних пребываний в больнице выздоровление было неполным. Близилось что-то тревожное, страшное.

Вечерами, обманывая себя и меня, он был оживленнее. В течение декабря и января трижды подолгу читал мне свою пьесу.

Возбужденный и вдохновленный посещением театра, он читал с выражением, с большим удовольствием передавая простонародные интонации, останавливаясь на местах, которые казались ему смешными, делал тут же карандашом ремарки, вставки.

Однажды, когда его домашние были на очередном спектакле Гамбургского театра, Боря весь вечер посвятил "Слепой красавице". Но он ее читал не только мне, он ее читал и себе, и слушал свой голос, и делал какие-то судорожные отчерки на рукописи.

И вдруг сказал:

— Знаешь, Олюша, я думаю, нужно печатать ее там, где роман. Здесь ее все равно не напечатают.

В Москве я оступилась на лестнице и вывихнула себе ногу. Наложили гипс, я сидела в квартире на Потаповском. Боря был очень опечален. Распорядок наш изменился, ему пришлось вырываться в Москву.

Вернувшись в начале апреля в Переделкино, я нашла, что Боря за это время как будто поздоровел. Он долго и оживленно рассказывал о встречах с Любимовым и всяких других своих делах.

И апрель был радостным, как радостен всякий апрель. Особенно хорош был наш маленький дворик с соснами, зацветающими кустиками, светло-зелеными березками, пятнистый, солнечный — он казался таким надежным, таким замечательным нашим приютом.

Б.Л. как будто был весел и здоров, опять потекли размеренные дни, я с радостью убеждалась, что моя мартовская тревога (а март для меня всегда страшный месяц) улетучилась.

На Пасху наконец-то приехала на свое первое и последнее свидание с Б.Л. Рената Швейцер.

Как Б.Л. и обещал Ренате, он принимал ее и на "Большой даче", и у меня в моем новом жилище, домике в три окошка против "фадеевского шалмана".

Светлым Пасхальным днем Рената сидела за нашим столом в восторге, что видит Пастернака, с которым переписывалась уже более двух лет. Она говорила на родном языке, ломая его "на русский лад"; сказала, что такими нас всех и представляла себе — Б.Л., меня, Лару.

Пахли гиацинты, принесенные Ренатой, на столе стояла большая тарелка с крашеными яйцами, за окном — сквозная и молодая весна.

Боря был удивительно мил в своей любимой голубовато-серой блузе, свежий, сияющий, благожелательный. Он очень смешно и неловко защищался от ласк Ренаты, а она, не в силах сдержать своих восторгов, поминутно к нему бросалась.

— Какая нахалка! — лицемерно возмущался он, опасаясь моей ревности. А я конфузилась — что, если Рената понимает русские слова?

Вернувшись с вокзала после проводов Ренаты, Б.Л. разыскал меня у мамы, где мы все смотрели телевизор, вызвал меня на террасу и, упав на колени, говорил, всхлипывая:

— Лелюша, Бог меня не простит за то, что тебе не понравилось, как я был ласков с этой Ренатой. Я не хочу ее больше видеть. Если хочешь, я прекращу с ней переписку.

Мне же не нравилось только его волнение и этот надрыв, предвещавший болезнь, и я боялась за него и успокаивала, как могла.

В первое послепасхальное утро он почувствовал себя по-настоящему плохо и опять сказал:

— Лелюша, а не думаешь ли ты, что я заболеваю в наказание за тебя из-за этой Ренаты? Все было хорошо и вдруг вот опять какая-то боль в груди. Надо мне показаться кому-нибудь.

И вот, когда уже перевалило за половину апреля, опять мне показалось что-то тревожное в облике Б.Л. Обычно он был по утрам розовый, свежий, а тут вдруг изменился: какая-то желтизна явно проступала в лице.

И я привезла в наш новый измалковский домик знакомого ему врача-терапевта, некую баронессу Ти-

зенгаузен, которая превосходно понимала больных и умела поднять у них бодрость духа. Она говорила басом и очень походила на мужчину, так что мальчишки на Собиновском (она там бывала у мамы) спрашивали — "тетя, почему ты дядя?".

Баронесса долго выстукивала Борю, восхищаясь молодостью его сложения, его мускулатурой, и уверила, что ничего опасного не находит.

Б.Л. был окрылен. Он говорил, что это недомогание, усталость, он переволновался, "переписался", что, может быть, лучше отложить пьесу, и тут же перебивал себя:

— Надо работать, надо работать... Однако в среду двадцатого апреля он почувствовал себя совсем скверно. На дачу приезжал врач, знакомый Ивановых, снова осматривал Б.Л. и высказал подозрение на грудную жабу. Несмотря на это, Б.Л. в установленное время дошел до нашего домика.

— Лелюша, мне придется полежать, — говорил он спокойным голосом, — я тебе принесу пьесу, ты мне ее не отдавай, пока я не почувствую себя здоровым.

Пробыл он у меня недолго.

— Мне бы хотелось, — говорил он, уходя, — чтобы ты не прерывала нашего установленного обихода. Я буду о себе давать знать с каждой оказией. Мы установим постоянную связь, если мне придется полежать дольше. Может быть, окажется удобным прийти ко мне на дачу. Но пока я тебе об этом не сообщу, ты ради Бога не делай никаких попыток меня увидеть. Я должен поправиться и прийти к тебе здоровым, чтобы тебя заслужить. Действительно, может быть, это наказывает меня Бог!

С таким настроением он ушел. Ни в этот, ни в следующий день я не выезжала из Переделкина, но тревожного настроения у меня не было. Мне даже казалось, что я перестала видеть мартовские тени на его лице.

И потом я знала, что он иногда бывает мнителен и даже не на шутку суеверен. Однажды он полушутя, полувсерьез заговорил о смерти, когда пластилиновый скульптурный портрет, вылепленный З.Масленниковой, на солнцепеке потек и скособочился.

Вообще же о смерти он говорил не часто, но всегда со спокойствием истинного философа:

— ... Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь...

— ... Жизнь — это большое заседание. Каждый на нем может сказать свое слово. Но нельзя же говорить вечно — надо уступить свое место другому. Я сказал свое слово — мысль о смерти меня не пугает...

— ... Как я отдавался несколько раз в руки жизни и в руки серьезной работы, так, в крупном масштабе, осталось мне еще отдаться в руки смерти...

Каково же было мое удивление, когда я, настроившись быть в разлуке по меньшей мере дней десять, всего лишь через два дня, в субботу двадцать третьего апреля, увидела Борю на дорожке со стареньким портфелем в руке.

Обрадованная, я бросилась к нему навстречу.

— Боренька, — говорила я, — зачем же ты встал, ты обещал полежать, я не волнуюсь, я жду! Если что произойдет новое — я к тебе сейчас же кого-нибудь пошлю.

Он ждал в то время каких-то денег и волновался из-за задержки, так как у него тогда жило человек десять, если не больше, и денег надо было много; Б.Л. просил предпринять что-то Гейнца, но тот уехал, и в предыдущий приход Боря оставил на случай появления Шеве или итальянцев специальный "пропуск" на "Большую дачу".

Радость моя была преждевременной. Лицо Бори мне показалось побледневшим, осунувшимся, больным. Мы вошли в нашу прохладную и сумеречную комнату.

Не отвечая на мои тревожные вопросы, он меня целовал, как будто хотел вернуть здоровье, вернуть прежнюю свою какую-то власть, мужество, жизнеспособность...

И вспоминалось мне наше первое такое свидание тоже в апреле теперь уже далекого сорок седьмого года...

Я пошла его провожать. Остановились мы у канавы, дальше которой я обычно не шла.

И вдруг он вспомнил:

— Лелюша, но я ведь принес тебе рукопись. — Он вытащил из портфеля и передал мне завернутый с обычной его аккуратностью сверток. Это была рукопись пьесы "Слепая красавица".

— Ты держи ее и не давай мне до моего выздоровления. А сейчас я займусь только своей болезнью. Я знаю, я верю, что ты любишь меня, и этим мы с тобой только и сильны. Не меняй нашей жизни, я тебя прошу...

Это был наш последний разговор живого с живым...

“Я КОНЧИЛСЯ, А ТЫ ЖИВА...”

Второго мая во дворике нашей дачи появился взволнованный Кома Иванов. Он принес мне сверток от Б.Л. Это были записки карандашом, написанные его рукой.

Кома сказал, что в лучшем случае у Б.Л. подозревается микроинфаркт, и что лечению его мешает другое заболевание, которое проявляется в астматическом дыхании.

Пришли тяжелые дни. Я ожидала посланных от Б.Л., и они каждый день приходили: это были Костя Богатырев, Кома Иванов — все, кто посещал Б.Л. и с кем он мне посылал свои записки*.

Когда обострилась болезнь? Пятница шестого мая казалась благополучной. Б.Л. встал, умылся, собрался даже выйти на обычную прогулку. Вдруг ему пришла блажь вымыть голову. Результат оказался трагическим: сразу стало плохо, вызвали “скорую помощь”. К несчастью, не сразу установили, что произошел инфаркт, как потом оказалось — с широким разрывом, но неглубокий.

Я получила после этой тревожной ночи от Б.Л. записку, написанную неуверенным, непривычным почерком.

Я поехала в Москву, чтобы установить какие-то медицинские связи. Литфонд и филиал Кремлевской больницы направили к Б.Л. свою помощь — врача и сменяющих друг друга медицинских сестер, дежуривших около него днем и ночью.

И вот тогда пришла ко мне Марина Рассохина, молоденькая шестнадцатилетняя медсестра, одна из дежурящих у постели Б.Л. Оказалось, как только он получил возможность говорить, он рассказал ей о всем трагизме нашей близости и нашей жизни. И вот ее-то он и прислал ко мне с сообщением, что теперь каждый раз после дежурства она будет приходить ко мне.

---

* После возвращения из лагеря мне вернули только часть из них: см. письма 21 — 27.

После дневного дежурства Марина часто оставалась у меня ночевать. Она рассказывала мне, что Б.Л. без конца просил устроить наше с ним свидание, хотя к нему никого не пускали. Он, как только заболел, перебрался вниз, и Марина должна была подвести меня к его окну в нижней комнате.

Свидание оттягивалось потому, что после инфаркта у него сняли зубной протез и он страшно волновался нарушением красоты — как это я увижу его без зубов?

Совсем по-детски, но с недетскими слезами Марина передавала мне его слова:

— Лелюша меня разлюбит, подумайте, ведь обязательно это случится — я сейчас такой урод.

Записки прекратились — Б.Л. не давали карандаш. Он умолял Марину подать ему маленький огрызочек, который лежал на столе, но Марина не решалась это сделать, а кроме нее было некому.

В середине месяца я поехала в Москву просить профессора Долгоплосска, известного врача-сердечника, осмотреть Б.Л. и рассказать мне о действительном состоянии его здоровья.

Когда я привезла Долгоплосска на дачу, брат Б.Л. Александр Леонидович сказал, что всякое волнение Боре противопоказано; а Женя добавил, что отца никоим образом нельзя видеть, потому что когда разговор чуть-чуть касался меня, он начинал волноваться и плакать.

Наконец, профессор Долгоплосск вышел ко мне и сообщил, что из инфаркта, можно считать, Б.Л. выкарабкался. Сейчас правильное лечение может вернуть его к жизни. Он говорил так уверенно, что вселил в меня надежду.

Я жила от одного посещения Марины до другого. Я знала, что когда она от меня придет к нему, — она передаст ему слова ободрения, ласки, моей нежности и моей любви — и это ему сейчас необходимо.

Однажды, во время дежурства старшей сестры, Марфы Кузьминичны, Боре стало плохо. Как она потом нам рассказывала, он прерывисто, с придыханиями, поведал ей нашу историю.

Марфа Кузьминична была фронтовой медсестрой, у нее было высоко развито чувство собственного достоинства. Она пришла ко мне, сказав, что сочла своим нравственным долгом так поступить. Это был ее поступок.

Марфа Кузьминична много говорила о мужестве, с каким Б.Л. переносил боль. Ира тогда же записала ее слова:

> "Б.Л. очень хвалил Леню — "редкий и несовременный" — и "ее". "Забудет ли она меня? И будет ли счастлива без меня?" И сам — "нет, нет. Сделайте что-нибудь мне, Марфа Кузьминична, я так хочу жить. Вы не торопитесь, сядьте, подумайте и сделайте, как в прошлый раз вы мне делали".

Однажды М.К. сказала ему: "Что-то я в ваших произведений не читала. Только несколько стихотворений". — "И не надо, не читайте. Это все ерунда. У меня есть другие, ненапечатанные здесь".

> "Что мне сделать для вас? — спросил Б.Л. у нее после того, как прошел очень сильный приступ. — Я не могу упасть перед вами на колени — вы же видите, что не могу. Я уже почувствовал дыхание того мира, а вы меня вернули. Когда я поправлюсь, я не буду писать ни о политике, ни об искусстве. Я напишу о труде сестер. О да, вы труженицы. В мире так много запутанности, всякая деятельность так осложнена и затруднена, а здесь так открыто благородна, так неподдельна и бескорыстна. Вот об этом я буду писать".
>
> "Марфа Кузьминична, вас, наверное, не баловала жизнь. Но у вас доброе сердце, и вы такая властная, честолюбивая, вы все можете сделать, если захотите. О, если бы вы "ее" узнали, вы не стали бы меня осуждать. У меня двойная жизнь. Была ли у вас когда-нибудь двойная жизнь?
>
> "Ничего, лет пять пошумят и признают".
>
> "Болезнь сделала меня безразличным. Я вам даже улыбнуться не могу".
>
> Глядя на приготовления перед переливанием крови:
>
> "О, вы похожи на тибетских лам у жертвенников".

Марфа Кузьминична, все перевидавшая на фронте, с удивлением говорила о поразительном мужестве, терпении, выдержке и достоинстве Бориса Леонидовича в борьбе со смертью. Для нас с Ирой это было просто открытием. И Ира тогда писала:

> "Ведь его мнительность была у нас всегда предметом шуток, на которые он очень смешно обижался. Помню, как он нас всех просто извел, когда между пальцами ног у него завелся какой-то незначитель-

ный грибок: с иностранными корреспондентами и с членами советского правительства разговор начинался обязательно с этого грибка. Или, однажды, что-то случилось с кожей на лице — нельзя было бриться и умываться, чтобы раздражение скорее прошло. Господи, разговоры были только такие: "О, я знаю, вам отвратительно говорить со мной; Ирочка, ты добрая девочка, но не доказывай этого ради Бога, не целуй меня. Олюша, Боже, как наверное, стыдно тебе идти со мной по улице...

И вдруг Марфа Кузьминична, которой я не могла не верить, с таким уважением говорила нам о его физической выдержке, о его терпении. Мы были так удивлены, что я попросила М.К. рассказать об этом дважды".

С Женей у меня установилась деловая связь. Я звонила ему на его городскую квартиру. Он сказал, что улучшения нет, а напротив, в крови Б.Л. тревожно и быстро падает гемоглобин.

После консилиума он сообщил, что есть подозрение на болезнь пострашнее инфаркта — на рак крови, белокровие; в этом случае смертельный исход — вопрос дней или даже часов.

* * *

Двадцать седьмого при помощи переносного рентгена, как сказал Женя, были установлены метастазы в легком. Начались переливания крови, после которых Б.Л. стало лучше, так что я продолжала надеяться. Но Женя с возмущением сказал мне, что одна я только не понимаю, что он умирает.

Двадцать восьмого в приподнятом настроении ко мне пришла Марина; Б.Л. передал, чтобы я была готова, и что он скоро меня вызовет на давно задуманное свидание.

Вопреки всякому здравому смыслу, надежды мои на выздоровление Б.Л. воспрянули с новой силой.

Двадцать девятого утром я встретила на шоссе Зою Масленникову, сообщившую мне, что метастазы расширяются и надежды нет.

Она в последние два года лепила скульптурный портрет Б.Л. и искренно, по-человечески любила его; в пору болезни она делала все, что могла, чтобы хоть как-то его порадовать: то привозила живую рыбу, то

интересную книгу, то добывала какое-то важное для него известие... Она узнавала на даче бюллетени о здоровье Б.Л. и рассказывала о них мне. На этот раз она была потрясена и взволнована, и говорила, что ничто уже его не спасет.

У дачного забора я увидела Липкина, со слезами на глазах спросившего: "Совсем плохо дело?".

— Нет, нет, что вы, — ответила я, — мы можем надеяться.

Не знаю почему, я упрямо надеялась.

Наступил понедельник тридцатого мая.

О том, что происходило в этот день, я узнала потом от Марфы Кузьминичны.

Она говорила мне, что Б.Л. позвал двух сыновей и говорил, чтобы они взяли на себя заботу обо мне. А потом, обращаясь к Марфе Кузьминичне, сказал:

— Кому будет плохо от моей смерти, кому? Только Лелюше будет плохо, я ничего не успел устроить; главное — ей будет плохо. Марфа Кузьминична плакала, передавая нам эти его слова.

К вечеру Б.Л. стало хуже.

Большие и добрые руки Марфы Кузьминичны держали голову Бори, когда он уже совсем задыхался, и к ней были обращены его последние слова:

— Что-то я глохну. И туман какой-то перед глазами. Но ведь это пройдет? Не забудьте завтра открыть окно...

В двадцать три часа двадцать минут тридцатого мая тысяча девятьсот шестидесятого года Борис Леонидович Пастернак умер.

"НЕСЛИ ХОРОНИТЬ, НЕСЛИ КОРОНОВАТЬ..."*

Наступило утро тридцать первого мая, а я все еще не знала, что Бори нет в живых. В шесть утра я вышла

---

* А.Вознесенский. "Кроны и корни".

на дорогу, чтобы встретить с дежурства сестру и расспросить ее, каков он.

На перекрестке дачных улиц я увидела Марфу Кузьминичну. Шла она быстро, с низко опущенной головой. Я ее догнала и с трудом из себя выдавила: "Ну, что?". И, не ожидая ответа, все поняла: умер.

Не помню уж как, но я тут же оказалась на "Большой даче". Никто не задержал меня у входа.

Боря лежал еще теплый, руки у него были мягкие, и лежал он в маленькой комнате, в утреннем свете. Тени лежали на полу, и лицо его было еще живое, и совсем не похожее на то застывшее и скульптурное, которое потом все видели после замораживания.

А в ушах звучал его пророческий голос:

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой...

Да, все сбылось. Все самое худшее. Все шло по вехам этого рокового романа. Он действительно сыграл трагическую роль в нашей жизни и все в себя вобрал.

"И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой, непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские непраздничные слова.

Казалось, именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.

— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О я не могу! И Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в

нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое...

Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны...

И в ответ слышалось:

"Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная... Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда... больше никогда не увижу тебя...".

Те дни — вторник, среда, четверг — вспоминаются словно сквозь сетку мелкого осеннего дождя, хотя дождь пошел только в четверг, к концу похорон.

Что-то происходило за пределами не только моего поля зрения, но и за порогом сознания.

У Люси Поповой в тот день прямо у гроба Б.Л. была стычка с А.Зуевой по поводу Федина. Зуева рассказывала, что Федин болен и даже не знает о смерти Б.Л.; ему не говорят об этом, так как боятся за его здоровье, ведь он так любил Б.Л.

— Как Федин любил Пастернака, — не выдержала Люся, — мы знаем из газет, а в окно его прекрасно видно, что делается тут на даче.

Позднее В.Каверин писал К.Федину:

"Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране, истории с романом Пастернака. Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение двадцати трех лет жил рядом с тобой. Может быть из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?"*

---

* А.Гладков уточняет: "О Федине слышно, что он сказался больным и, сидя на своей даче поблизости, велел завесить окна, чтобы до него не доносился с похорон гул толпы...".

Как в тумане помню печально-озабоченные лица близких. Подле меня: мама, мои дети, Ариадна, Кома, Сергей Степанович...

И вот эти белые сестры: Марина сказала, что отныне, после того, как она узнала Бориса Леонидовича, ее жизнь будет совсем иной; Марфа Кузьминична, русская женщина, на чьих добрых руках умер Б.Л., чтобы не забыть его лица, вылепила его из пластилина. Художник Юрий Васильев снял посмертную маску.

Наступил четверг второго июня. День похорон, назначенных на четыре часа дня.

В этот день в "Литературной газете" появилось извещение:

> "Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с.г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного".

В газете ни слова о месте и времени похорон. Но в вагонах электричек, у пригородных касс Киевского вокзала и еще во многих местах висят сделанные на тетрадных листках и на больших листах бумаги рукописные объявления. У меня сохранился оригинал одного из них: "Товарищи! В ночь с 30 на 31 мая 1960 г. скончался один из Великих поэтов современности Борис Леонидович ПАСТЕРНАК. Гражданская панихида состоится сегодня в 15 час. ст. Переделкино".

Мы ночевали в эту ночь в Переделкине, но те, кто приехал рано утром, рассказывали, что на подъездах к Переделкину уже милиция, да еще в больших чинах. Тех, кто приехал на час-два позже, высаживали из машин, и дальше люди шли пешком.

Ворота дачи распахнуты — двор без хозяина. В розовато-белом стоят яблони, цветет сирень. Бродят чужие, почти сплошь незнакомые люди.

Мой приход сопровождается шепотом, любопытными взглядами вполоборота. Иду, едва сознавая все это, в дом. Люди входят через веранду и, пройдя мимо гроба, выходят через крыльцо.

Полузасыпанный цветами гроб установлен в большой комнате. У его подножья венки: от Ивановых, от К.И. Чуковского и от Литфонда.

Б.Л. в темно-сером отцовском костюме, самом своем любимом и праздничном, красивый, молодой, с мраморным лицом.

А ведь ровно семьдесят! Возраст — смертный! Наверное, волнения, незаметно для него самого и для нас, близких, сделали свое дело. Кто знает, с каких пор поселилась в его крови эта последняя смертная болезнь? Но она поселилась, делала свое незаметное, страшное дело, отнимала его у меня постепенно, по-воровски. И вот я прощаюсь с моим Пастернаком, а он все равно живой, и совершаю свои ошибки, как при нем бы, и плачу за них тою же дорогой ценой уже предсмертных разочарований и горечи. И мало кто понимает меня. А он живой, молодой, и говорю я с ним, как с живым. Он-то все понимал. Нет, не смел он еще умирать, бросать меня...

Художники делают зарисовки. В соседней комнате, сменяя друг друга, играют Святослав Рихтер, Андрей Волконский и сильно постаревшая Мария Вениаминовна Юдина, ее уже водят под руки.

Поток людей нарастает, противостоять ему и оставаться неподвижной неудобно, выхожу через крыльцо с противоположной стороны дома.

Почти сразу ко мне подошел Паустовский. Сквозь туман в глазах с утра в этот ветреный, солнечный, страшный летний день, я увидела сухой и горький профиль Константина Георгиевича. К.Г. появился внезапно возле скамейки, где я присела под окном пастернаковской дачи. За окном шло прощанье. Уже совсем отчужденно ото всех, к нему входящих лежал мой любимый. И я сидела у своей запретной двери.

Константин Георгиевич наклонился ко мне, и я заплакала, заплакала в первый раз в этот день, и сердце чуть отпустило, случившееся показалось невероятным, и это успокоило.

Вероятно, Константин Георгиевич подумал, что я не могла проститься с Б.Л., помешали семейные неурядицы: ему было известно, как трудно сложилась наша жизнь и наша любовь. Ведь более года до того у Бори назрел несостоявшийся план Тарусы, и именно К.Г. предложил нам поехать к нему и у него остановиться.

Невысокий, сухой, с отчеканенным гордым лицом — вспомнилось мне — по каким-то традициям долженствовавший стать гетманом “всея Украины” — этот мягкий и добрый человек — нашел для меня нужные слова. В них отсутствовало сомнение в подлинности моего горя.

— Я хочу пройти мимо его гроба с вами, — сказал он, поднимая меня за локоть.

Мы обошли еще раз вокруг стола, гроба и неподвижного, красивого и уже чужого лежащего в нем человека. Он уже окаменел, отошел от нас, уходил все дальше с каждой секундой.

— Я с ним хорошо уже простилась, — нелепо сказала я. — Он уже другой теперь, а тогда был еще теплый.

Мы вернулись, я — как сомнамбула к своей скамейке, К.Г. со своей спутницей — моложавой, смуглорозовой, светлоглазой — стоял возле меня. Он говорил мне о подлинной народности этих похорон, об этих похоронах, характерных для России, бросающей камни в своих пророков, по вековой традиции убивающей своих поэтов. Он возмущенно говорил, что очень уместно вспомнить сейчас похороны Пушкина, царедворцев, их убогое ханжество, их мнимую гордость.

— Подумаешь, — говорил К.Г., — как они богаты, как они много имеют Пастернаков, как николаевская Россия — Пушкиных... Да, можно подумать — они очень богаты подлинными поэтами, чтобы их так катастрофически не берегли, забрасывали каменьями... Изменилось в сущности немногое... Что делать? Боятся...

Сейчас я вспоминаю, что вскоре после похорон Б.Л. в одной из наших газет кто-то к какой-то дате возмущенно вернулся почему-то к деталям смерти и похорон Пушкина. Кто-то воскресил неизбежные ассоциации, но кто — не помню.

Туман, в котором я жила, отброшенная первыми словами Марфы Кузьминичны — “он умер” — еще продолжался, бросая меня для передышки к будничной повседневности. Заняли же меня на какое-то время поиски платья для похорон... Ходила за Ариадной по магазинам — и как в спасение погружалась в усталость, в сонную надежду, что проснешься — а этого не случилось. Боря снился живым, стучал в окно прутиком. И — может быть снится этот ветреный, страшный солнечный день.

Нет, он не снился. И сквозь туман ясно звучат слова человека, чей профиль отчеканен на синем небе над домом, человека, который все понимает. Я смотрела снизу вверх, а он говорил: “Я хочу, чтобы всегда, когда случится необходимость, вы знали, что вы мне — близкий человек, что я всегда с вами”.

Рядом улыбались глаза смуглой женщины, любящей Паустовского и любимой, конечно, им. И я представила, что от имени своей любви они оба по-настоящему понимали меня и действительно оплакивают моего любимого, не только как великого поэта, но и как человека, потерявшего свою любовь.

Хотя до выноса еще далеко, в саду толпа. Лишь немногих узнаю. Всех не упомнишь, ведь по самым скромным подсчетам в похоронах участвовало от четырех до пяти тысяч человек. Никого не организовывали, не обязывали, не собирали на предприятиях — все пришли не только по своей воле, но даже и рискуя попасть в списки неблагонадежных.

А.Гладков в своих воспоминаниях о похоронах пишет:

> "А вот еще одно темное пятнышко. В толпе стали очень заметны некие, вовсе не праздно наблюдавшие, люди. Они прислушиваются к разговорам и щелкают фотоаппаратами. Одного я заприметил и долго наблюдал за ним. Он, делая вид, что идет с толпой в дом, все время топчется на месте, зыркает вокруг; расстегнутая ковбойка, низкий лоб и выражение лица, которое не спрячешь. Эти и иностранные журналисты, тоже работаюшие, и только за этим приехавшие — единственый чужеродный элемент в этой пестрой, но охваченной одним общим настроением толпе".

Иностранных корреспондентов со своей техникой — тьма. Они деловито строят для своих киноаппаратов какие-то помосты. Один из них, составленный из снегозадерживающих щитов, вдруг со страшным грохотом разваливается, аппараты и люди летят на землю...

Людей тысячи, но остро ощущается отсутствие некоторых крупных писателей — Николая Асеева, Леонова, Катаева, Федина...

"Невольно думается, — пишет А.Гладков, — как много существует вариантов и оттенков трусости — от респектабельной и почти благовидной до истерически-надрывной, от бесстыдной до лицемерной и прячущейся".

Наступила тяжелая минута — вынос. Распоряжались Воронков и Арий Давыдович Ратницкий. Из раскрытых окон передавали в сад цветы — охапку за охапкой. Из дверей вынесли венки, крышку гроба... Закачался на крыльце открытый гроб...

Подан автобус, распорядители суетятся, но молодежь завалила автобус цветами, венками, а гроб понес-

ла на руках. Многотысячная процессия за гробом — горестная и поистине народная.

Я растеряла в толпе своих близких. Только подружка Иры Нанка, Люся Попова и Шеве были со мной неотлучно. Гейнц вывел меня из толпы, и мы одни пошли через картофельное поле напрямик к могиле, выкопанной на пригорке под тремя соснами.

Сколько лет Б.Л. любовался ими из своего окна.

Посередине поля нас перехватили француз и итальянец. Гейнц сжал мне у локтя руку и сказал, что не нужно давать никаких интервью.

— Она расстроена так, что нет совести спрашивать, — отбрил он на ломаном своем языке.

Но едва мы выбрались на дорогу, нас перехватил третий иностранный корреспондент, которому я должна была сказать "немного": где хранится рукопись "Слепой красавицы"; или, лучше, дать ее ему прочитать. Примитивный провокатор?

Но вот и процессия. Открытый гроб ставят прямо на корзины с цветами. Иностранные корреспонденты успели и здесь соорудить себе какой-то помост, и яростно стрекочут киноаппараты. Чуть ли не у каждого из корреспондентов на месте ручных часов — крохотные магнитофоны.

Начинается траурный митинг. Мне было трудно в моем состоянии разобраться, что происходило. Но потом говорили, будто речь хотел произнести Паустовский, однако выступил профессор Асмус. Он был в светлом костюме, ярком галстуке: вид у него был скорее праздничный, чем похоронный.

— Умер писатель, вместе с Пушкиным, Достоевским, Толстым составляющий славу русской литературы. Если даже мы не во всем можем с ним согласиться, то все мы, однако, обязаны ему благодарностью за то, что он дал пример непреклонной честности, неподкупной совести и героического отношения к своему долгу писателя.

Упомянул он, конечно, и об "ошибках и заблуждениях, что однако, не мешает признать тот факт, что он был большой поэт".

— Покойный был очень скромный человек, — завершал свою речь Асмус, — он не любил, когда о нем много говорили; и вот на этом митинг считается закрытым.

Вышел Голубенцов и прочитал стихотворение Б.Л. "О, знал бы я, что так бывает...". А потом какой-то

совсем юный голос с глубочайшим чувством внутренней боли читал "Гамлета".

Последняя строфа стихотворения —

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

— произвела на окружающих какое-то электризующее воздействие. И невидимые режиссеры решили поскорее завершить церемонию на кладбище.

Вот уже несут крышку гроба... Я в последний раз припала к теперь уже холодной голове Бори...

И какая-то туманная прострация этих страшных дней сменилась вдруг слезами. Я начала плакать, плакать, плакать. И плакала, уже не заботясь о том, как это все будет выглядеть, как мне надо держаться, "что скажут люди...".

А между тем на кладбище творилось что-то необычное... Вот уже хотят закрыть гроб, вот некто в серых брюках (не Воронков ли?) взволнованно говорит: "Довольно, нам эти митинги ни к чему; закрывайте!". Но люди хотят говорить!

Какой-то с виду рабочий, в пестрой рубашке с широко открытым воротом:

— Спи спокойно, дорогой Борис Леонидович, мы не знаем всех твоих произведений, но в этот час мы тебе клянемся, что придет день, когда мы их все будем знать. Мы ничему плохому о твоей книжке не верим. Ну, уж а вы, братья-писатели, таким себя позором покрыли, что и говорить нечего. Мир тебе, Борис Леонидович.

А распорядитель со словами "митинг окончен, речей больше не будет" хватал пытавшихся говорить за рукав и запихивал их обратно в толпу.

Какой-то иностранец на ломаном русском языке возмущался:

— Если не будет желающих говорить, тогда и скажете, что митинг окончен.

И опять прорывается какой-то молодой:

— Путь избранных Бог отмечает терниями, а Пастернак был Богом взыскан и отмечен; он верил в вечность и он будет к ней принадлежать... Предавали ана-

феме Толстого, отказывались от Достоевского, сейчас отказываемся от Пастернака. Всякую славу мы стараемся спихнуть на Запад... Но мы не можем себе этого позволить. Мы любим Пастернака и чтим его как поэта...

И он вдруг громко крикнул:

— Слава Пастернаку!

Толпа подхватила эти слова, по полю, как волны, стали прокатываться возгласы:

— Слава Пастернаку! Осанна! Слава! Слава!

Тут произошло непредвиденное: на колокольне переделкинской церкви Преображения Господня ударили колокола. Вероятно — это было совпадением: звонили к вечерне. (А может быть — и не совпадением: ведь накануне похорон на "Большой даче" отпевали Б.Л. по православному обряду.)

Совершенно перепуганный распорядитель со словами "закрывайте, начинается нежелательная демонстрация" сам взялся за крышку гроба.

Татьяна Матвеевна, очень преданная и любящая Б.Л. домработница, неотступно стоявшая со мной у гроба, положила на лоб Б.Л. заупокойную молитву, и крышку закрыли...

Когда гроб опускали в могилу, и по крышке застучали первые комья земли, над кладбищем и над окружавшим его полем все вновь и вновь, волна за волной: Слава Пастернаку!

Прощай, самый великий! Прощай, Борис Леонидович! Прощай... Слава!... Осанна! Слава! Слава!

Молодежь долго не раходилась. У могилы читали стихи, жгли свечи. Загромыхала гроза с отчаянным ливнем. Ладонями прикрывали от тяжелых капель дождя свечи, и — читали, читали, читали... Природа в этот день выдала все полностью: и буйный расцвет, и ветер с солнцем, и даже грозу.

В годовщины смерти Б.Л. на могиле собирается молодежь, читают стихи, свои и его, горят свечи.

Однажды я услышала мотив темы Лары из кинофильма "Доктор Живаго":

... *Пусть вечен мрак,*
Есть все же свет в ночи
И Пастернак
С Ларой, как две свечи...

И СНОВА Я ВСЕХ ВИНОВАТЕЙ

С кладбища мы пришли ко мне на дачу, где уже был накрыт стол человек на пятьдесят для поминок. Здесь Гейнц показал мне телеграмму Фельтринелли: “Приезжаю вас обнять, быть с вами, около вас, ваш друг Джанджакомо”.

— Это не будет приятно вашему правительству,— сказал Гейнц, — надо сказать Джанджакомо, что ехать ему сюда и не нужно, и нельзя.

Я согласилась, и Гейнц уехал для телефонного разговора с Фельтринелли. Потом он вернулся. Было застолье, дым папирос и мое оцепенение.

Спустя два дня поехала в Москву. Как оказалось, по дороге мы разминулись с непрошенными гостями.

Не успела я еще снять траурного платья, как позвонил из Переделкина все тот же директор управления авторских прав Хесин и потребовал немедленного свидания. Сказал, что сопровождает “высокопоставленное лицо”. Когда стало ясно, что все мои попытки избежать этого визита тщетны и непрошенные гости все равно пожалуют, я позвонила Банниковым.

Мне хотелось, чтобы они присутствовали при этом странном визите.

Полина Егоровна уже угощала нас чаем, когда снова раздался звонок Хесина, на этот раз из аптеки в нашем переулке.

С Хесиным был незнакомый мне человек с черными глазами, плотный, в коричневом костюме. Он отрекомендовался мне доверенным Воронкова из Союза писателей и попросил ознакомить его с рукописью “Слепой красавицы”. Я посадила его в Ирочкиной комнате и дала читать одну из машинописных копий — неправленую и неряшливую (именно ее в 69 г. опубликовал в журнале “Простор” Лев Озеров как “рукопись”).

Через несколько минут за мной прибежал Митя — гость требовал меня. Он предъявил красную книжку оперативного работника КГБ и заявил, что ему нужна не копия, а рукопись — только лишь ознакомиться с ней и перелистать.

Я спустилась вниз, в десятую квартиру, где прятала рукопись. Но когда она оказалась в руках "гостя", он заявил, что пьесу должен взять с собой. Я настолько энергично воспротивилась, что сумела рукопись отобрать и отнести ее в другую комнату.

Хесин пустил в ход последний козырь: в машине дожидается "высочайшего звания" человек, против которого я ничего не могу сказать.

Поля решила, что там не иначе как Никита Сергеевич ожидает в машине, и начала сетовать, что в холодильнике ничего нет, все сожрали, и нечем даже угостить высокого гостя.

Вошел человек, похожий на иностранца — в сиреневом костюме, в сиреневом галстуке, с гладко расчесанным дипломатическим пробором.

— Разрешите войти? Здравствуйте, Ольга Всеволодовна, извините, что так врываюсь, — сказал он любезным светским голосом.

— Ко мне входит сейчас всякий, кто хочет, — отвечала я отнюдь не столь любезно.

Мне были предъявлены удостоверение одного из высших чинов КГБ на имя К. и любезное, но категорическое требование отдать рукопись.

Я ответила, что не одна владею рукописью и должна посоветоваться с детьми.

Вошли дети — Митя (весь собранный, как для прыжка, и бледный) и Ира (полная решимости, как она всегда бывает в трудную минуту); Ира заявила недрогнувшим голосом:

— Мама, рукопись не только твоя, ты не должна ее отдавать ни под каким видом, пусть они покажут свои права.

— Ирочка, но вы не понимаете, что мы делаем это сейчас ради вас, — улыбнулся пришедший.

— Я не Ирочка, — отвечала сердито Ира, — а Ирина Ивановна, и я не знаю — вы сейчас делаете хорошо или плохо, но мама не должна отдавать эту рукопись — она не только ее, но и наша.

— Я бы не хотел сейчас приглашать Ольгу Всеволодовну в то учреждение, которое ее травмирует безусловно больше, чем разговор в частной квартире, — сказал "гость".

Коллега его добавил: — И не забывайте, что нас в машине шестеро — мы и силой можем забрать рукопись.

Делать было нечего. Рукопись увезли. Потрясенные, мы долго сидели в столовой. Не помню, как ушли

Банниковы и чем окончился этот день. Но преследования только начинались...

Наступило двадцать четвертое июля — день моих именин.

Я только вернулась из Тарусы, где четыре дня отдыхала у Ариадны. Гейнц привез какие-то подарки от Фельтринелли и от себя.

— А вот вам "подарок" от меня, — сказала я. И он положил в портфель приготовленную мною копию рукописи "Слепой красавицы". Разумеется, без права опубликования, а только чтобы сохранить.

Когда гости разъехались, я пошла проводить Гейнца по направлению к станции (он был без машины). Где-то посередине Баковского леса мы простились, и я повернула назад к даче. Но оглянувшись увидела: Гейнц почему-то остановился, я побежала к нему обратно, и он показал мне глазами — за кустами на животе лежал человек. Стало страшно, и мы вернулись на дачу. Человек полз за нами по кустам, белесые волосы страшно встали дыбом, и он, нагло топая и уже не скрываясь, перебежал нам дорогу.

На даче мама с Сергеем Сергеевичем смотрели телевизор. Мама испугалась, такая я была бледная. Гейнц задержался у калитки. Когда я вышла позвать его в комнату — он уже вообще исчез, как в воду канул.

К счастью, по шоссе медленно двигался зеленый глазок — свободное такси. Я даже не удивилась — откуда такое чудо глубокой ночью в нашей глуши — и помчалась на Потаповский.

Ночь прошла без сна, в тревоге. До утра через каждые несколько минут мы с Митей звонили в гостиницу "Берлин", но номер Шеве не отвечал. Ну куда он девался, чего только не передумали. Завтра вдруг будет в газетах: "В Баковском лесу найден труп неизвестного" и т.д. Потом он окажется корреспондентом газеты "Ди Вельт" другом моим Шеве... "Убит неизвестными хулиганами..."

В восемь утра в квартиру позвонили: за дверью стоял Гейнц.

— Шла машина, — спокойно улыбаясь объяснял он, — я поехал в одно место, спасать рукопись; думал — вы догадаетесь.

За что я его ругала — он так и не понял.

Через две недели Шеве привез мне письмо от Фельтринелли. Джанджакомо обязался не печатать "Слепую красавицу" без моего согласия.

* * *

Шестнадцатого августа, в солнечный и прохладный день, как сейчас помню себя в своей опустевшей измалковской комнате. Помню безысходное и грустное свое раздумье: уже прошли мои печальные именины, первые без Бори, когда я передала Гейнцу злополучную "Слепую красавицу", и ночь с тревогами по поводу странного исчезновения самого Гейнца, ночь, наполненную телефонными звонками и волнениями.

Уже посетили меня за это время после Бориной смерти супруги Бенедетти с письмом Д'Анжело и рюкзаком денег, и я уже раздала эти пачки, грустно похожие на печенье, а друзья Д'Анжело, которым предстояло сыграть такую трагическую роль в моей дальнейшей судьбе, отбыли в свое беспечальное южное путешествие. Уже расстался с нами Жорж, рыдая у вертушки шереметьевского аэродрома; Ирочкин брак с ним так и остался неоформленным... Уехал он больной и несчастный, не дождавшись ответа от Хрущева на свои телеграммы.

Спустя годы (8.12.66) Жорж Нива писал из Парижа моей приятельнице Римме Дундер в Хельсинки: "Это было время басносновно-прекрасное, больное, лихорадочное. Я много пережил, и долго не заживала рана".

Чтобы правильно понять дальнейшие события этого солнечного вторника 16 августа 1960 года и последующих дней, надо снова вернуться к мрачным временам преследований Б.Л. за публикацию романа.

* * *

Тема эта неприятна, но обойти ее молчанием я не могу, ибо в злонамеренно искаженных слухах она получила превратное толкование. Пастернак был бескорыстным человеком, но работы нас с ним лишили, денег — никаких, а жить на что? Между тем за рубежом начислялись огромные гонорары, Б.Л. вызвали в Инюрколлегию. Мы пошли туда вместе. Он написал просьбу — пришедшие на его имя из Норвежского и Швейцарского банков деньги разделить между Зинаидой Николаевной и мною поровну, чтобы, как он говорил, "в случае чего" быть спокойным за наши материальные базы.

Уже в ходе беседы с председателем Инюрколлегии Волчковым, я прервала Б.Л., отозвала в сторону и от-

говорила от всяких денежных распоряжений до беседы с Поликарповым.

Поликарпов, конечно, отсоветовал брать деньги за неизданный здесь роман, но обещал какие-то переиздания переводов и работу. В ответ на мои жалобы на безденежье, он бросил двусмысленную фразу: "Хорошо бы — привезли вам ваши деньги хоть в мешке, чтобы Пастернак успокоился".

Я передала Боре этот намек, и он счел, что может получать свои гонорары с благословения властей и без Инюрколлегии.

В это время неожиданно для Б.Л. прилетели первые ласточки — французские туристы — и привезли на "Большую дачу" двадцать тысяч советскими деньгами (по старому курсу). Он принес часть денег мне. Это сразу поправило наши материальные дела. Затем нас посетил Герд Руге, о котором я уже писала. Он тоже завез Б.Л. советские деньги. Несколько раз привозил Борису Леонидовичу деньги от Фельтринелли Гейнц Шеве.

И, наконец, последовал казус, приведший уже после смерти Б.Л. к аресту Иры. Дело было так.

Как-то утром на Потаповский приехал Б.Л. и огорчился тем, что я на ровном месте сильно повредив себе ногу, сижу в гипсе. Моя глупая неосторожность выбила его жизнь из обычной колеи, а это его раздражало больше всего. Вдруг телефонный женский голос с иностранным акцентом попросил меня прийти на почтамт и взять привезенные для Б.Л. новые книги. Я догадалась, что это была Мирелла, жена журналиста Гарритано, оставшегося в Москве взамен уехавшего на родину Д'Анжело.

Боря еще больше расстроился: я идти не могла, его мы от всяких встреч с незнакомыми людьми отстраняли, дома никого больше не было, а получить посылку с книгами ему очень хотелось. И тут пришли Ира и Митя. Я, конечно, поддержала Б.Л., когда он попросил Иру сходить на почтамт за посылкой. А так как она одна знала в лицо Миреллу, но спешила в институт, то Б.Л. попросил пойти с ней Митю. Дети не могли не выполнить просьбу Б.Л., они ушли. Ира получила на почтамте из рук Миреллы чемоданчик, а Митя принес его нам с Борей на Потаповской.

Раскрыв чемоданчик, мы так и ахнули: взамен обещанных новых книг в нем аккуратными рядами лежали запечатанные пачки советских денег. Выложив мне на

расходы одну пачку, Боря увез чемодан в Переделкино, а Ира, о действительном содержании чемодана понятия не имевшая, попала в лагерь за передачу денег...

Последняя денежная эпопея произошла вскоре после смерти Б.Л. и была связана с туристами супругами Бенедетти. Они пришли на Потаповский, и для объяснения с ними я вызвала из Переделкина знавшую французский Иру. Ехала она неохотно, будто предчувствуя беду.

Бенедетти передали мне письмо от Д'Анжело; он уверял меня, что посылает лишь половину денег, которые он должен был вернуть Пастернаку (полмиллиона советских рублей в старых деньгах). И злополучные туристы вынули из чемодана рюкзак с деньгами. Как я ни умоляла их забрать рюкзак с собой — они не могли себе уяснить, что человек может отказаться от собственных денег.

— Вы не имеете права отказаться, — говорили они, — эти деньги вы должны израсходовать на достойный памятник Борису Пастернаку и на помощь тем людям, которым бы помог он сам; да и потом — это частный долг, и мы обещали Данжело его обязательно доставить, что было для нас очень трудно.

И, откланявшись, супруги Бенедетти удалились. Я, Ира, Митя, с ужасом смотрели на рюкзак... *.

---

* После моего ареста к Мите явился приехавший по туристской путевке Д'Анжело. В руках его было две обьемистых сумки. Не зная об их содержимом, Митя догадывался, что там опять могут быть деньги. Между тем наш с Ирой арест скрывался от мира, так что в квартире даже посадили женщину, чей голос был похож на Ирин, а Митю предупредили о необходимости соблюдать тайну (пообещав, что при этом условии нас отпустят). Но Митя оказался на высоте: он сумел сообщить Д'Анжело о нашем аресте и выпроводить его с одной из сумок вон из квартиры. Когда вслед за этим сидевшие в засаде люди ворвались в комнату за оставленной сумкой — там оказались лишь приведшие их в ярость присланные Джульеттой нейлоновые юбки и помада. Позднее стало известно, что в унесенной сумке у Д'Анжело был остаток долга Пастернаку — вторые полмиллиона рублей... Подчеркиваю (это очень важно): во всех без исключения случаях деньги были советские; ни гроша в иностранной валюте мы и в глаза не видели.

— Ну, вот теперь мы пропали, — пророчески сказал Гейнц Шеве, когда на следующий день я рассказала ему о визите Бенедетти.

А все же, думалось нам, не могут же власть имущие не понимать, что на такой путь получения гонораров за "Живаго" они сами нас толкнули. Хотя во всей этой истории с деньгами решительно ничего противозаконного не было, она оставила горький привкус принужденности: надо было на что-то существовать. А что может быть законнее литературного гонорара?

Да и не мне было оспаривать распоряжения того, с кем в течение четырнадцати лет я разделяла и творческие радости, и всякие нападки, и бедную крышу измалковского домика.

* * *

И вот это шестнадцатое августа шестидесятого года...

Мама с Сергеем Степановичем продолжали доживать это печальное лето в уютной дачке на горке против "шалмана" по соседству с нашей, и туда, возвратясь из Москвы, я хотела пойти в это чудесное прохладное лето. Помню, прибежал Митька и взял у меня сто рублей, угостить каких-то дружков, сказал, что "на дело".

Медленно пошла я на дачу к маме, но, видно, засиделась и забыла о времени. Наступил грустный закатный час, и пятна солнца скользили вниз, по ступенькам терассы. Я присела к столу, чтобы налить себе чашку чая. И увидала, как несколько человек — впереди шел полный, в светлом плаще — подошли к нашей калитке и остановились возле.

— Разогнались, видно, не туда, — помню, сказала мама. И действительно, группа в нерешительности побрела мимо маминой калитки, до следующей, моей, а оттуда повернула обратно, и полный человек в штатском взбежал по шатким стареньким ступенькам, по которым столько раз ходили мы с Борей, он — когда разыскивал меня, а я без него — к родичам чай пить, смотреть телевизор... Этот человек в плаще взбежал, чтобы насильственно, грубо ворваться надолго и не бесследно в мою жизнь. Это был мой будущий следователь, розовый и полный, как "добродушный" поросенок, Владилен Васильевич Алексаночкин.

— Вы, конечно, ожидали, что мы придем? — спросил он, самоуверенно улыбаясь. — Вы же не думали,

что ваша преступная деятельность останется безнаказанной?

Нет, я не думала, что наша с Борей деятельность преступна... Мне же в ЦК подсказывали — а что было делать? — чтобы Б.Л. получал деньги за роман. Способ существования, когда иностранные издательства выплачивали гонорар за "Доктора Живаго" в советских деньгах, был как бы понят и принят властями — а что было и им делать? — и мы, конечно, не думали о его уголовной наказуемости...

Но после Бориной смерти все переменилось. Я начала понимать, что у властей, попавших из-за романа в неудобное положение, явилась счастливая мысль переложить на мои плечи ответственность. Некоторые, как стало ясно мне потом, впали в ошибку из-за недостатка эрудиции. Говорил же мне на следствии Т. (очень крупный чин), что я "ловко законспирировалась", протащив под именем Пастернака свой преступный, антисоветский роман.

Пастернак — слишком известное имя, чтобы стоило на долгое время заклеймить его ярлыком врага. И потому после смерти Б.Л., когда можно было уже не опасаться, что он преподнесет новый сюрприз (вроде стихотворения "Нобелевская премия"), власти предпочли поместить его в пантеон советской литературы. Сурков сделал поворот на 180 градусов: объявил, что Пастернак был лично им уважаемым, честным поэтом, но подруга поэта Ивинская — "авантюристка, заставившая Пастернака писать "Доктора Живаго" и передать его за границу, чтобы лично обогатиться".

Ивинская получала гонорары, сочинив и продав преступный роман, прикрываясь чистым именем большого поэта, который и "не знал о совершавшихся злодеяниях". Легкая формула, в которую хорошо уложится и сурковская зависть, копленная годами, зависть временщика и ремесленника к большому поэту, трагический жребий которого — всегда оппозиция, именно из-за неподкупности и правдивости подлинного искусства. Найдена авантюристка — и дело с концом!

Но не так быстро! Ведь со дня Бориной смерти прошло мало времени! Еще два с половиной месяца не прошло, а деньги шли уже больше трех лет!

Мое несчастье давно уже висело в воздухе. В нашем подъезде с новым энтузиазмом собирались группы

странных молодых людей, преследующих нас своим вниманием и в магазине, и в поездах, и около будок телефонных автоматов. Однако, ожидать кары за "преступную деятельность" было странно — и многие наши друзья не хотели и допустить мысли, что я могу стать преступницей за то, что совершенно спокойно и как бы узаконенно принимал Б.Л.

Шестнадцатого августа у нашей маленькой дачки стояли в ряд служебные машины КГБ. На двух дачах сразу начался обыск. Тут, я помню, объявился Митька, больше всего боявшийся, что передо мною откроются его мелкие шашни. Его задержали в магазине, где он на выпрошенную у меня "для дела" сотню купил две какие-то бутылки со спиртным. Митя сидел виноватый, потупив голову. А у меня замирало сердце от жалости к нему, от предчувствия разлуки. Вспоминалось, что еще малышом он был свидетелем ареста. Помню, опять брали бумаги, письма, искали деньги и отбирали все, что можно было отобрать. Меня тут же пронзила мысль, что они хоть не найдут пресловутый чемодан на Потаповском, спрятанный в квартире этажом ниже. Там лежали и деньги, которые я не успела еще раздать, и самое важное — письма, связанные с романом, и рукописи.

Главное, хозяева нижней квартиры сами не знали, что в моем чемодане *. Предполагалось — материя для платьев — хозяйка квартиры шила.

Итак, обыск на даче подходил к концу и меня повезли в город, на Лубянку. Последний раз я на легковой машине ехала по Москве, зажатая, правда, по бокам двумя "товарищами" в штатском. Улицы пестрели цветами, был августовский день цветов.

На первом же свидании со следователем я узнала, что обыск был сделан сразу в нескольких местах. Сыскной аппарат сработал чисто — подслушанные телефонные разговоры дали возможность обрезать все нити без труда, а наличие денег, привезенных еще по распоря-

---

* Я поступила так, чтобы не подвести соседей; именно потому, что они не знали о содержании чемодана, им не было предъявлено никаких обвинений.

жению Б.Л., дало возможность приписать "контрабанду" Ивинской, отделить ее действия от распоряжений Пастернака — как будто бы их и не было.

Сердце у меня так болело, что хотелось впасть в беспамятство. А потом овладело странное равнодушие. Боря все равно в могиле, и может лучше сразу оторваться от этого безнадежного тупика и идти по каким-то отвлекающим тебя от сознания безвозвратности новым мучениям.

И с первых допросов замелькали в моем деле иностранцы. Фельтринелли, Д'Анжело, Шеве, Бенедетти, Руге и др. Все они — обвинительные против меня акты...

И вот теперь, пока следователь Алексаночкин, обворожительно улыбаясь, в квартире на Потаповском примерял на себя лифчики для передачи мне, чем окончательно пленил Полю, "на воле" бегала бедная Иринка, еще совсем больная. Бегала по адвокатам. Прежде всего ее занесло к блестящему, тогда молодому, В.А.Самсонову. Самсонов обещал ей защищать меня. Предполагался вопиющий, интереснейший процесс, уже по одному тому, что Запад, взволнованный недавней трагедией Пастернака, не отделял самого героя от его подруги, с которой волею судьбы ему пришлось совершить "космический рейс Живаго" (так сам Б.Л. писал одному из своих западных корреспондентов).

Но любезностью Самсонова относительно меня Ире воспользоваться не пришлось. Приблизительно через месяц, по-моему, пятого сентября, дверь лубянковского бокса закрылась и за нею, а она, как рассказывала мне потом, даже с облегчением вздохнула — так опротивели ей молодчики, галантно сопровождавшие ее, когда она шла к подружкам, или в магазин, или подходила к телефонной будке. Романтические способы снова применялись. На шестом этаже Потаповского переулка опять ходили мужчины, ряженные зачем-то в женские платья, бегали встревоженные телефонисты, стоило чуть не сработать нашему предателю-телефону, честно служившему интересам Лубянки.

Адвокатские карты перемешались. Иру должен был защищать уже знакомый с нею Самсонов, а меня — Виктор Адольфович Косачевский. На Лубянке я долго не знала, что арестована Ира. Может, Алексаночкин жалел меня? Может быть... Правда, он запугивал меня,

открывая передо мной мои же чемоданы. Но потом, кажется, оказал нам божескую милость: дал возможность повидаться в своем кабинете, устроив "очную ставку" по какому-то случайному, малозначащему расхождению. Боже мой! Как вспомню бедную, больную Иринку в тюрьме! И за что! За взятый из рук Миреллы чемоданчик, в котором, она думала, будут книги для Б.Л.

Виноватою по нашим законам можно было считать ее в знакомстве с иностранкой, женой Гарритано, работника Московского радио, члена компартии Италии. А как бы ей было не знать окружающих Б.Л. иностранцев! Ведь они и в доме у нас бывали, и Боря ей давал поручения к ним. В вину ей, девчонке, студентке третьего курса Литинститута, ставилось то, что она, комсомолка, не донесла на Бориса Леонидовича, проявила недостаточную активность при воспитании такого, как он, отсталого элемента! Иринка была выставлена активной контрабандисткой, дочерью авантюристки, по слабости старика допущенной в его денежные дела.

Итак, Ира тоже в тюрьме, а я сижу в камере вдвоем с бухгалтершей из того злополучного ателье, которому выпала честь обшивать Хрущева и его семью.

На прогулках в каменных ящиках лубянковских закрытых дворов я стараюсь уловить Ирочкины шаги за каменным барьером. Сочиняю о ней стихи:

... Где-то там, за каменной стеною,
Может — сзади, может — впереди
Девочка, погубленная мною,
С русыми косичками сидит...

Вот как Бог привел меня в конце моего второго следствия познакомиться с Тикуновым. На Абакумова он не был похож; Б.Л. назвал бы его "человеком без шеи". Он состоял из трех шаров: зада, брюха и головы. Разложив на столе копии "Живаго" и Борины письма ко мне, он царственно кивнул на стул против огромного стола.

— Ловко мы замаскировались, — сказал он угрюмо. — Но нам-то известно, что роман не Пастернак писал, а вы. Вот что сам Пастернак пишет...

И у меня перед глазами поплыли Борины журавли:

"Это все ты, Лелюша! Никто не знает, что это все ты, ты водила моей рукой, стояла за моей спиной — всем, всем я обязан тебе".

Я спросила толстую тушу, ехидно и уничижительно смотревшую на меня крохотными щелками глаз, спрятанных за пухлыми подушечками щек:

— Вероятно, вы никогда не любили женщину и не знаете, как любят, и что в это время думают, и что в это время пишут.

— Это до дела не касается, — ответила туша. — Пастернак сам признается — не он писал! Вы его во всем подстрекали, он до вас не был так озлоблен. Вы совершили преступление и с заграницей связались...

— Какой дурак меня допрашивал? — спросила я Алексаночкина.

— Тсс... тсс... это сам Тикунов, — зашипел он на меня. Но глаза его, мне казалось, улыбались.

Хорошо, что юмор меня не покинул, и, трясясь после суда в "воронке", я поверяла бледной Ирке с двумя косицами, осужденной на три года строгих лагерей, мое свидание с Тикуновым.

— Он тебе польстил, мама, за это его надо простить, — смеялась Ира.

Алексаночкин, игравший доброжелателя и легко меня на этом "доброжелательстве" обманувший, чуть не добился, чтобы я, дура вообще отказалась от адвоката.

— Вот ваш Гитлерович идет, — добродушно усмехался Владилен Васильевич, обыгрывая отчество Косачевского "Адольфович". — Не нужен он вам. Откажитесь, пока не поздно! Он все испортит. Все ведь и так ясно. Хуже всего, если вы вздумаете менять на суде свои показания!

Или: "Лучше всех защитил бы вас ваш следователь!"

Или: "Эх, Ольга Всеволодовна! Раньше я вас не знал! А то советчики у вас были плохие, а вы слишком доверчивы!".

Наша дружба с Алексаночкиным к концу следствия вообще достигла, как говорят, своего апогея. Он даже конфискованную у меня книжку прозы Марины Цветаевой, любимую мою книгу, просил надписать "на память" для него и его жены.

Помню удивленный взгляд Виктора Адольфовича, когда мы с Алексаночкиным поверх его головы обменивались "понимающими" улыбками... Такое трогательное единодушие! И насколько умней оказалась Ирина! Она, потребовав очную ставку со мной, заявила, что отказываться от адвоката я просто не имею права, хотя бы из-за ее интересов.

Итак, защитник у меня был, и, читая мое дело — два пухлых тома — знакомясь с вещественными доказательствами, как ни странно, он не находил состава преступления...

— Мы вам припишем контрабанду, это легкая статья, — мило улыбаясь, обещал мне как-то мой "друг" Алексаночкин.

— Почему же контрабанду? — удивилась я. Ведь мы с Б.Л. не видели ни одного доллара, ни одного франка и ничего не перевозили!

— Ну, был бы человек, а статью найдем любую! — успокаивал меня Алексаночкин.— Мало ли что! Вы получали советские деньги, но знали ведь, как их вам привозили?

— Совершенно не знали! Так распорядился уже почти пять лет назад Б.Л.! Почему же виноваты мы с Ирой? Ведь деньги Б.Л. получал для всех и как хотел, так и распоряжался ими!

Сам Д.А.Поликарпов советовал отказаться от услуг Инюрколлегии: "Хоть бы вам в мешке, что ли, привезли эти деньги! Пока идет скандал, как-то неудобно их получать официально!".

Б.Л. и согласился на "мешок", а я пошла на поводу у Поликарпова — уговорила подождать с официальным получением, словом, — положиться на волю Божию.

А сейчас все это оборачивалось против нас с несчастной Иринкой!

Но, так или иначе, следствие подходило к концу. Нас уже перевели в Лефортовскую тюрьму, куда отправляли подписавших предъявленную статью. Из подследственных мы стали обвиняемыми. Туда, в Лефортово, должен был ездить только адвокат, но каково же было мое удивление, когда меня с прогулки вызвали к начальнику тюрьмы и я увидела там "милого" Алексаночкина. Видно, он беспокоился, что я откажусь на суде от каких-то выгодных для него формулировок. Мне же, через розовые очки, надетые еще Борей (тот и не мыслил, что кто-то может меня не любить), показалось, что он пришел ко мне действительно нелегально, рискуя карьерой, чтобы поддержать упавший мой дух...

Очень смешно, но так было...

Раза три или четыре ко мне приезжал Виктор Адольфович.

Это стало праздником для меня, дыханием с воли, где жили свободные люди. Люди, от которых пахло све-

жим воздухом и даже одеколоном. Люди, идущие вечером в кино, а если захочется, в гости чай пить. Виктор Адольфович был такой красивый, благожелательный, большой, по-домашнему мягкий. Сочувственные карие глаза, добрые и ободряющие.

Переговаривались мы полушепотом, часто переписывались касательно самых невинных вещей. Я, помню, очень беспокоилась о Гейнце. По репликам Алексаночкина еще с первых допросов можно было предположить, что он арестован тоже.

В последнее время Гейнц Шеве стал поверенным одновременно и Пастернака, и Фельтринелли, помощником в нашей переписке, постоянно перевозил нецензурованные письма на собственном красном "фольксвагене".

Шавочка (как мы его ласково называли) давно стал для нас с Борей своим, домашним. Я уже упоминала, что, когда симпатии Иры переключились на Жоржа Нива, Б.Л. почувствовал к Гейнцу особенную жалость и нежность и в надписи на своей книге заверил его, что при всех обстоятельствах — он всегда будет членом нашей семьи.

Он им и стал. И болезнь Бори, и всю нашу ситуацию — всё он понимал, страшно любил всем нам делать приятное и, попросту говоря, любил нас всех, как любят членов своей семьи такие домашние и заботливые немцы.

И вдруг — Шавочка наш арестован? Господи! Снова, наверное, я виновата!

И на смятом листочке, при свидании с Виктором Адольфовичем, пишу стихотворение (многих строчек теперь уже не помню):

... Ты мне все перепутал, что можно,
Уж с ума я теперь не сойду.
Мне тревожно, когда не тревожно.
Я как дома в кромешном аду.

Видно, жизнь за очерченным кругом
Стала путаным сном наяву,
Если самым испытанным другом
Был нам летчик, бомбивший Москву.

Если смуту во вражеском стане
Неотступно по миру трубя,

Сумасбродный издатель в Милане
Стал судьбой для меня и тебя...

* * *

Все.
Вот тут обрывается пленка,
Мы куда-то летим в темноту...
Ты в могиле, и счастьем ребенка
Я плачу за шальную мечту!

В полумгле расплываются лица,
Уж никто нам не в силах помочь.
Это матери знать, что в темнице,
Где-то рядом, за стенкою — дочь.

Я всегда "рассуждала по-детски"...
Хорошо бы заткнуть себе рот!
Мне мерещится летчик немецкий,
В переделкинской тьме, у ворот...

И ему обвиненье готово,
И такая кругом круговерть,
Что нечаянно сказанным словом
Я его посылаю на смерть...

Ну и что ж! Оправданий не надо,
Но, в "тревоге мирской суеты"
Не дано мне рыдать у ограды,
За которой скрываешься ты.

Виктор Адольфович уверяет меня, что Алексаночкин все врет, что руки коротки им Шавочку забрать, что он просто уехал.

Кстати, Косачевский и Гейнц были в это время крайне недовольны друг другом. Гейнц подкатил к консультации В.А. на своем "фольксвагене" и выложил испуганному В.А. пять тысяч долларов: пусть защищает меня получше, а его вызовет в свидетели. (Гейнца, оказывается, Фельтринелли обвинил в том, что он плохо охранял меня.)

Виктор Адольфович объяснил наивному немцу, что-де у нас так не делается, что деньги он не возьмет, и без них сделает, что нужно.

Гейнц уехал обескураженный, обеспокоенный. Он мне потом все твердил, что это был "плёхой адвокат", не заинтересованный в деньгах...

А Виктор Адольфович, помнится, ещё на свидании в тюрьме возмущался, что за долгое время пребывания в России Гейнц так и не понял наших порядков и ровно ничему не научился.

На этом же свидании Виктор Адольфович рассказывал мне много интересного: о демонстрации в Лондоне в связи с нашим с Ирой арестом; о наглой лжи Суркова в ответ на протесты Пенклуба: оказывается, Сурков был другом Бориса Леонидовича! А я вспоминаю, как Фельтринелли не поверил в эту "дружбу" и заставил его ожидать себя под большим портретом Пастернака, когда тот явился любыми средствами выкупать крамольный роман.

Теперь, когда прошло столько лет, когда уже мертв наш благожелатель, сумасброд и авантюрист, герой моего эпистолярного романа, виновник двух раздутых томов лубянковского дела — Фельтринелли, мне хочется помолиться за упокой души этого безумного миллионера. В половине четвертого утра пятнадцатого марта нынешнего (72-го) года внимание двух крестьян в пригороде Милана было привлечено тревожным лаем дворняжки Твист. Оказалось, что к основанию опоры линии электропередач привязано несколько динамитных шашек, а возле неё лежит труп бородатого человека: в брюках армейского оливкового цвета нашли удостоверение личности на имя Винченцо Маджони. Фальшивый документ, ибо уже к вечеру того же дня официальные представители издательской фирмы объявили, что погибший — Джанджакомо Фельтринелли и что он не от несчастного случая погиб, а убит.

За исключением времени моего пребывания в лагере, наша переписка с Джанджакомо не прерывалась. И у меня еще задолго до его гибели сложилось о нем впечатление, как о человеке крайне эмоциональном, увлеченном тайной ультралевой "революционной" заговорщицкой деятельностью, конспирацией, и при всем том — постоянно боящимся преследований. Известно, что незадолго до гибели он говорил своему поверенному: "Если вскоре под каким-нибудь мостом найдут обезображенный труп, не забудьте вспомнить обо мне". И еще: "Я боюсь повернуться спиной к лесу, там вполне может оказаться ружье, готовое в меня выстрелить".

Последнее, что я от него получила, — изданные им тонкие журнальчики ультрареволюционного толка и большое, написанное по-немецки, письмо. Он заботился о моих денежных делах и сообщал, что скрывается в Австрии от итальянской полиции, которая преследует его за революционную деятельность; поносил империализм и выражал уверенность в победе мировой революции.

Бедный, бедный миллионер Джанджакомо Фельтринелли, погибший за мировую революцию в возрасте всего лишь сорока шести лет...

А что бы сидеть ему в своей великолепной вилле, в сказочной голубой Италии, у поэтичного — самого поэтичного из морей — Адриатического моря!

Так нет — покой нам только снится! И — снится ли?

Но я — о тех временах, когда сижу еще в камере московского комитета безопасности, жду суда, когда еще жив "сумасбродный издатель в Милане".

СУД И ПЕРЕСУДЫ

День суда. Мглистый, сыплющий колкой крупой день. Не то дождь, не то снег. В воротах Каланчевского суда, когда подъезжает "воронок", замечаю знакомые лица: все больше Ирочкины подружки и мальчики-студенты. Ожидают.

Судебное заседание назначено не в обычном зале, а в круглом, интимном. Мы сидим с Ириной в креслах, поодаль от заседателей, адвокатов и прокурора, и все они размещаются уютно за овальным, неофициальным столом. Конвойные остались за дверями.

Мы так рады встрече, говорим взахлеб друг с другом, и такие дуры! Свидетели и болельщики тщетно ожидают нас за теми же дверями, мечтают, что мы хоть в туалет догадаемся попроситься. Там хоть поцеловались бы... А мы между собой наговориться не можем. На суд, конечно, лишних не пускают, никого не пускают вообще. Всё неправда, и как неправда всё это

дутое дело, такая же неправда и оформление его. Стараются закончить в один день, чтобы не пустить иностранных корреспондентов. Всюду пишут, что дело слушается открыто, а в зале только состав суда да следователи в штатском.

Адвокаты наши выглядят прекрасно. Это люди как будто из другого теста, элегантные, светские люди. А судья с виду ужасен. Морщинистые щеки, огромные восковые уши. Я кошусь на благодушного, прелестного Виктора Адольфовича. Он меня уверял, что Громов вообще лучший из судей и что "нам повезло". Вроде бы Климов какой-то — истый зверь... Ну не знаю, каков Климов, а Громов очень хорош!

Установив для себя странную истину, что я переводила произведения поэтов разных национальностей, культурный судья твердо убежден, что я знаю не меньше десяти иностранных языков. Ясно, дело — нечисто: шпионка! Фамилии Пастернака и Фельтринелли выговорить ему не под силу: "Пистирнак и Финьтринелли!". И его вроде в недоумение приводит, что дело "Пистирнака" состоит исключительно из моей переписки с итальянским издателем. А ее набралось целых два тома.

И я сижу в этой чужой комнате и, пока идут все эти словоговорения, вспоминаю, как родилась наша заочная дружба с итальянским издателем. Когда уже Б.Л. подписал контракты с Фельтринелли, когда тот защитил Б.Л. своим предисловием к первому изданию на русском языке в Италии, отметив, что роман публикуется без согласия автора, к Б.Л. приехала одна француженка, под руководством которой работали переводчики. Помнится, как раз тогда Б.Л. был особенно недоволен массой корректорских ошибок в первой книге, вышедшей в Италии на русском языке. Поэтому ли, или потому, что французы были вообще ближе Б.Л. по духу, он задумал передать приоритет изданий романа другому издателю и подписал контракт с ним.

Ко мне тогда пришел явно обескураженный Гейнц и долго объяснял, какими последствиями для Б.Л. обернется переброска к другому издательству:

"Так не будет хорошо", — твердил Гейнц. Помню, какое обиженное письмо прислал тогда через него Фельтринелли, прося меня — он знал, что о ту пору все дела Б.Л. вела я — чтобы я доказала Б.Л., что так делать не годится. Фельтринелли упирал на то, что он

показал себя не как издатель в деле издания "Доктора Живаго", а как друг, а теперь он будет принужден судиться с новым издателем.

Я считала, что в этом конфликте абсолютно прав Фельтринелли*. Пользуясь поддержкой Гейнца, подписывавшего в то время вместо Б.Л. его бумаги за границей, напала на Борю, доказывая ему, как нехорошо он поступил, и какую ненужную огласку преобретает дальнейший выход романа на Западе, если две "капиталистические акулы" затеят судебный процесс друг с другом. Помню, очень смущенный Б.Л. попросил меня "распутать" это дело, написать и тем и другим.

Дело окончилось так: Фельтринелли отдал в руки нового издателя корректуры каких-то изданий, пошел на какие-то уступки, заплатил какие-то неустойки — приоритет сохранился за ним, и конфликт был улажен. Фельтринелли объяснил это — и совершенно справедливо — исключительно моим влиянием.

Но под конец "дорогой Джанджакомо" своей склонностью к авантюризму меня подвел. В своем последнем письме наш итальянский друг, удивленный тем, что я пересылку писем Б.Л. еще в последние дни его жизни доверила малознакомым посланным Д'Анжело, переслал мне знаменитую половинку разорванной итальянской лиры, чтобы я верила только подателю второй. Именно эта половинка лиры представила меня авантюристкой... А я, получив это письмо, не могла не улыбнуться; и воспользоваться таким романтическим (как в плохом детективе) способом не пришлось, потому что около меня был уже тогда снова Шеве, да я и не собиралась отсылать в Италию все оставшиеся рукописи Пастернака, как меня о том просил Джанджакомо, посылая эту злосчастную лиру.

Из рассмотрения двух томов моей переписки с Фельтринелли прокурору становится ясно, что роман за границу передала Ивинская, а Пастернак, который все

---

* Тем более, что Б.Л. в письме к Джорджу Риви от 7.2.60 так охарактеризовал Фельтринелли: "Мой практический исполнитель, продюсер, главный инициативный человек, который реализует все мои начинания".

же продался милитаристам, действовал по капризу Ивинской. Кто написал роман — ему неизвестно. Вместе с тем прокурор сообщает, что за все это меня преследовать не будут, а судят с дочерью за получение ввезенных в СССР контрабандным путем советских денег.

После такого "грамотного" изложения дела слушаю эрудированные блестящие речи защитников.

Прежде всего: задолго до смерти Пастернак переслал своему издателю Джанджакомо Фельтринелли письменное указание, в котором значилось: "... при жизни моей и после смерти всеми моими гонорарами распоряжаться я уполномачиваю Ольгу Всеволодовну Ивинскую..." (Речь шла о гонорарах за роман "Доктор Живаго", "Автобиографический очерк", пьесу "Слепая красавица").

Такой документ имеется, и даже не в одном экземпляре, и даже не в одном варианте — их было несколько — все они дошли до Фельтринелли.

Так что у него были на этот счет прямые распоряжения; добросовестно их исполняя, он несколько раз присылал с оказией нам деньги, как при жизни Б.Л., так и после его смерти.

Во всех без исключения случаях деньги эти были советские. Обвинение против меня и Иры было построено на абсурдном предположении, будто эти суммы были контрабандой вывезены из СССР в Италию, оттуда контрабандой же перевезены обратно в СССР, а затем вручены нам.

Вместе с тем, как адвокаты напомнили "забывчивым" судьям и прокурору, существовал порядок, по которому можно было прийти в Госбанк, протянуть в окно кассиру любую сумму в валюте и получить взамен советские деньги по текущему курсу. Никто не имел права требовать отчета — откуда эти деньги.

Кроме того, еще со средних веков никто не возил чемоданы с деньгами, для этого существовала система денежных документов. И нашей стране было очень выгодно, получив из-за рубежа валюту — разменять ее внутри страны советскими деньгами.

Наконец, деньги эти нам не голубь приносил — их привозили посланники Фельтринелли.

Всеобъемлющая паутина слежки, опутывающая наш каждый шаг, зафиксировала каждый случай передачи

денег. Так почему же ни один из этих иностранцев не был задержан и допрошен хотя бы в качестве свидетеля? Ведь это и были "подлинные" контрабандисты, привезшие из Милана (если верить версии следствия) советские деньги.

Не странно ли, что судят тех, кто получил "контрабанду", но даже в свидетели не приглашают тех, кто ее перевез через границу.

Ларчик просто открывался: допроси хоть одного из этих иностранцев — он тут же доказал бы, что деньги разменял в Госбанке СССР, и этот зловещий фарс лопнул бы, как мыльный пузырь.

И вот контрабандисты не только не привлечены к ответственности, не только не допрошены хотя бы в качестве свидетелей, но даже и не названы по именам... А нас — судят.

Адвокаты показывают, что утверждение, будто полученные наши деньги привезены из-за рубежа, никак не доказано.

Окончательный вывод адвокатов: если где и есть контрабандисты, то в этом зале их нет. И состава преступления — нет. А ведь это непросто — начисто отмести состав преступления и статью, наскоро состряпанные и приляпанные нам следствием. Они это говорят, абсолютно уверенные в своей правоте, а ведь они партийные, допущенные к защите политических, хотя таковых, по заверению Никиты Сергеевича, давно нет в нашей стране. И действительно, ведь нас судят просто как "контрабандисток", а не самых близких людей Пастернака...

...Я смотрю на Ирку. Она выглядит удивительно трогательно и смешно. Две косички, личико ребячье, узкоглазое, бледное. В виде особой милости ей, оказывается, даже лишний матрац выдавали, так больно и невозможно было лежать ей на жесткой тюремной койке — вся была в аллергических волдырях.

... Суд продолжается. В конце концов его комедию можно рассматривать и как место свидания после долгой разлуки с милыми сердцу людьми — свидетелями по делу.

Вот приходит с виду строгая, собранная, смертельно запуганная, милая наша ворчунья Полина Егоровна. Еле сдерживая слезы, касается она наших голов — пытается поцеловать нас. Проходит милая моя Машенька,

тоже бледная, до зелени. Не помню, на какие вопросы заставляют их отвечать.

В перерыве Самсонов и Косачевский успокаивают взволнованных родственников, приятелей, подружек и просто доброжелателей. Ира, конечно, пойдет домой, к ожидающей ее бабушке, мне дадут условно за то, что сразу не сигнализировала в органы о привозе итальянцами денег, принадлежащих Б.Л., как привозили ему за эти годы уже несколько раз.

После перерыва настроение меняется. В руках судей какой-то запечатанный пакет, где предписано, какую кару мы должны понести, и удивленные конвоиры — такие были славные ребята, особенно молодой украинец, начальник конвоя — сообщают толпящимся в коридоре, что матери — восемь лет лагерей, а дочери — три...

Полное недоумение. Мы выходим. Конвой, хотя ему и не предписано, отступает, и я сразу попадаю в объятия плачущего Сергея Степановича, Маши, Милки... А Ирочку, почему-то как вихрь летящую впереди конвоиров, задерживают сами конвоиры, жалея ее — пусть, мол, попрощается с подругами... Начальник конвоя, когда еще ехали в суд, оказывается, спрашивал ее — есть ли ей пятнадцать?

В БЕДЛАМЕ НЕЛЮДЕЙ

Вот мы и снова в "воронке". Машину обступают провожающие. Теперь мы с Ириной едем вместе. Нет формальной надобности нас разлучать, узнаем, что даже, в виде особой милости, отправлены в один лагерь, в Тайшет.

Начинается длинное, страшное путешествие в Сибирь, с мучительными остановками и ночевками в камерах для транзитных заключенных. Стоят январские морозы. На Ирке синее пальто демисезонное, из василькового английского букле. У нее было глупое пристрастие все укорачивать по моде, а у меня ноет сердце. Руки ее выпирают из рукавов... Ехали всю дорогу ок-

руженные одними уголовниками, покрывающими и соседей по несчастью, и конвойных отборным матом. Помню, сидя за решеткой общего купе с набитыми, как сельди в бочку, уголовниками, мы даже с надеждой поглядывали на нашу охрану. Попадались хорошие ребята, попадались и пакостные грубияны, но в случае эксцессов с нашими "собратьями" — уголовниками на охрану была единственная наша надежда. Хоть зарезать, может быть, не дадут...

До сих пор не понимаю: обычная это для нашей системы лагерей неразбериха, что нас отправили в лютый Тайшет за месяц до его переселения в Мордовию, или просто садизм, но мы совершили путешествие в Сибирь для того лишь, чтобы, испытывая такие же мучения на обратном пути, переселиться опять-таки в пресловутую Потьму, политический лагерь для особо важных преступников, зашифрованный под уголовный.

Надо сказать, что путь в Мордовию был все-таки гораздо легче, чем в Тайшет. Мы там встретились, правда, с несколько измельчавшим составом интеллигентных "временно изолированных" лет на десять или на двадцать пять, но все же более к нам подходящим, чем залихватские наши попутчики.

До сих пор без внутренней дрожи не могу вспомнить, как ночью в Тайшете мы шли пешком при двадцатипятиградусном морозе в лагерь. Стояла неподвижная, серебряная и лунная сибирская ночь, ночь с голубыми низкорослыми тенями от молодых сибирских сосен. По обочинам дороги нежились под призрачным светом разлапистые и под луной неправдоподобно огромные поседелые северные ели. Мы шли среди настоящего тайшетского леса, зловещего и ослепительно прекрасного. Оборачиваясь назад, видели тень верховой лошади, выросшую под луной в верблюжью. Она несла нашу поклажу. Саней на станцию не выслали, конвоиры не согласились ждать, и мы, в сопровождении двух призрачных теней с винтовками, пустились в неведомый путь, спотыкаясь и ежась — мороз, незначительный, может, для аборигенов, нас, непривычных москвичей, пробирал до косточек. Вдруг — как в сказках — в снежной дали замелькали и приблизились огоньки. По обледенелому крыльцу посчастливилось войти в сравнительно теплый коровник, где находились ночные дежурные з/к. Нас, помню, встретила Ядя Жердинскайте, молодая литовка, за сочувствие литовским "лесным

братьям" получившая десять лет. По профессии медсестра, Ядя работала в Тайшете при коровах.

Жидкая лапша показалась вкусной, а главное, была горячей и согрела нас. Дальше путь до тайшетского лагеря мы проделали уже роскошно, в каких-то санях-розвальнях.

В Тайшете политические делились так: большая часть — монашки разных сект, неугодных нашему строю. Вторая часть, средняя — военные преступницы, бандеровцы, власовцы и шпионки. Третья — "особые", "бунтовщики", то за себя, то за крамольных своих мужей, сочиняющие какие-то декларации о призрачных свободах. Была здесь писательница Анна Баркова, имя которой помнилось с давних времен по антологии Ежова и Шамурина. Ее приятельница Валентина Семеновна Санагина — полуграмотная, но, безусловно, талантливая мемуаристка. Обе они, и Баркова, и Санагина, сидели по третьему разу, и все за то же. Баркова в ядовитых стихах, своеобразных, красочных, сатирических, бичевала Сталина и других "власть имущих", а Санагина косыми неровными буквами излагала историю своей потомственной рабочей семьи и спорила с давно помершим отцом, революционером семнадцатого года, призывая проклятия на его голову. Куда-то обе подружки творения свои пересылали, и отсиживали теперь по второму десятку лет.

Мы с Ирой с восхищением клюнули на острые, публицистические излияния Барковой, которая вдобавок оказалась еще любимым секретарем Луначарского, умной собеседницей, — человеком страдающим, думающим и творящим даже на лагерных нарах.

Санагина, ее постоянная подельница со времен Тайшета, по-родственному ухаживала за нетрудоспособной, беспомощной, несмотря на то, что лагерь давно должен был стать ее родным домом, Барковой. Она подкармливала ее, обшивала — у Санагиной были поистине золотые руки и по-мужицки хитрый, первозданный ум.

Пусть не сидевшие не воображают, что в лагеря хрущевских времен попадали только достойные люди, жертвы наветов или политической неосторожности. Много было всякой дряни, накипи, обнажавшей при жизненных передрягах истинную сущность мелких своих душонок. Может быть, и не было у них тех вин, за которые их осуждали на долгие сроки, но зато была обыкновенная подлость. Подлость эта, может быть, и не

выявилась бы при обычных условиях жизни. Говорят, что лагерь портит людей; я бы сказала, что не портит, а выявляет их затаенные качества. Точнее, лагерь, как и война, хорошего человека делает лучше, а плохого — хуже.

Сколько их было, лагерных стукачей, потенциальных доносчиков, продажных подлиз!

Баркова, например, поначалу как бы искренне привязалась ко мне. Читала все свои "запасы", залпом сочиняла новые стихи и поэмы, то о Ежове, то о Ягоде, то о Берии. Мы с Ирой ходили с ней по зоне, вспоминали любимых поэтов, читали запоем Блока, Пастернака, Тютчева. Это было радостью и вознаграждением после мытарства среди уголовников. Но говорят, что лицо — это зеркало души, а лицо и фигура Барковой были поистине ужасны. Маленький и щуплый безгрудый карлик с большим мучнистым лицом. Под обезьяньими надбровными дугами поблескивали маленькие злые глазки. Грубая тяжелая челюсть, окруженная глубокими, тоже обезьяньими морщинами.

В меня она с первого знакомства вцепилась бульдожьей мертвой хваткой. Вначале ревновала к каждому новому моему лагерному знакомству. Потом как должное стала принимать нашу помощь — мы с Ирой организовывали ей посылки через наших родных и знакомых.

Я ее раскусила уже по приезде в Потьму. Будучи редактором стенгазеты, я отказалась переписывать ее материал о сектантах и, помнится, выставила из КВЧ. Входя в доверие к заключенным-монашкам, она потом с ядом и сарказмом разоблачала их "тайны". И тут была объявлена война.

У меня были тяжелые кровотечения; помню, полуживую в страшный июльский зной меня вели под руки в санчасть. Баркова собрала вокруг себя местную "интеллигенцию", улюлюкала мне вслед, кривлялась, и до сих пор мне снится ее карнавальная рожа в злобных гримасах.

Таких эпизодов в этом бедламе нелюдей насмотрелась я множество.

К этому времени я сдружилась с Лидой С. Она умела работать, была честна и неприступна. Необычна ее судьба.

Семнадцатилетней девчонкой, не поладив с мачехой, Лида добровольно ушла на фронт. Уже через две

недели попала в плен. Два года в Веймаре, в лагере. Женщин водили на сельскохозяйственные работы вне лагеря — добывала и приносила оружие.

В конце войны — участие в восстании заключенных; две недели самостоятельной жизни — до прихода американских войск. А затем две недели уговоров — ехать в Америку, Францию, Англию... От всего отказалась — только домой.

Дома встретилась с офицером-летчиком Л. Провоевал всю войну, кавалер множества орденов, коммунист. Но перед концом войны вынужденно приземлился на турецкой территории. Находился там два часа. Эти два часа перечеркнули всю его жизнь. Восемь месяцев на следствии, с применением того, что потом было названо "строжайше запрещенными методами следствия". Выстоял. Вернули партбилет, ордена, офицерское звание.

Встретился с Лидой; полюбили друг друга. И созрело решение: бежать на Запад любой ценой.

В январе 53 года добыли пистолет, сели в пассажирский самолет ИЛ-12, в воздухе попытались заставить экипаж повернуть на Запад или отдать управление самолетом Л.

Действовали нерешительно: Л. боялся применить оружие, лишь случайным выстрелом тяжело ранил радиста. На следствии сказал, что все задумал он сам, а она ни в чем не виновата. Приговор: его расстрелять, ей — 25 лет лагерей.

Через месяц по протесту прокурора пересуд: Лиду тоже приговорили к расстрелу. Два месяца в камере смертников, помилование, семнадцать лет и один месяц в бесчисленных лагерях. В феврале 1971 г. — свобода...

Но хватит об обитателях "бедлама". Кое-что еще — о себе.

Многие из тех, кто любил и понимал Бориса Леонидовича, как у нас, так и за рубежом — пытались добиться моего освобождения и реабилитации. Например, Д'Анжело в уже упоминавшейся статье* писал:

---

* Роман романа. Раздел "Травля Ивинской". Журнал "Восточная Европа", N 7, июль 1968 г., стр. 489-501 (на немецком языке).

"... Я опубликовал в прессе различных стран письма, в которых Пастернак извещал меня о своих финансовых затруднениях и просил неофициальным путем прислать денег, а кроме того, подписанную писателем квитанцию на сумму, ему мною высланную... Потом я направил послание Хрущеву с призывом распорядиться об исправлении судебной ошибки".

Защищая меня, говорят, что Фельтринелли опубликовал некоторые автографы писем Б.Л., где он писал о том, что мы с ним нераздельны, что я — вторая душа его, его сущность, и все, что делаю я — делает он.

Люди в различных странах мира возмущались арестом двух женщин, вопреки здравому смыслу и элементарному праву объявленных контрабандистками.

Все было тщетно.

Хлопотать обо мне было трудно еще и потому, что во влиятельных литературных кругах не было ко мне никакого сочувствия. Клеветнические слухи, распространяемые с официальных высот, занимаемых Сурковым и некоторыми его коллегами, возымели свое действие не только на людей посторонних, но и, что особенно обидно, иногда — близких.

Больно вспомнить, но в какой-то из брошенных в меня комьев грязи поверила и Лидия Чуковская (не зря говорят: "клевещи, клевещи — авось хоть что-нибудь да пристанет").

В наши совместные новомирские годы нас с Л.К. объединяла общая любовь к поэзии, особенно — пастернаковской. В трудное время мы делили с ней и надежды, и боль, и разочарование. С тех далеких времен у меня сохранился фотоснимок Лидии Корнеевны с надписью: "Милой Оль-Оль. Память о счастье обязывает". Имелась в виду наша встреча с Б.Л., происходившая на ее глазах в первые дни нашей влюбленности. Боря заходил за мной в квартиру, где Лидия Корнеевна занимала малюсенькую комнату, и жила, как истый спартанец, отщепенец богатой семьи.

А рядом в роскошной столовой висели сверкающие хрусталем люстры и прекрасные подлинники известных мастеров. Среди них одна картина — портрет красавицы в кружевах — помнится мне до сих пор. На нем изображена мать Лидии Корнеевны — Мария Чуковская. Боря рассказывал — это к ней взывал Маяковский: "Мария! Мария! Мария!" ("Облако в штанах").

А в сорок девятом "пиковая дама" в кремовых кружевах удивленно говорила нам с Лидией Корнеевной: "К вам идет сам Пастернак!". Борис Леонидович гудел в коридоре, целовал ручки дамам — и ей, и Л.К., и торопился выманить меня из дому. Он не любил тогда ходить в богатую квартиру Чуковских. Знаменитая Мария чем-то не нравилась ему. Быть может, не имела права стариться...

И вот гнусная сурковская грязь своим зловонием отравила наши с Л.К. добрые отношения. Без труда я могла бы опровергнуть злобные и грязные наветы и Суркова, и своих завистниц. Но один из важнейших заветов Бориса Леонидовича мне гласил: "Не оправдывайся, когда тебя считают виноватой: те, кто тебя знают, не поверят, что ты можешь украсть или убить. А ежели катится сплетня — молчи...".

И я молчала...

"НАЙДИ МОЮ ПЕСНЮ В ЖИВЫХ!"*

Время идет, жизнь возвращается на круги своя, и былое порастает быльем. В советской печати появляются все новые и новые публикации стихов и писем Б.Л.; появилась автобиография, "Слепая красавица"; пишутся статьи о творчестве Б.Л. и воспоминания о нем.

Пастернака — "незаурядного лирика нашей литературы"** — издают и по-своему канонизируют. Выпущены три сборника его стихов общим объемом 92 авторских листа, тиражом 170000 экземпляров. Вышла книга переводов Б.Л. "Звездное небо". Опубликовано более восьмидесяти писем; крупнейшие журналы —

---

* Заключительная глава книги написана в 1976 году и отражает ситуацию того времени. Редакция решила оставить ее без изменений.

** "Вопросы литературы", 1972, N 9, стр. 139.

"Новый мир", "Вопросы литературы", "Литературная Грузия" — обращаются к творчеству поэта, казалось бы, отверженного и забытого навсегда. Я радуюсь этому. Я радуюсь, читая в "Литературной России" заметку Г.Серебряковой — Боря когда-то подарил ей книгу с автографом, и теперь она пишет об этом с гордостью, прилагая фотокопию надписи. Но я не могу, я не в силах забыть страшное собрание 31 октября 1958 года, когда Борю исключали из Союза писателей, и Серебрякова — Бог с ней! — значилась в списке ораторов.

Я радуюсь, читая в статье влиятельного А.Дымшица: "Мы, конечно же, сможем объективно осветить наследие таких сложных художников, как... Пастернак.., чьи лучшие создания по праву наследования принадлежат нам". Я радуюсь искренне, и все-таки — "но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней" — мне хочется спросить А.Дымшица: имеет ли право людоед говорить от имени съеденных и быть их наследником?

Потому что печатается не главное, печатается не все, и чувство беспокойства и неудовлетворенности не оставляет меня. В стране, давшей миру Пастернака, неизвестны вершинные создания Пастернака, прославившиеся на весь мир. Почему? Я снова и снова задаю себе этот вопрос и не нахожу на него ответа.

Зимою шестьдесят пятого (а может быть — шестьдесят шестого) года состоялось заседание редсовета "Гослитиздата". В руках у собравшихся имелся проект изданий на ближайшие годы. В разделе проекта, представленном секцией советской литературы издательства, значился четырехтомник сочинений Б.Пастернака, включавший роман "Доктор Живаго", который до сих пор ни разу еще не издавался в родной стране на родном языке.

Если бы этот проект осуществился — советские читатели получили бы издание, превосходящее по своей полноте и достоверности известный четырехтомник Мичиганского университета. Если бы...

Когда редсовет дошел до рассмотрения четырехтомника Б.Л., в зале раздались многочисленные возгласы: "да, да, давно пора издать..." и т.д. Но слово взял все тот же А.Сурков. Он говорил тихо, спокойно, с мерзкой усмешечкой: "Как же так... еще совсем недавно... несколько лет тому назад... было одно... а теперь будем

другое...". В его демонстративной иронизации, улыбочке, жестах — во всем сквозило подлое ехидство, вызывающее омерзение и гадливость...

Уж не знаю на какой инстанции — в Комитете ли по делам печати, в ЦК ли — не все ли равно — проект был зарублен, и четырехтомник по сей день не предвидится.

Сотрудница "Гослитиздата" мне рассказала, что, когда готовился сборник Б.Л. "Стихотворения и поэмы" 1961 года, на вопрос редактора сборника Н.Крючковой — включать ли в него четыре отрывка о Блоке, Сурков ответил: "Включить все, кроме первого, озлобленного и тенденциозного. При этом не нужно забывать, что Блок — как, впрочем, и Пушкин — хотя и причислен, но исчислен...".

Между тем, когда автор заметки о Пастернаке в "Литературной энциклопедии" попытался смягчить оценку романа, на него тут же обрушились журналы "Октябрь" и "Огонек". И как это все-таки нелепо и странно: "Доктор Живаго" у нас не печатался, широкий читатель не знает роман и судить о нем не может, а критика наша бранит, разбирает, поносит его, и вот А.Овчаренко — доктор филологии, профессор — недавно назвал Юрия Живаго "взбесившимся обывателем", который "стал оком самого писателя" *. Кто проверит? И кто поверит профессору Овчаренко? Как писали о Пастернаке при жизни, так пишут и теперь: "взбесившийся обыватель". И я вспоминаю Борины слова: "Делайте со мной все, что хотите, только прошу вас: не торопитесь. Ни славы, ни счастья это вам не прибавит".

Я понимаю литературную политику, но не могу понять литературного политиканства. Перебирая в памяти события, связанные с романом, переживая заново всю его историю — такую долгую и такую страшную — я думаю о том, как мы еще далеки от трезвости и спокойствия в нашем суде над Пастернаком, как упорно отделяем "нашего" поэта от поэта неугодного и недозволенного. Кому неугодного? кем недозволенного? — этого я понять не могу.

---

* А.Овчаренко. В этом бушующем мире. "Молодая гвардия", 1972, стр. 14.

Неискушенному человеку может показаться, что Пастернак "реабилитирован", раз уж имя его вновь появилось на страницах наших газет и журналов. Но это не так: не торопитесь, неискушенные люди. До сих пор у нас не опубликован евангельский цикл стихов из романа "Доктор Живаго" и даже стихотворение "Гамлет". А ведь эти строки каждый любящий поэзию Б.Л. знает наизусть, на Таганке они звучат как эпиграф к трагедии Шекспира. Тот же "Гамлет" читается в спектакле "Павшие и живые" — но и это стихотворение у нас до сих пор не печаталось под именем автора.

О публикации таких стихов, как "Душа моя печальница", "Нобелевская премия" и других, написанных в годы Нобелевской травли, и говорить не приходится. В автобиографическом очерке "Люди и положения" сделаны произвольные купюры, искажающие и обедняющие текст.

В 1965 году в "Большой серии" "Библиотеки поэта" вышел объемистый однотомник поэтических произведений Пастернака. Знаю, Боря обрадовался бы этой книге, хотя она далека от его ожиданий пятьдесят седьмого года: подбор стихотворений сделан тенденциозно, будто с нарочным нарушением воли автора, так четко им выраженной в многочисленных заметках к "Верстке" 57 г., даты многих стихотворений перепутаны; помещены далеко не лучшие варианты и т.п. (не говоря уже об изъятии евангельского и "Нобелевского" циклов).

Неприятны и нечистоплотны обстоятельства, связанные с появлением "Слепой красавицы" в журнале "Простор" N 10 за 1969 год*. Автор публикации Лев Озеров в своей врезке сообщил: "Рукопись "Слепой красавицы" передала мне для ознакомления вдова поэта покойная Зинаида Николаевна Пастернак".

---

* Примерно за полгода до того имела место первая публикация пьесы на русском языке. Это сделано было в Англии в журнале "Студент" (с подзаголовком "Журнал авангарда советской литературы") N 15-16 за 1969 год. Каким образом журнал получил текст пьесы — я не знаю. Ясно только одно: источником является все та же злосчастная искаженная копия.

Между тем, рукопись (то есть — автограф) была подарена мне Б.Л. (со всеми правами на нее) при нашем последнем свидании.

При моем аресте была отобрана машинописная копия, не правленная и не подписанная автором. Вот она-то, вероятно через К.Воронкова попала к З.Н., а от нее — к Озерову. Остается только удивиться, как такой, казалось бы, опытный литератор, как Лев Озеров, мог принять за "рукопись" третий или четвертый экземпляр машинописной копии, не выправленный и не подписанный автором. Не мог он не знать о существовании подлинной авторской рукописи*

При беглой сверке публикации в "Просторе" с автографом пьесы я обнаружила девяносто серьезных ошибок, искажающих текст. Я уже не говорю о бесчисленных исправлениях своеобразной, но имеющей свой смысл пунктуации оригинала пьесы.

Вот только несколько примеров.

В публикации отсутствуют названия картин: первой — "Переполох", второй — "Лесное свидание". Искажены простонародные слова: у Пастернака "шкап" (а не "шкаф"), "аграматный", (а не "агромадный"), "чтой то" (а не "что-то"), "нужли"** (а не "неужли"), "прозакладывал" (а не "перезакладывал"); пропущен или искажен ряд слов в репликах и ремарках, искажены целые фразы, и т.д., и т.п.

Я не знаю, в чем меньше зла: в сокрытии "Слепой красавицы" или в такой искаженной, небрежной ее

---

* В конце 69 г. я дозвонилась тому генералу КГБ, который отбирал у меня в 60 г. автограф пьесы, и потребовала его возвращения. После длительных переговоров мне было сказано, что у заместителя директора ЦГАЛИ В.Черных я могу получить рукопись. Увы, Черных автограф мне только показал, а выдал лишь его ксерокопию плюс справку следующего содержания: (Штамп: ЦГАЛИ 11 февраля 1970 г. N 116 (42). Справка Выдана настоящая в том, что подлинная авторская рукопись Б.Л.Пастернака "Слепая красавица", принадлежащая О.В.Ивинской, находится на хранении в Центральном Государственном архиве литературы и искусства СССР. Зам. директора ЦГАЛИ СССР В.Черных.

** Б.Л. использовал это слово и в романе на 529 странице (в издании Фельтринелли 1957 г.).

публикации, нарушающей все и всякие правила текстологической работы, не говоря уже о нормах литературной и просто человеческой этики.

Все это так. Но главное ведь не в этом. Главное в том, что вершинный труд жизни Б.Л. — роман “Доктор Живаго” — не только не издан у нас, но по-прежнему подвергается остракизму.

И вот здесь я должна коснуться закулисной стороны дела. Суть ее заключается в следующем: чтобы “реабилитировать” поэта, надо было вычеркнуть из его творчества все неуместное, неприемлемое, неугодное. Надо было как-то объяснить, как-то обезвредить роман о Юрии Живаго, который до сих пор торчит поперек горла новоявленных “друзей” поэта, как огромная кость.

“Главный элемент творчества — чувство личной свободы”, — писал Чехов. Как это ни парадоксально звучит для каждого, кто помнит атмосферу конца сороковых, — начала пятидесятых годов, роман писался с незамутненным чувством беспредельной личной свободы. Он был создан без оглядки на какие бы то ни было литературные, политические или жанровые каноны; роман вобрал в себя опыт целого поколения: Борис Пастернак “понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся”.

Б.Л. знал, что за поиски правды во все времена человека объявляли еретиком. Не случайно в первом варианте перевода “Фауста” он писал:

Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
*По воле черни с самых давних дней.**

А первый вариант перевода монолога Гамлета “Быть или не быть”, очень далекий от оригинала, был скорее монологом самого Пастернака:

---

* После разгромной рецензии Т.Мотылевой ("Новый мир", N 8 за 1950 г.) Б.Л. заменил "По воле черни" на "Как вам известно".

А то кто снес бы ложное величье
Правителей, невежество вельмож,
Всеобщее притворство, невозможность
Излить себя, несчастную любовь
И призрачность заслуг в глазах ничтожеств...

Чтобы сохранить имя Пастернака в литературе, понадобилось срочно найти виновника этой неуместности — романа. Таким виновником была объявлена я.

Роман, было сказано, если не прямо написан, то уж во всяком случае инспирирован мною и мною же переслан за рубеж. А я, как утверждал А.Сурков, "уголовница". Даже мой арест 49 г., недвусмысленно намекал он, связан с уголовным делом*. Но ведь хотя бы понаслышке должен же знать чиновник Сурков, что статья 58-10, по которой я была осуждена, является сугубо политической; за уголовные преступления — в частности, и за клевету — судят по другим статьям Уголовного кодекса.

Теперь А.Сурков сильно продвинулся по служебной лестнице Союза писателей. Но я запомнила со времен работы над переводами Тагора: "Неправда, вырастая в могущество, все же никогда не вырастает в правду".

Покуда меня держали в лагере, такая тактика по отношению к Пастернаку имела свою логику, свой резон. Я не могла возразить Суркову, и некому было ему возразить. Но положение изменилось: надо было снова сводить концы с концами, совмещать несовместимое.

Корни творчества Б.Л. глубоко русские, но талант и мужество, борьба за достоинство и независимость человеческой личности делают его почетным гражданином всего мира. Именно поэтому творчество Пастернака и его судьба получила такой резонанс повсюду в мире.

---

* Якобы я была причастна к крупной денежной "панаме", раскрытой в редакции "Огонька". В действительности в числе других сорока свидетелей по этому делу меня только однажды вызывали, чтобы подтвердить факт получения гонорара за работу, сделанную одним из сотрудников журнала. Арест мой органами МГБ последовал спустя полгода после этих событий и к ним никакого отношения не имел. Об этом говорят место заключения, содержание допросов и статья 58-10 по которой я была осуждена "тройкой".

При получении Нобелевской премии, говоря о "прекрасных и трагических произведениях первых лет русской революции", Альбер Камю сказал: "В тот момент Россия Блока и великого Пастернака, Маяковского и Есенина, Эйзенштейна и первых романистов стали и цемента была великолепной лабораторией форм и тем, она была одержима плодотворным беспокойством, безумием поисков".

Интерес к творчеству Б.Л. не уменьшается. Вопрос о судьбе романа у нас задавался большими европейскими писателями всем нашим официальным лицам вплоть до министра культуры все чаще и чаще. Рано или поздно придется ставить точки над "и".

Я верю, что в конце концов будут услышаны спокойные и мудрые голоса К.Паустовского, В.Каверина, многих других виднейших писателей, художников и артистов. Вот отрывки из их открытых, но неопубликованных писем.

Константин Паустовский: "Скандал по поводу Пастернака был необдуманно устроен нашими руками. Он далеко не поднял наш авторитет в мире, не укрепил и не украсил наших связей и дружбы с другими народами мира, в частности, с интеллигенцией, а принес только вред.

Поучительную и печальную историю нельзя забывать. За что был унижен и подвергался преследованиям этот великолепный — для тех, кто мало-мальски смыслит, что такое поэзия, поэт? Какие тугие мозги оклеветали человека, являющегося подлинной гордостью русской поэзии и русского народа? Кто придумал "дело" Пастернака, погубившее этого честного, кристально честного человека?

В его книге "Доктор Живаго" нет ничего враждебного советской власти. Книгу эту можно издать у нас массовым тиражом. Кому-то, очевидно, было выгодно гонением на Пастернака подорвать авторитет советской власти и выставить нас на осмеяние. Или выгодно в этом дутом деле доказать свою верноподданность.

Нельзя допускать к решению судеб литературы людей с низким уровнем унтера Пришибеева.

... Неужели каждая критика наших недостатков может расцениваться как клевета и преступление?

Писатель имеет полнейшее право участвовать в жизни страны как гражданин, обладающий способностью созидания и критики.

Неужели за это надо судить и карать?" (5.2.66).

Вениамин Каверин: "Кто не помнит бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране, истории с романом Пастернака..." (25.1.68).

Мстислав Ростропович: "Я с гордостью вспоминаю, что не пришел на собрание деятелей культуры в ЦДРИ, где поносили Б.Пастернака и намечалось мое выступление, где мне "поручили" критиковать роман "Доктор Живаго" в то время мной еще не читанный..." (13.10.70).

Роман "Доктор Живаго" или стихи евангельского цикла нельзя отнять у России. Их читают, переписывают, любят.

Спустя одиннадцать лет после смерти Б.Л. поздней осенью более тысячи юношей и девушек собралось в подмосковном лесу. И здесь, под осенним дождем, глубокой ночью, при напряженном внимании молодых лиц, прозвучала странная и чудесная композиция: стихи из романа "Доктор Живаго" читались попеременно с мерзко-ругательными по адресу Б.Л. выдержками из газет времен его травли. Читались отрывки из непристойной речи Семичастного.

И тут же звучали "Чудо", "Гефсиманский сад", "Магдалина", "Гамлет". Две девушки пели под гитару "Зимнюю ночь". К высоким соснам уносились такие близкие, такие знакомые слова:

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела...

О, если бы Б.Л. был этой ночью в Софринском лесу, я знаю — он не сдержал бы слез.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!

Живет твоя песня, любимый мой. И она будет жить всегда, пока люди не забыли, что такое поэзия.

Попытки изобразить Б.Л. только лишь лириком, далеким от политической жизни и тревог своего времени, были бы с негодованием отвергнуты им самим: "Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значить всегда только одно и то же!".

Через будни семьи, через свет повседневности, через притчи из быта явственно проступает бунт автора против владычества фразы, борьба за восстановление веры в цену собственного мнения, за возрождение нравственного чутья, за отказ от жизни чужими, навязанными представлениями, за признание ценности человеческой личности — единственной в своем роде и неповторимой.

Великолепная лирика Пастернака, которого у нас до сих пор называют "аполитичным поэтом", звучала пророчески задолго до "Доктора Живаго". Всем памятно это его давнее, ставшее теперь христоматийным:

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Или:

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

А каковы глубина и предельный лаконизм этого кусочка фразы: "обобществленное просаживание тысяч, чтобы просуществовать на копейку...".

Подобно одному из своих героев, "он жаждал мысли окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома...".

* * *

Любимый мой! Вот я и кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что я написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин.

Когда мы с тобой встретились впервые в "Новом мире", мне едва исполнилось тридцать четыре года. Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет тебе посвящен и ее остаток.

Ты знаешь — жизнь не была ко мне милосердной. Но я не сетую: она мне подарила огромное счастье любви, дружбы, близости с тобой.

Ты всегда мне говорил, что жизнь милосерднее, жизнь добрее к нам, чем мы обычно ожидаем. Это — великая правда. И я никогда не забываю твой завет: "никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии".

Но ты был прав: нас не учат ничьи уроки, и мы все тянемся к призрачной и гибельной суете. И сквозь все ошибки, все беды, всю тщету и суету моего одинокого существования я протягиваю к тебе руки и говорю:

... И теперь, уже замирая,
Я стою у своих могил,
И стучусь я в ворота рая,
Раз ты все же меня любил.

ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Здесь собрана очень небольшая часть полученных мною от Б.Л. писем, не вошедших в текст книги. Большая часть нашей переписки погибла при моем аресте.

1.*

Дорогая Олюша, я не могу найти положения в постели, в котором без боли мог бы написать тебе. Я тебя непременно вызову, мне это надо, но когда лучше узнаю всех здесь. Мой лечащий врач — Валентина Николаевна Быстрова, я ей расскажу о тебе и попрошу позвонить тебе. Буду действовать через нее, чтобы тебя вызвать. Мне сегодня перестало казаться, что это радикулит. Это либо какая-то бурно во все стороны разрастающаяся и их захватывающая опухоль, либо опухоль того участка спинного мозга, который управляет действием нижн. конечностей и того что рядом. Меня не пугает эта мысль, страшно, что конец придет через такие пытки, кот. будут замедлять лечением. Я вызову тебя. Мне надо будет посмотреть на тебя в последний раз, благословить тебя на эту долгую жизнь во мне и без меня, на примирение со всеми, на заботу о них. Целую тебя.

Ночь с 1-го на 2-ое апр.

Но спасибо тебе за все бесконечное!

Спасибо. Спасибо. Спасибо.

2.

6 апр. 1957

Лялюша дорогая, опять я тебе не скажу ничего утешительного. Вчерашнее улучшение, достигнутое Блохиным, в течение ночи пошло насмарку и все опять по-

---

* Письма 1-9 получены мною в период лечения Б.Л. весной 1957 г. в филиале Кремлевской больницы. Завершалось лечение в Узком.

прежнему. Ночь была кошмарная. Я не сомкнул глаз ни на минуту, извивался червем и не мог найти положения хоть сколько нибудь терпимого. Нельзя, конечно, так. Мы вели себя как испорченные дети, я — идиот и негодяй, каким нет равного. Вот и заслуженная расплата. Прости меня, но что сказать мне. Боль в ноге, слабость, тошнота. Ты все-таки не представляешь, как мне плохо (не в смысле опасности, а страданья). Если мне во вторник будет лучше, я вызову тебя, но в таком сегодняшнем состоянии мне жизнь не мила, свет не мил и это немыслимо. Целую тебя. Не сердись на меня. Спасибо Ирочке за письмо.

3.

Лялюша, вечером вчера было тихо, хорошо, я даже немножко полежал на спине. А ночь была ужасная, и так всегда, каждый раз к сумеркам и потом до рассвета.

Объясни маме и всем: я не боюсь умереть, а страшно этого хочу, и поскорее. Все более и более ухудшается и осложняется все: мертвеют все жизненные отправления, кроме двух:: способности мучиться и способности не спать. И не нахожу себе места, где бы отдышаться. Этих мук не представляешь себе даже и ты.

Успокойся. Не ходи сюда. Я опять вызову тебя неожиданно. Когда, не знаю.

Целую.

Ты ведь вчера видела!

Без сил от мук.

4.

На конверте: Ольге Всеволодовне Ивинской, которая придет за письмом.

Дорогие Нина* и Олюша! Я страдаю физически неизъяснимо (нога, колено, поясница и все вместе), не сплю. Молите Бога о скорой смерти для меня, об избавлении от этой пытки, равной которой я никогда не знал.

---

* Нина Александровна Табидзе, которую я дважды привозила с собой к Б.Л. в больницу.

Спасибо, Ниночка, что Вы пришли, спасибо за письмо, спасибо, что Вы часть жизни моей, что Вы привели Олечку. Олюша ангел мой, ну что делать? Ты видишь, прелесть моя, мне надо умереть, чтобы не помешаться от боли. Может быть потом, впоследствии, можно будет сделать так, как ты пишешь, и вызвать тебя к себе, но едва ли, это не такая больница. Пока еще меня и не начали толком лечить. Живи и веди дела за меня совсем свободно, находи в этом поддержку и утешение. Целую тебя и плачу без конца. За что это мне? Такое немыслимое, все обостряющееся физическое страдание. Христос с Вами, золотые вы мои. Какая правда и радость в том, что вы пришли обе!

М. б. потом и будет так, как ты говоришь, но не скоро.

Целую вас обеих.

5.

Олюша, лечение становится все сложнее и труднее. У меня не остается сил на устранение твоих беспокойств, на успокоение тебя. Ты видела, как радовался я тебе. Но не на этой неделе. Может быть к ее концу, или после воскресенья 14-го. Ночи совершенно немыслимые (...).

Целую тебя и прошу успокоиться, я вызову тебя, когда будет можно. Сумасшедшие боли ночью и неоткуда почерпнуть желание жить. Целую. Прости. Не могу.

6.

18 апр. 57.

Дорогая Олюша! Насчет посещений на неделе очень строго. Третьего посещения никак не разрешат и даже ворчат за второе. Напиши мне в субботу и передай через комендатуру письмо о делах и что чем кончилось. Я плохо сделал, что не попросил в письме Ал. Ив.* об ускорении выпуска стихотв. сборника: это было бы

* Александр Иванович Пузиков — главный редактор "Гослитиздата".

очень важно. Аля* через Зину спрашивала, когда можно будет ко мне. Я назначил среду 24-го. Если бы была хоть маленькая возможность прийти в будни двум лицам, а не одному, и если бы ты пришла с ней, это было бы замечательно, я об этом буду просить Вал. Ни-ну**, но кажется это нельзя, это расходится со здешними законами.

Правда было бы идеально, если бы ты по тел. узнала, когда Вал. Ник-на попадет на Стюарт и любыми силами постаралась достать и себе билет на эт. вечер, чтобы встретиться и поговорить с ней.

Сегодня меня в первый раз спустили с постели и заставили посидеть и походить. Это у меня выходило беспомощнее годовалого ребенка. При этой проверке и установил.

Основное гнездо боли, довольно невыносимой при ступании, но и вообще никогда не проходящей — в колене: оно как бы чугунное и как бы одеревеневшее, как бы вспухшее от боли. Другое. Пусть это необъяснимое колдовство, но по какой-то причине способность (...) самостоятельно утрачена без воспоминаний и я не верю в ее постепенное возвращение. Мне кажется мне самому надо будет желать операции, если только удачный исход ее действительно обеспечивает нормальное действие этого элементарного отправления ценой утраты всех остальных. Все страшно резко изменилось от этого неожиданного удара за этот месяц, это не шутка. Напиши мне пожалуйста спокойно о том как ты распорядилась с Д'Анж. и с "Гослитиздат." и чего достигла. Четверг и воскресенье будут заняты. Если тебе удастся добиться разрешения прийти с Алей, это будет неслыханно.

Целую тебя

Твой Б.

7.

22-4

Дорогая Олюша.

Прочел письмо А.И. Сердечное спасибо ему. В письме мне не нравятся строчки: "Работаю, переделы-

---

* Ариадна Сергеевна Эфрон — дочь Марины Цветаевой.

** Валентина Николаевна Быстрова — врач Кремлевской больницы.

ваю, дополняю". Мое реальное желание: чтобы вышли стихи. Чтобы подо что-нибудь в течение ближайш. месяца можно было получить для дома большие деньги. Чтобы перекрестная и осложнившаяся двусторонняя мистификация с романом кончилась его появлением в его истинной форме где-нибудь, — и ничем не кончилась у нас, забылась, не оставила следа. Неужели ты веришь, что сомнительное чудо скорого выздоровления я увенчаю тем, что сяду в Переделкине пересочинять роман шиворот-навыворот? Но и конечно предположение, будто бы в марксизме можно сомневаться и его критиковать, абсолютно неприемлемо и останется таким, пока мы будем жить. На эту тему вчера бывшая у меня с Зиной Ливанова мне сказала: "У нас диктатура пролетариата, Боря, ты что об этом не слыхал или с ума сошел?". Это по поводу прочтения романа Косыревым их знакомым сов. послом в Италии.

Возвращаю тебе письмо Пузикова.

О чем ты говорила с Зелинским? Урологическая тема тут совершенно отпала. Может быть интерес к ней когда-ниб. оживет, но пока об этом нет разговора. И я категорически против того чтобы ее возобновлять, кого-то звать и т.д. Это все ни к чему.

Печально что так остры формы артрита в коленном суставе. Нога болит почти все время невыносимо, немыслимо. Каждую ночь, едва засну на полчаса, — говорят — испускаю во сне стоны и кричу от боли. Если является иногда мысль о созвании консилиума, то только с этой, хирургической стороны, т.е. относительно ноги. Но и в этом нет надобности. Я их мысль понимаю, и она справедлива и разумна, — гимнастикой, массажем, движением расходить солевые отложения в колене, но они не представляют себе страданий которые приносят эти попытки.

Сегодня мыли меня в ванне и впервые сам сегодня перековылял в ванну. Если хватит сил добраться до телефона, сегодня или завтра вечером позвоню тебе.

Вчера, в первый день пасхи было много писем, между прочим два замечательных из МХАТа.

Когда прийти тебе? В среду будет Аля. В четверг, после нее скажут, слишком рано, надо будет попробовать в пятницу. Слаб, страшно быстро устаю. И весь в поту от писания ответа.

Целую тебя Твой Б.

8

27 апр. 1957

Дорогая Олюша!

Дернула тебя нелегкая сказать Вал. Ник. об Узком так определенно! В ее сознании я там уже устроен, что облегчит ей задачу выписки меня дней через 10 — через две недели с еще больной ногой, которую долечат в Узком, как будто это уже устроено. А я мечтал, что я полежу тут пока нога совсем не пройдет, а потом домой в Переделкино. А теперь этот срок укоротят со спокойной и чистой совесью. Но я не упрекаю тебя, а просто на дьявольщину в колене и крепко целую.

Все для Гослитиздата написал.

9.

Воскресенье 26 мая.

Дорогая моя, с ногой сегодня стало хуже. Я попробую полежать сегодня и завтра, может быть отойдет. Наверное я не смогу позвонить тебе в эти дни. Если во вторник мне не станет лучше и я не попаду к тебе, не волнуйся пожалуйста: сейчас мне ясно, с чего все начинается; это приступ ишиаса (воспаление седалищн. нерва в тазобедренном суставе). Надеюсь я вылежу его и предотвращу обострение.

Не волнуйся и в том смысле, что не нарушай заведенного порядка. Сиди в Измалкове и старайся работать, пока я не приду, а если и до пятницы не появлюсь, тогда сговорись в пятницу с Андрюшей* ,чтобы он в будущее воскресение меня здесь проведал в обеденные часы. Тогда я с ним передам весточку тебе, и он мне о тебе расскажет.

Ни в коем случае не предпринимай ничего со своей стороны непредусмотренного, неожиданного. Никого не посылай на дачу, ни, тем более, не пробуй зайти сама. Любое отклонение от заведенного и ставшего привычным перевернуло бы весь образ жизни, и это

---

* Поэт Андрей Вознесенский.

было бы хуже перелома рук или ног, для чего у меня не хватило бы сил.

Но я знаю, что ты не сделаешь этого, моя золотая. Я думаю, — все обойдется, в крайнем случае, — я на день на два опоздаю к тебе. На самый-самый худой конец жди, значит, до пятницы (до посылки Андрюши). Я думаю, что не придется. Без конца тебя обнимаю, ангел мой. О Шуплецове*, конечно, не может быть и речи.

Твой Б.

10.**

21 февр. 59.

Олюша родная, пишу тебе на почте. Я подавлен всей идущей кругом жизнью, полетом, огромным количеством честных людей, живущих как надо, как требуется временем, и только я один подозрителен сам себе, и не собираюсь исправиться и буду чем дальше, тем все хуже. Я не знаю, удастся ли позвонить отсюда по телефону. Все так чисты и правы кругом, и первая — ты. И всех я огорчаю, и, как узнал перед отъездом, больше всего — тебя.

Олюша, жизнь будет продолжаться, как она была раньше. По-другому я не смогу и не сумею. Никто не относится плохо к тебе. Только что дочь Н.А.*** обвиняла меня в том, что беря на себя такой риск, я потом ухожу от ответственности, сваливая ее на твои плечи. Что это ниже меня и неблагородно.

Крепко обнимаю тебя. Как удивительна жизнь. Как надо любить и думать. Не надо думать ни о чем другом.

Твой Б.

11.

22 февр.

Дорогая Олюша, безделье, оторванность от привычек делового дня дают себя чувствовать. Н.А. от-

---

* Борис Всеволодович Шуплецов — старший редактор издательства "Иностранная литература".

** Письма 10 — 20 присланы мне из Тбилиси, где Б.Л. находился с 20 февраля по 6 марта 1959 г.

*** Дочь Нины Александровны Табидзе — Нита.

дала в мое распоряжение свою собственную комнату, а сама с Зиной помещается в комнате внука, которого лишили своего угла. Кругом удивительные, полные самопожертвования и преданности люди. Я писал тебе с почты вчера. О тебе несколько слов вскользь и тайком, с симпатией к тебе сказала Ливанова в аэропорте где она нас провожала. Я хочу, как я говорил тебе, эти две недели употребить на то чтобы наконец докончить Пруста, которого я почитываю понемногу.

Попробую позвонить тебе сегодня (в воскресенье 22) по телефону с почты. Мне начинает казаться, что, помимо романа, премии, статей, тревог и скандалов, по какой-то еще другой моей вине жизнь последнего времени превращена в бред и этого могло бы не быть. Наверное действительно надо будет сжаться, успокоиться и писать впрок, как говорил тебе Д.А.*. Я вчера впервые ясно понял (меня упрекнули в этом), что вмешивая тебя в эти страшные истории, я набрасываю на тебя большую тень и подвергаю ужасной опасности. Это не по-мужски и подло. Надо будет постараться, чтобы этого больше не было, чтобы постепенно к тебе отошло только одно легкое, радостное и хорошее. Я люблю тебя и крепко целую. В предположении, что ты в Ленинграде (хотя я бы этого не хотел) прошу тебя поклониться Зин. Ивановне и Фед. Петровичу **. Обнимаю тебя. Прости меня.

Твой Б.

12

24 февр.

Дорогая моя Олюша, получилось очень глупо. Уезжая, я скорее надеялся, что буду перекидываться с тобою телефонными разговорами, чем писать тебе, а вышло наоборот. Я уехал с твердо выясненным номером твоего ленинградского телефона и с неуясненным адресом. Оказалось, что отсюда звонить в Ленинград очень трудно, потому что это делают не не-

---

* Дмитрий Алексеевич Поликарпов.

** Племянник моего отчима Ф.П.Костко и его жена.

посредственно, а через Москву, и говорить можно только ночью после часу. Я посылаю письма Ирочке в Москву для тебя, в надежде, что она связывается с тобой по телефону и скажет тебе, что я тебе пишу. Хуже то, что я ничего не знаю о тебе и не могу узнать, здорова ли ты и как у тебя с деньгами, заняла ли ты у когонибудь.

Очевидно сюда дали знать писателям, как вести себя со мной, тихо, сдержанно, без банкетов и я живу у Нины в совершенной глухоте и неизвестности, читаю Пруста, ем, сплю, хожу по городу чтобы не засиживать ноги, ничего не делаю и изредка пишу тебе пустые и бессодержательные, ничего тебе не говорящие записки.

За мое короткое отсутствие наверное накопятся горы дорогих мне писем, часть которых будет нуждаться в ответе. То привычное и знакомое, что составляло мою жизнь и доставляло мне радость будет, если позволит Бог, продолжаться, но кое в чем этот обиход изменится. Надо будет упорядочить денежное хозяйство, твое и наше, и попробовать действительно, как говорил тебе Д.А. (я уже об этом писал) жить неторопливо, мыслью о будущем, более далеком.

Я ужасно, как всегда, люблю тебя и уверен, что ты этого не чувствуешь, считаешь недоказанным и не замечаешь. Что касается меня, то если бы можно было надеяться, что все останется так, как было до наших последних объяснений, я был бы на верху блаженства. Фантазировать сверх этого немыслимо и неисполнимо. Мне мерещится что-то очень хорошее впереди, неопределимое и незаслуженное, часть которого я сейчас предвосхищаю, мысленно крепко обнимая и целуя тебя.

13.

26 февр.

Олюша дорогая моя, моя золотая, родная Олюша! Как я по тебе соскучился! Как грустно мне вообще по утрам той знакомою беспричинною грустью, которую я так хорошо знаю с детства! Струя свежего чистого воздуха, пахнущего весною, чириканье птиц за окном, голоса детей, и эта щемящая томящая грусть уже налицо. Отчего она? Что-то нужно понять, что-то сделать. — Как странно, положение мое никогда не было так спорно и ненадежно, будущее никогда не было так не-

ясно. И почему-то никогда не был я так ясен и спокоен, точно ты и все мы и наши дома, и дети, и работы и здоровье — обеспечены и им ничего не грозит, точно впереди ждет меня что-то очень хорошее. Никогда забота о доведении до конца каких-то мыслей, желание попасть домой и сосредоточиться не были так велики и не казались таким главным, никогда вера в то что ничего не помешает удовлетворению этой потребности не была так тверда.

Олюша любушка, золотая моя и мой ангел, я пишу тебе такие бессмысленные послания, прости меня. Мне нечего тебе рассказать. Что я тут делаю? Главным образом — скрываюсь. Эти прятки наполнены чтением Пруста, пешими прогулками, чтобы не отсидеть ноги, едою и сном. Н.А. окружает заботою каждый мой шаг, свинство этим пользоваться, я ни от кого, и ни у кого, менее всего у нее, это заслужил. Здесь нигде нет врагов тебе. Больше мы с нею ни о чем не говорили. Но мне кажется, многие без всякого основания любят меня, и, любя меня, любят тебя. Эта атмосфера молчаливого допущения и согласия исходит даже от Зины.

Обнимаю тебя крепко, крепко. Не могу дождаться, чтобы перерыв этой животной праздности окончился поскорее, и мы вернулись. Как было бы хорошо, если бы ты была в Москве и Ирочке не приходилось пересылать писем.

14.

27 февр. 1959

Олюша, так грустно почему-то в минуту пробуждения по утрам! Я в полном неведении о том, где ты и что с тобою, а также насчет того, что ждет меня по возвращении, в каком положении мои дела. Когда я хожу по городу, в эти серые, холодные дни, которые сейчас тут стоят, один, мне так печально-спокойно, и так все ясно. Теплится какая-то вера, что ничего дурного нового против меня не предпримут, и что тайна Инюрчасти позволит мне поправить мои и твои денежные дела. Если меня и моих занятий не постигнет какая-нибудь катастрофа, равносильная концу, позволь мне верить, что жизнь моя будет продолжаться попрежнему, что ты меня не оставишь и от меня не отвернешься. Никакого спора ведь ни с кем не

происходит. Ты была неправа, когда как тебе казалось, ты ставила “вопрос ребром” и требовала выбора от меня и твердого решения. Все это у нас по-другому, и посторонние тут также не судьи, как трудно им судить и о моем месте в современной жизни, таком болезненно скромном и незаметном, таком единственном и приносящем горе и счастье такой свободы. Никакой драмы и трагедии у нас нет, моя дорогая девочка, — я дышу и этого достаточно, чтобы я всегда думал о своем и любил тебя, а вспоминать и привлекать к обсуждению попутные и сопровождающие обстоятельства, в нашем случае — ложно и искусственно. Крепко обнимаю тебя. Не сердись на меня. Мне грустно и странно без тебя.

15.

28 февр. 59

Олюша золотая моя девочка я крепко целую тебя. Я связан с тобою жизнью, солнышком, светящим в окно, чувством сожаления и грусти, сознанием своей вины (о, не перед тобою, конечно) а перед всеми, сознанием своей слабости и недостаточности сделанного мною до сих пор, уверенностью в том, что нужно напрячься и сдвинуть горы, чтобы не обмануть друзей и не оказаться самозванцем. И чем лучше нас с тобой все остальные вокруг меня, и чем бережнее я к ним и чем они мне милее, тем больше и глубже я тебя люблю, тем виноватее и печальнее. Я тебя обнимаю страшно-страшно крепко, и почти падаю от нежности и почти плачу.

16.

1 марта 1959

Дорогая Олюша, все десять дней, что мы здесь, стояли пасмурные ветреные дни и холода, сегодня в первый раз на дворе тепло и солнце. Прошло только десять дней и мне так же трудно вообразить, что мне может быть дано будет услышать твой голос и тебя увидеть, как трудно себе представить на его месте Переделкинский дом. Мысль о том что моя налаженная жизнь и привычное течение рабочего дня будут продолжаться, что я к ним вернусь, буду получать письма и отвечать на них, советоваться с тобой и обмениваться с тобою тем новым, что будет приходить те-

бе и мне в голову и с твоею помощью устраивать наши общие дела, мысль, что идущее от тебя счастье, сосредоточенность и работа в достаточной скорости ждут меня кажутся мне дерзкою, незаслуженной и несбыточной мечтой. О как я люблю тебя скольким я тебе навсегда, навсегда обязан!

17.

2 марта 1959

Дорогая Олюша, меня никогда не пускают гулять одного, со мной всегда ходит дочь Н.А., Нита и по дороге рассказывает мне историю домов и мест, мимо которых мы проходим, и своих знакомых, которые в большом числе встречаются нам. Это целые повести о нравственных подвижниках и золотых сердцах, много помогавших друг другу в страшные годы несчастий и лишений, о чудесах самопожертвования, жалости и самоотречения. Мне стыдно все это слушать, таким я стал убежденным и сознательным эгоистом в последние годы. Я хожу по Тифлису не так, как ходил по нему в прошлые свои наезды и гляжу на него не такими глазами как смотрел на него, наверно, недавно Митя. Я приехал сейчас не восхищаться, не вдохновляться, не произносить речи и пировать. Я приехал молчать и скрываться, провожаемый общественным проклятием и покрытый такими же справедливыми упреками с твоей стороны, и в таком настроении, пришибленном и грустном, всего лучше сидеть и помногу заниматься чем-нибудь неподвижным и нетрудным. Я дочитываю бесконечного Пруста, кончить которого я себе поставил целью, уезжая. — И, как всегда, очень грустно по утрам, по пробуждении. Отчего это? Оттого что часто ты, наверно, снишься мне, не оставляя следа о сновидении в памяти, и очень часто снишься с ясным запоминанием. Я уже несколько раз писал тебе об этом чувстве. И, наверное, еще от того, что наши последние разговоры в городе произвели на меня тяжелое впечатление. Ты была, мне кажется, не права. Я ничем не виноват перед тобой или, лучше сказать, виноват перед всеми, перед временем, перед близкими, но меньше всего — перед тобой. Даже если опасения твои насчет себя самой были бы основательны, — ну что же, это было бы ужасно, но никакая опасность, нависшая над тобой, не зависела бы от того, что так или иначе сложилась

моя жизнь, и не мое постоянное присутствие могло бы эту опасность отвратить. Нити более тонкие, связи более высокие и могучие, чем тесное существование вдвоем на глазах у всех, соединяют нас, и это хорошо всем известно. Моя жизнь с тобой протекает совсем не в той области в которую ты перенесла в последнее время свои требования и обвинения, но в области, которая вся целиком посвящена самому высокому и светлому, что никакие несчастия не могут ее уничтожить и обесценить, потому что она сама побеждает все препятствия и несчастья.

Мне нельзя менять своей жизни не только из-за боязни причинить страдание окружающим, но из-за боязни неестественности, которую принесла бы с собой эта ненужная и резкая перемена. Мое и твое положение в нынешнем привычном мире и без того полно игры с огнем и дерзкого вызова. Потяни за ниточку и поползет и уничтожится вся ткань.

Сегодня первый день за весь этот год, когда я с некоторым правдоподобием могу уверовать и пообещать тебе, что, как мне кажется, по возвращении домой я примусь за большую и долгую новую работу, вроде "Доктора Живаго", за роман, какою-то частицею являющийся его продолжением.

Крепко-крепко обнимаю тебя и прерываю письмо, ко мне сейчас придут.

18.

3 марта 1959

Олюша золотая, кажется (я боюсь искушать судьбу) мы попытаемся прилететь в Москву (во Внуково) в воскресенье 8-го. Если это сойдет благополучно, и если ты жива, не арестована и в Москве, и если ты не отказалась от меня и согласна говорить со мной и меня видеть, я надеюсь, как обычно (о счастье!) позвонить тебе по телефону в город в воскресенье вечером, в 9 часов (от 9 до 10), а в понедельник 9-го утром, если ты пожелаешь подарить мне эту радость, это безумье, надеюсь увидеть тебя в Измалкове, как бывало. Но об этом мы переговорим вечером в воскресенье (как я боюсь предупреждать события, как боюсь писать эти слова!).

(Неужели меня ждут удары судьбы, неожиданности, наказание?) Неужели я роковым образом ошибаюсь,

рассчитывая найти одно хорошее? Это — последнее письмо отсюда, что я пишу тебе. Я написал их тебе много, наскоро, карандашом, дошли ли они до тебя? Они все пустые, не храни их и только отметь в дневнике, что в 1959 году, в конце зимы, я на две недели оставил тебя одну и каждый день писал тебе.

Вместе с этим последним письмом дочитываю последние сто страниц из трех тысяч пятисот Марселя Пруста. Ты помнишь, он мне очень нравился. А эти последние страницы (Найденное время) бездонно человечны и гениальны, как у Льва Толстого. Без конца целую и обнимаю тебя. Прости за торопливый и неизящный почерк. Пишу стоя на почте.

19.

3 марта 1959

Родная Олюша моя, я тебе уже написал сегодня и опять пишу, я целый день с тобой. Я чувствую тебя такой неотделимой от себя, как будто отправляю письма самому себе. Скоро я возвращусь. Что ожидает меня? Неужели мне готовится какая-нибудь угроза, требование или неприятность? Неужели могло что-нибудь случиться с тобой? Хотя я не суеверен, я так привык принимать чувства, предчувствия и пустые видимости за действительные данные, что придаю душевным состояниям больше значения чем достоверным сведениям. И мне кажется, что меня ждет только невероятная и еле представимая радость свидания с тобой и счастье возвращения к работе и общению с близкими людьми в далеком мире. Только бы нас оставили в покое, а остального мы добьемся сами. Я сделал ужасную ошибку, что внушил тебе мысль и попросил тебя тогда, после сдачи Словацкого, выяснить денежные вопросы и ускорить их разрешение. Этого наверное не следовало делать. Мы должны были притихнуть и затаиться, чтобы о нас забыли. С запозданием и некоторыми ухудшениями сделаем это теперь.

Но ведь я ничего не знаю. Я пишу тебе и умираю от нежности к тебе, которая представляет мне тебя и меня какими-то избранниками судьбы и счастья, а в это время ты может быть давно сидишь без денег и безуспешно бьешься в их поисках и стараньи их откуда-нибудь достать. Ах какое блаженство целовать тебя хотя бы на словах и на бумаге! Будь здорова, обнимаю и целую тебя без конца милая моя жизнь, любимый друг мой!

20.

4 марта

Олюша золото мое, вчера я написал тебе последнее письмо вечером на почте. Шел дождь, в выбоинах тротуаров в полутемных улицах скапливались глубокие лужи, на панелях расплывались отблески фонарей, мне казалось, что требующееся правилами приличия прощание с гостеприимным городом я провожу в этот дождливый вечер. Но вот я утром вновь пишу тебе, радость и любовь моя, без надежды на то, что это письмо предупредит меня и я не прилечу (какие глаголы пошли, благодаря авиации) раньше. Радость моя прелесть моя, какое невероятное счастье что ты есть на свете, что в мире есть эта едва представимая возможность разыскать и увидеть тебя, что ты меня терпишь, что ты мне позволяешь изливать и вываливать тебе все, что от встречи к встрече накопилось и собралось у меня в мыслях и в душе, что я получил в дар от тебя это драгоценное право самозабвенно погружаться в бездну восхищения тобой и твоей одаренностью и снова, и дважды, и трижды твоей добротой. Когда-нибудь будет так, как, быть может ошибочно и напрасно, ты этого хочешь. А пока именно потому, что ты так балуешь меня счастьем и что я все время озарен твоей ангельской прелестью, будем, во имя мягкости, которой ты, сама этого не зная, все время меня учишь, любимый обожаемый мой образ, будем великодушны к другим, будем, если это потребуется, еще великодушнее и предупредительнее к ним, чем прежде, во имя светлой неразрывности, так горячо, так постоянно и постоянно и полно связывающей нас.

Обнимаю тебя, белая прелесть и нежность моя, ты благодарностью моею к тебе доводишь меня до безумия.

21*.

23, 4, 60.

Олюша, потерпи, я полежу эти дни. Не пугайся, если я не смогу прийти сегодня вечером, а мож. быть и в след.

---

* Письма 21 — 27 написаны Б.Л. в период последней болезни.

дни к телефону. Видно надо вылежаться. Крепко целую. Все обойдется.

22.

Понед., 25 апр. 1960

Лелечка родная, сегодня вечером будет доктор. Мне не легче, в тех положениях, где можно ждать боли и где она наступает. Если появится Шавочка* и ему нужно будет или захочется повидать меня, то в то воскресенье, когда он у тебя будет, пусть со всем тем, что он захочет передать, и после того как он будет знать твои решения и мнения, пройдет ко мне на дачу и попросит пропустить его одного ко мне. Его проводят и оставят одного со мной. К записке прилагаю род "пропуска" ему. Если же не будет ничего важного, можно от этого посещения воздержаться до моего выздоровления.

23.

Понед., 25 веч.

Был врач, ты уже верно знаешь, нашел повышенное давление, расшатанное состояние нервов, сердечное расстройство которым и приписывает эти адские боли в левой части спины. Мне трудно себе представить, чтобы такая, прочно засевшая, как заноза, постоянная боль сводилась только к явлениям очень правда, очень переутомленного и запущенного сердца.

24.

27, 4, 60

Утром, среда,

Я переселился вниз, чтобы не ходить по лестнице, и все время лежу. Позавчера вечером, в воскресенье, перемогая мучительную боль, я еще был в состоянии добрести до конторы и позвонить тебе. Сегодня ни за какие золотые горы и даже по приказу врача я бы не мог простоять на ногах или просидеть более 5 минут.

---

* "Шавочка" — Гейнц Шеве, корреспондент газеты "Ди Вельт", наш близкий друг.

Пишу тебе лежа. Придется, если это не кончится раньше как-ниб. по-другому, вычеркнуть (мне кажется) самое меньшее две недели нашей жизни. Работай, пиши что-ниб. свое. Это тебя успокоит. Давай держать связь по средам через Костю Богатырева а по воскресеньям через Кому Иванова. Пока не предпринимай ничего решительного для свидания. Волны переполоха, которые бы это подняло, коснулись бы меня и сейчас, при моем состоянии сердца, это бы меня убило. З.* по своей глупости не догадалась бы пощадить меня. Я уже зондировал в эт. отн. почву.

Если бы в "Искусстве" назрели какие-ниб. деньги, пусть переводят на мою сберкнижку. Данные спиши с моей доверенности насч. "Фауста" где они указаны.

Меня очень интересует то правдивое и здравое что вы (ты, Ира, Кома, Костя)** думаете о недоработанной половине пьесы. Можешь не возвращать ее мне, но и не переписывай. Там так много неестественной болтовни, которая ждет устранения или переделки.

Если ты себя почувствуешь в обстановке этого нового осложнения особо обойденной и несчастной, опомнись и вспомни: все, все главное, все что составляет значение жизни — только в твоих руках. Будь же мужественна и терпелива.

Сообщи Ш-вочке адрес Ренаты. Я его прилагаю на отдельном листке. Пусть он ей напишет, что я болезненно (т.е. с мучительными болями) и, по-видимому, длительно заболел. Чтобы она от меня не ждала писем, а обращалась к нему (пусть он даст ей для этой цели свой адрес) со справками о моем здоровьи. В экстренно нужных случаях пусть он заходит ко мне. Ты знаешь, как я хорошо к нему отношусь. Очень трудно писать, да и приходится второпях. Без конца обнимаю и целую. Не огорчайся. Мы и не такое преодолевали.

Твой Б.

---

* Зинаида Николаевна Пастернак.

** Кома — Вячеслав Всеволодович Иванов. Костя — Константин Петрович Богатырев.

25.

30 апр. Суббота

Лелюшенька дорогая, подумай, какая напасть! У меня есть надежда, что сегодня придет Кома, я что-ниб. узнаю о тебе, о твоем здоровье. Как твоя нога? Моя болезнь сейчас в полном разгаре. Я страшно ослаб. Отзывы сердца на любое ничтожное движение ужасно болезненны и мгновенны. Единственно, что доступно сравнительно без боли это лежать плашмя на спине. Но поведение окружающих таково, что они, по-видимому, верят в мое выздоровление. Я не вижу паники кругом. Но все очень, очень больно. Лелечка моя милая, всю жизнь я доставляю тебе огорчения! Эта болезнь кажется мне карой Божьей за то, что я был слишком ласков с Ренатой. Олюша радость моя, займи себя какой-ниб. большой работой. Начни описывать свою жизнь, скупо, художественно законченно, как для издания. Это отвлечет тебя. Целую тебя без конца, тебя и твоих.

Если потребуется какой-ниб. решительный шаг и надо будет перешагнуть все сложившиеся препятствия, ты об этом своевременно узнаешь. Пишу тебе, тоже нарушая предписание врача, который запретил мне волноваться.

Твой Б.

26.

30 апр. 1960

Золотая моя прелесть, твое письмо как подарок как драгоценность. Оно одно способно излечить, окрылить и вдунуть в меня жизнь. Но у меня очень частые и продолжительные перебои по всякому поводу и без всяких причин. Это одно может довести до отчаяния. Спасибо за все. Крепко целую тебя, ангел мой.

Б.

27.

Четверг 5 мая

Олюша родная меня удивили твои вчерашние фантазии насчет санатория. Все это совершенный и немного безжалостный бред. У меня не хватает сил побриться, выпадает бритва из рук от приступов лопаточной боли

и простые отправления организма задерживаются и прерываются по той же причине, и вдруг в таком состоянии, когда для рентгеновского просвечивания меня нельзя перевезти в город, меня надо переволакивать куда-то в подмоск. санаторий, и собственно из-за чего? Оттого что у тебя, как ты боишься, недостанет терпения, пока я выздоровею, все восстановится и жизнь потечет по-прежнему? Какое счастье, что на это можно надеяться, что это представляется вероятным! Еще день или два тому назад в этом позволительно было сомневаться. Из того что это не смертельно, что это нервно-мышечное воспаление ведь еще не следует, что это игра моего воображения или вздор и “литература”. Пока в силах человеческих было преодолевать эту боль, я ей сопротивлялся, ради встреч с тобой, ради жизни, ради работы. Но потом это стало немыслимо, невозможно. Я не понимаю, чем ты взволнована. Объективные показания (кардиограмма и пр.) позволяют верить, что я выздоровею. Мне уже немного лучше. Все что у меня или во мне было лучшего я сообщаю или пересылаю тебе: рукопись пьесы, теперь диплом. Все нам помогают так охотно. Неужели нельзя перенести этой короткой разлуки и если она даже заключает некоторую жертву, неужели этой жертвы нельзя принести? Я пишу тебе все время со страшными перебоями, которые начались с первых строк письма. Я верю, что от этого не умру, но требуется ли это. Если бы я был действительно при смерти, я бы настоял на том, чтобы тебя вызвали ко мне. Но какое счастье, что, оказывается, этого не надо. То обстоятельство, что все, по-видимому, может быть восстановится, кажется мне таким незаслуженным, сказочным, невероятным!!!

Что слышно нас. Фаустовских денег? Правда ли, что предвидятся деньги и в Искусстве (за Шекспира). Познакомилась ли ты с Евг.Мих.Морозовой? Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой. Как бы при чтении не разронили выпадающих страниц.

Крепко обнимаю тебя и умоляю успокоиться.

Прерываю, очень усилилось сердцебиение.

"СЫРЬЕ К ОДНОТОМНИКУ"

Так озаглавлена Борисом Леонидовичем сохранившаяся у меня папка. В ней — множество рукописей Б.Л., во многих местах правленных им и переделанных для однотомника 1957 г. Здесь помещена лишь небольшая часть подготовленных Б.Л. для однотомника стихотворений. В разное время им отвергались или принимались различные варианты. При подготовке однотомника редакторы сочли себя вправе сделать свой выбор из вариантов, имеющихся у автора. Здесь же я привожу все варианты данного стихотворения, но заключаю в скобки зачеркнутые Б.Л. строки.

Борис Леонидович придавал предполагавшемуся выходу в свет однотомника стихотворений значение большее, чем публикации романа. И старался собрать в него действительно лучшее из всего, что было им написано за все годы. Вместе с тем при работе над однотомником Б.Л. был безжалостен к своим старым стихам, он их переделывал, многие просто выбрасывал.

Вот, например, стихотворение "Проблеск света":

Только краешек неба расчистив
[Солнце свет разольет по земле],
Солнцем даль обольется во мгле,
Чистота свежевымытых листьев
Блещет живописью на стекле.

[Точно зелень живого убора]
Точно зелень земного убора
Слюдяное большое окно,
Чрез которое хор из собора
Временами мне слышать дано.

О природа, о мир, о созданье!
Я великую службу твою
Сам не свой, затаивши дыханье,
Обратившись весь в слух, отстою.

А вот второй вариант этого же стихотворения:

Чуть в расчистившиеся прорывы
Солнца луч улыбнется земле,
Листья ивы средь дымки дождливой
Вспыхнут живописью на стекле.

Я увижу за зеленью мокрой
Мирозданья тайник изнутри,
Как в цветные церковные стекла
Смотрят свечи, святые, цари.
Из глубин сокровенных природы

Разольется поток голосов.
Я услышу летящий под своды
Гул и плеск дискантов и басов.

О живая загадка вселенной,
Я великую службу твою
Потрясенный и с дрожью священной
Сам не свой, весь в слезах отстою.

На поле обоих вариантов этого стихотворения рукой Б.Л. крупно написано: “Этого стихотворения пока не существует”.

К переделкам уже известных стихотворений мы с редактором однотомника Н.Банниковым относились скептически: считали, что почти всегда они портили превосходные стихи, и старались эти исправления в однотомник не допускать. Не знаю, быть может здесь сказывался эффект психологической установки: стихотворение много раз читалось, оно казалось читателю превосходным, он себя чувствовал не просто читателем, но чуть ли не соавтором поэта, настолько каждое слово стиха находило в душе читателя отзвук... И вдруг — переделка — едва ли не кощунство, хотя и переделывает автор.

Вот некоторые из таких переделок.

В стихотворении “В больнице” строфы 8, 9 и 12 выглядели так:

И он благодарного взора
Не мог отвести от окна,
В которое из коридора
Вдруг стала застава видна.

Там город с привычностью старой
Виднелся и звал в свой предел,
Разбрасывал отсвет пожара
И заревом прошлого рдел.

* * *

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Твоим стародавним подарком
Себя и свой путь сознавать.

Б.Л. очень любил это стихотворение и часто читал. Какое счастье, что оно сохранилось поэтому в хорошей магнитофонной записи*. Стихотворение навеяно пребыванием в больнице из-за инфаркта. В своем письме к моей маме от второго января 1953 года он так ясно и так поэтично описал свои чувства — истоки этого стихотворения.

Последние три строфы стихотворения "Ночь" (тоже сохранившегося в превосходной магнитофонной записи в исполнении Б.Л., после правки выглядели так:

Наедине с планетой
Уже не первый год,
Он огорчений лета
Звезде не ставит в счет.

Не спи, не спи, работай,
Не покидай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не поддавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

А вот вариант последних двух строф стихотворения "Дорога":

От поворота к повороту
Чрез местности и времена,
Через преграды и красоты
Несется к цели и она.

А цель ее — чтоб в полном блеске
В слиянье с виденным войти,
Как оживляют даль изломы
Мимоидущего пути.

Первая строфа стихотворения "Музыка" приобрела

---

* Хранитель архива Гетеборгской библиотеки (Швеция) записал в Переделкине на магнитную ленту беседу с Борисом Леонидовичем и его чтение стихотворений "Ночь" и "В больнице".

необычный вид:

Рояль на лямках волоча,
Болтавшийся все своевольней,
Его несли два силача,
Как колокол на колокольню.

Зато совсем оказалась выброшенной последняя строфа стихотворения "Первый снег" (рукой Б.Л. написано: "Лишняя строфа, выкидывается"):

Повалит снег, — и в трепете
Окно и частокол,
Но петель не расцепите
Которые он сплел.

Исправлено четыре (из шести) строф стихотворения "После вьюги" (1, 2, 4, 6):

После дней некончаемой вьюги
Мир в округе и сон и покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К разговорам детей за рекой.

Я наверно ослеп, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной, словно из гипса,
Наземь навзничь упала зима.

....

Лед реки, переезд и платформы,
Лес и рельсы, и насыпь, и ров
Отлиты в безупречные формы
Все уложено в мягкие формы *
Все приглажено, все без углов.
Все заглажено, все без углов.

....

Вот как эти холмы, и коряги,
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

7-III-57

---

* Здесь и далее параллельно приведены варианты строк, не зачеркнутые автором в различных автографах стихотворения.

Очень много было сделано поправок к "Вакханалии", но я здесь приведу только один вариант последнего стихотворения этого цикла:

Цветы ночные утром спят,
Не пробуждает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
Разбросано белье с прошивкой,
На кресле лифчик и халат.
В ушах шумят два-три обрывка
Того что тридцать лет подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразий
Творившегося час назад.
Цветы земли не знают грязи.
Все очищает аромат
Десятка роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

4 августа 1957 г.

Заметно изменились вторая и третья строфы стихотворения "После перерыва":

Я стал прикидывать в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню стихотворный сборник.

И что ж, пока прильнув к окну,
Считал я снежные завалы,
Зима, почуявши весну
Наполовину миновала.

То же касается и третьей, четвертой и пятой строф "Июля", который в варианте Б.Л. назвал "Лето":

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
[К оконной шторе, как к танцорше].
И с занавеской, как с танцоршей,

[Чтоб взвиться с ней до потолка].
[Взлетает вверх до потолка].
Взвивается до потолка.

[Но кто ж тот баловник-невежа],
Кто этот баловник-невежа,
[То привиденье, тот двойник?]
[Кто этот призрак и двойник?]
И этот призрак и двойник?
[Тот призрак — наш жилец приезжий,]
Да это наш жилец приезжий,
[Тот дух — наш дачник отпускник.]
Наш летний дачник — отпускник.

На весь его недолгий роздых
[Мы этот дом ему сдаем]
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Последняя строка варианта:

Июльский воздух полевой.

Как взыскателен художник к себе в четырех отрывках о Блоке "Ветер"*:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
[Всезнающим нашим одним].
[Властительным только одним].
Учительствующим одним.
Всезнающим только одним.
Влиятельным только одним.
Влиятельным нашим одним.

Не знал бы никто, может статься,
[Достоин ли Пушкин иль нет,]
[Годится ли Пушкин иль нет,]
Годится ль нам Пушкин иль нет,

---

* См. гл. "Найди мою песню в живых!".

В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
[Дающих на это ответ].
На все проливающих свет.

Но Блок, слава Богу, иная,
Особая, к счастью, статья.
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не призывал в сыновья.
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
[Великий вне всяких систем,]
Ценимый вне школ и систем,
Он вечен вне школ и систем,
И вечный вне школ и систем,
[Он не сфабрикован руками]
[Не свалян как тесто руками]
Не свалян из грязи руками
Не сделан он грубо руками
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

* * *

Он ветрен, как дедовский ветер,
Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в Шахматове в дни,
Когда еще Филька-фалетер
Как там еще Филька-фалетер
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед якобинец,
Чистейшей души, как кристалл,
Кристальной души радикал,
[Которого ни на мизинец]
От этого ни на мизинец
От крайностей чьих на мизинец
От коего ни на мизинец
[Внук ветреник хуже не стал.]
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет

Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

След ветра повсюду. Он — дома.
Тот ветер повсюду. Он — дома.
[В деревьях деревни, в дожде,]
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В "Двенадцати", в смерти — везде.
....
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Оглядываться недосуг.
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
[Косой перешиб двух гадюк.]
Косою рассек двух гадюк.
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не докончил урока.
Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни Шахматовских слуг!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
[О злую резучку излук].
Тросник и резучку излук.
И злую резучку излук.
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни Шахматовских слуг!

О песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

* * *

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
[Как в ссадинах ран и царапин]
Как след незаживших царапин
[Босая нога косаря]
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
И это — предвестье невзгод,
Предвестникам бурь и невзгод,
[И пахнет травой и железом]
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
Закатные эти зигзаги
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.
[Когда же над людной столицей]
[Когда же над целой столицей]
Когда же закат над столицей
Когда ж небосвод над столицей
Когда ж над большою столицей
[Так вечер тревожно багрян,]
Так ветрено ржав и багрян —
Так с запада ржав и багрян,
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
[Постигнет весь край ураган].
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Крутой перелом, непогоду,
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.
Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи

Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

Незачеркнутый вариант последней строфы:

Блок ждал этой бури и встряски.
След этого лег на стихи
Отсюда закатные краски
Зигзаги на них и штрихи.

Известное стихотворение "Трава и камни", написанное в связи с исполнившимся в 1955 году столетием со дня смерти Мицкевича, было фундаментально переделано, получило новое название "Две страны" и по сути дела явилось новым стихотворением. В результате получилось два стихотворения, каждое из которых в свою очередь имело ряд подвариантов. Поэтому приведу оба основных варианта с подвариантами полностью.

Первый вариант:

С действительностью иллюзия,
С растительностью гранит
Сплетаются в Польше и Грузии
И это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей в каждой каменной трещине,
Травой из-под каждой стены.

В обеих склоняются лилии
Пред пышной пшеницею нив,
И словно робеет обилие
И самый избыток стыдлив.

Увиты побегами зелени
Развилины их старины
Деревьями в каждой расселине
Травой из-под каждой стены.

Повсюду былое великое
Будь город то или село
Колючей густой ежевикою
До крыш от земли поросло.

И хмурится всеми оттенками
Всем сумраком светотеней
Сирень в глубине меж простенками
Разрушенных монастырей.

И люди в родстве со стихиями,
Предания в дружбе с людьми,
И даль в каждом каменном выеме,
И небо пред всеми дверьми.

[И с гневною лирой Мицкевича
И девичьею чистотой
Грузинских царей и царевичей
Сближает их облик святой.]

Второй вариант:

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей в каждой каменной трещине,
Травой из-под каждой стены.

И те обещанья подхвачены
[Природой, делами их рук,]
Природой, трудами их рук,
Искусствами, всякою всячиной,
[Теченьем ремесл и наук].
[Движеньем ремесл и наук].
Развитьем ремесл и наук.

Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине,
Травой из-под каждой стены.

Следами усердья и праздности,
Беседою, бьющей ключем,
Речами про разные разности,
*Пустой болтовней ни о чем**

---

* Против этой и следующей строфы рукой Б.Л. написано: "Эти временно выпущенные строфы восстанавливаются".

[Пшеницею в рост выше сажени]
Пшеницей в полях выше сажени,
Сходящейся над головой,
Землей в каждой каменной скважине,
[Сквозь стены проросшей травой].
Степною проросшей травой.
Травой в половице кривой.

Душистой густой повиликою,
Столетьями, вверх по кусту,
Обвившей былое великое
И будущего красоту.

[Сиренью, любыми оттенками
Цветущих кустов и кистей
В отверстия между простенками
Разрушенных крепостей].

Два незачеркнутых варианта 8-й строфы:

Сиренью, со всеми оттенками
Играющих светотеней
Меж каменными простенками
Разрушенных монастырей.

Сиренью, двойными оттенками
Лиловых и белых кистей
[Повисшею между простенками]
Пестреющей между простенками
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,
Стихии в соседстве с людьми,
И даль в каждом каменном выеме
Земля — в каждом каменном выеме,
И небо пред всеми дверьми.
Трава — перед всеми дверьми.

И с громкою лирой Мицкевича
Ведет перекличку из книг
Грузинских поэтов — царевичей
По-девичьи чистый язык.

Вариант последней строфы:

[Где с мессианизмом Мицкевича]
Где с гордою лирой Мицкевича

Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей
Из девичьих и базилик.

А вот некоторые варианты "моего" стихотворения — "Недотроги":

Недотрога, тихоня в быту,
[Ты сейчас вся порыв, вся горенье].
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В тесном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
[Конура, край окна и стена],
Конура, край стены и окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

[За беседой ты нижешь на шнур]
Замечтавшись, ты нижешь на шнур
[Кучку с шеи скатившихся бусин].
Горсть на платье скатившихся бусин.
[Слишком весел твой вид, чересчур]
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь переименую.

[Разве грустный твой вид передаст]
Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
[Для чего же глаза ты печалишь?]
Ну так что же глаза ты печалишь?
Так зачем же глаза ты печалишь?

К стихотворению "Ева":

[Стоят деревья у воды,
И летний день у поворота
Закинул облака в пруды
Как ставят рыбаки наметы].

Стоят деревья у воды,
[И летний день с горы соседней]
[И жаркий полдень из болота]
И день с холма берегового
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды
[Как полные рыбачьи бредни].
[Как рыболов свои наметы].
Как переметы рыболова.

[Тяжел, как невод, небосвод,]
Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

(3-я и 4-я строфы без изменений)

О женщина, твой вид и взгляд
[И блеск меня в тупик не ставят].
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся, как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
[И к жизни не вполне привыкла],
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

(7-я строфа без изменений)

Стихотворение “Золотая осень” в вариантах называлось также “Золото” и “Осень”:

Осень. Сказочный чертог,
[Выстроенный для обзора].
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
[Облака, пруды, озера].
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

[Рощи обруч золотой —]
Липы обруч золотой,
Как венец на новобрачной.
[Вид березы под фатой]
[И береза под фатой]
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
[Зданья и усадьбы в рамах].
Словно в золоченых рамах,

Где деревья в сентябре
[Строятся зарей попарно],
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
[Выделяет сок янтарный].
Оставляет след янтарный.

[Где едва сбежишь в овраг].
Где нельзя ступить в овраг,
[Сразу все в лесу известно],
Чтоб не стало всем известно,
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
[Застывает тверже сгустка].
[Застывает твердым сгустком].
Застывает в виде сгустка.

Незачеркнутый вариант 7-й строфы:

Где в другом конце аллей
[Кличет эхо в парке хрустком]
Это отдается хрустко

И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

К стихотворению "После грозы"*

Пронесшейся грозою полон воздух.
[И дышится вольнее, чем в раю.]
Все ожило, все дышит, как в раю.
[Раскрытьем всех кистей лиловогроздых]
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.

[Гром катится по небосводу]
Все живо переменою погоды.
[И ливень заливает желоба,]
Дождь заливает кровель желоба,
Но все светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

[Художник может быть еще всесильней]
Рука художника еще всесильней
[С наскучивших вещей сметает пыль].
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни
[Выходит в жизнь действительность и быль].
Вступают в жизнь действительность и быль.
Выходят жизнь, действительность и быль.

[Он видит, как великие полвека]
Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходят вспять.
[Он перерос душою их опеку].
Столетье вышло из его опеки.
[И будущим не даст себя пугать].
Пора дорогу будущему дать.

---

* В папке остались варианты некоторых стихов, написанных уже после прекращения работы над однотомником.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь.
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Вариант последней строфы:

Не подавая виду, без протеста
Как бы совсем не трогая основ
В столетии освободилось место
Для новых дел, для новых чувств и слов.

Июль 1958

Вариант стихотворения "Перемена":

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Бездарный гонор барства — ноль.
Я мир трущоб избрал жилищем.
Мне честь оказывала голь,
Меня считая тоже нищим.

Был осязателен без фраз
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас,
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча.
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Я стал как камень, тверже скал,
Себе, товарищам неверен.
Я человека потерял
С тех пор, как всеми он потерян.

Б.Л. нередко возвращался к переделке и небольших стихотворений. Так, вскоре для стихотворения "Культ личности" он написал новый вариант первой строфы:

Культ личности забросан грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

Был ряд вариантов стихотворения "Нобелевская премия". В папке сохранился один из них. Третья строфа выглядела так:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

После этого была дописана строфа, которой в первом варианте вообще не было:

[Но и так, почти у гроба]
Но и там, у двери гроба
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Последняя строфа была тоже "перебелена":

[Я б хотел с петлей у горла],
А с такой петлей у горла,
[В час, когда так смерть близка,]
Я б хотел еще пока,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.

Последняя строфа стихотворения "Пахота" была написана Б.Л. в трех различных вариантах.

Первый вариант:

И так еще прозрачны кроны
И в мире чище красок нет,
Чем листьев цвет светло-зеленый
И светло-серый пашни цвет.

Второй вариант:

И ни соринки ниоткуда,
И в мире красок чище нет,
Чем зелень цвета изумруда
И чернобурой пашни цвет.

Третий вариант:

И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,

Чем цвет берез светло-зеленых
*И светло-серых пашен цвет**

Последняя строфа из стихотворения “Быть знаменитым некрасиво”, которое Б.Л. в варианте назвал “Верую”:

Чтоб ни единой малой долькой
Не отступиться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Пятая строфа стихотворения “По грибы”, названного Б.Л. в варианте “Осенний день”:

Но время в сентябре
Отмерено так куцо.
Что через лес заре
До нас не дотянуться.

Сохранился листок с тремя строфами, озаглавленный Б.Л. “Ветер”:

По дому ходит привиденье
Под окнами растет лопух
И одуванчики в цветеньи
По комнатам летает пух.

И я от частых молний слепну
И тучи высятся в окне
И занавески раболепно
Снуют, целуя руки мне.

....

И это привиденье — лето
Разгуливает в колпаке
Волшебником по кабинету
Как чья-то тень на сквозняке.

Эти мотивы затем вошли в стихотворение “Июль”, имевшего в варианте название “Лето”.

В папке сохранилась заготовка к стихотворению

---

* На листке с этим стихотворением — характерная для Б.Л. запись: “Купить 5 или 10 шт. блокнотов прошлогод. образца, когда будет прохладнее и будут деньги”.

“Осенний лес”:

В нем сами валятся деревья,
Взметая облака трухи,
И с остановками в распеве
Вдали горланят петухи.

С какой-то оторопью грозной,
Как будто бы стряслась беда
Они поочередно, розно
Земле пророчат холода.

А вот вариант шестой строфы стихотворения “За поворотом”:

За поворотом в глубине
Лесного крова,
Готово будущее мне
И мне не ново.

Вариант четвертой строфы стихотворения “Стога”:

Стог поутру темней притона
И высится, как сеновал,
В котором месяц с небосклона
Зарывшись, переночевал.

Исправлена была и вторая строфа стихотворения “Лето в городе”:

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме.
Я люблю эту голову
Вместе с косами всеми.

Папка “Сырье к однотомнику” хранит варианты множества других стихотворений: здесь и “Сказка”, и “Ева”, и “Без названия”, и “Весна в лесу”, и “Осенний лес”, “Август”, и многое, многое другое. Но особенно нетерпимо Б.Л. относился к своим ранним стихам, давно уже ставшим шедеврами.

На листке с записью пропущенных в свое время строф “Спекторского” (стр. 596-597 сборника 1965 г.) Б.Л. записал:

“Вероятно восстановить этот пропуск, вследствие его неприличия, невозможно. Но не эти явления нравственной или политической нецензурности останавливают меня, когда я с такой тоской и неохотою думаю

о старых стихах и их переиздании, а совсем другие, противоположные им черты отвлеченности, ложного глубокомыслия и схематизма кое-где в поэмах, словесной неряшливости и лексической безвкусицы в мелких стихотворениях и т.д. Например, это место из Спекторского по его силе и ясности для меня гораздо приемлемее, чем темная и полная глупой многозначительности в "Стихах о голоде".

Кстати, вот эти стихи:

I

Во сне ты бредила, жена,
И если сон твой впрямь был страшен,
То он был там, где шпатом пашен
Стуча, шагает тишина.
То ты за тридцать царств отсель,
Где Дантов ад стал обитаем,
Где царство мертвых стало краем,
Стонала, раскидав постель.

II

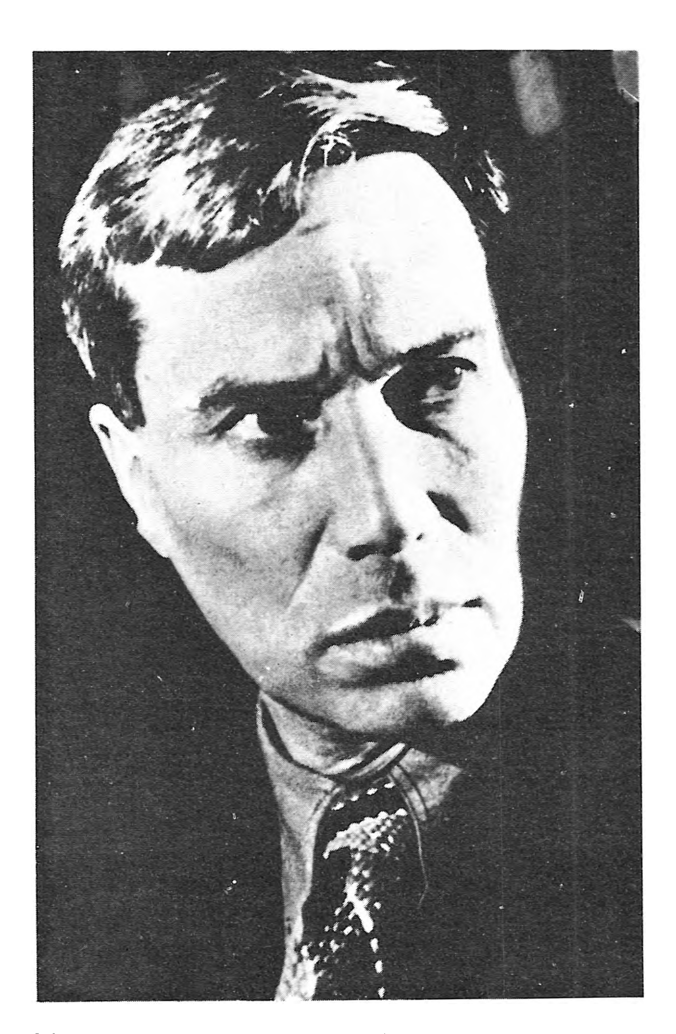
Страшись меня как крыжака,
Держись как чумного монгола,
Я ночью краем пиджака
Касался этих строк про голод.
Я утром платья не сменил,
Карболкой не сплеснул глаголов,
Я в дверь не вышвырнул чернил,
Которыми писал про голод.
Что эти мукам нет имен,
Я должен был бы знать заране,
Но я искал их, и — клеймен
Позором этого старанья.

1922

ОГЛАВЛЕНИЕ



О.Ивинская. 1939. У зеркала.



Первая подаренная фотография.



О. Ивинская. 1948. Новомирский период.



Издатель “Доктора Живаго” О.Фельтринелли и Г.Шеве.



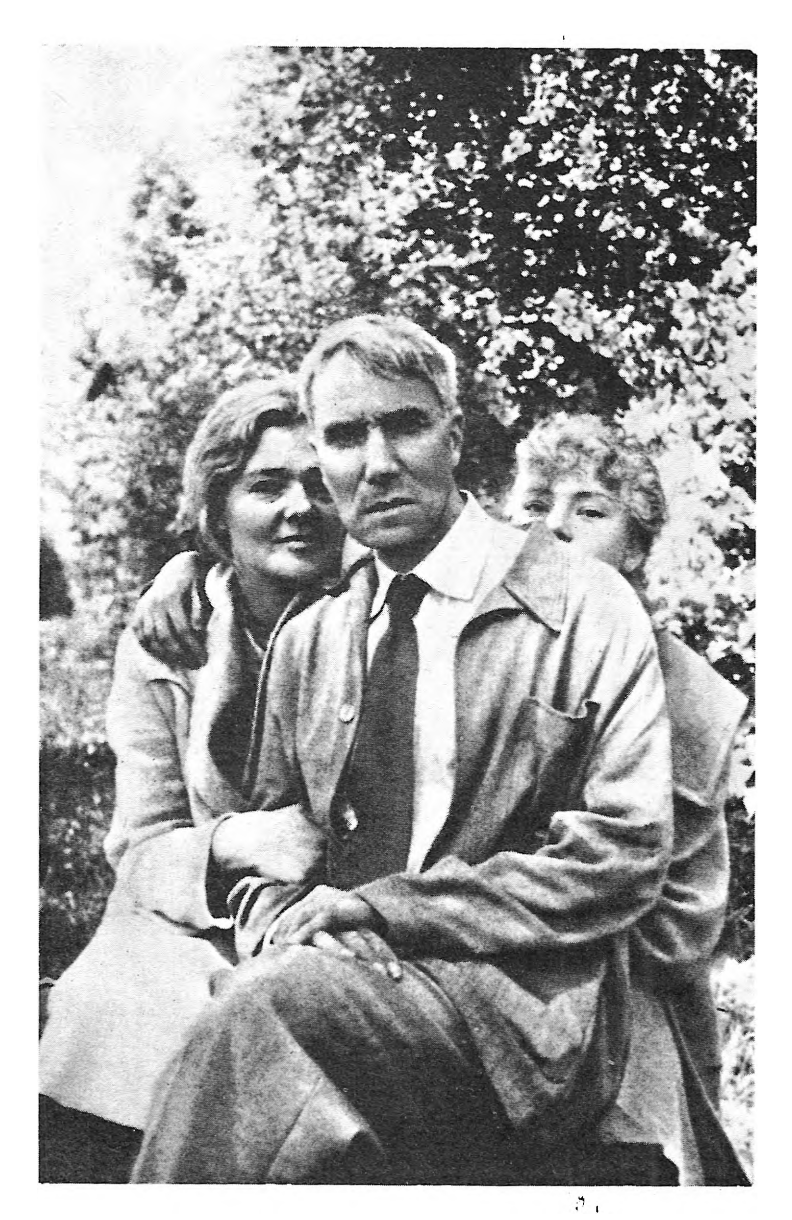
Б.Пастернак, О.Ивинская. В Узком.



Б:Пастернак с актерами театра Грюндгенса. Москва.



Нобелевские телеграммы.

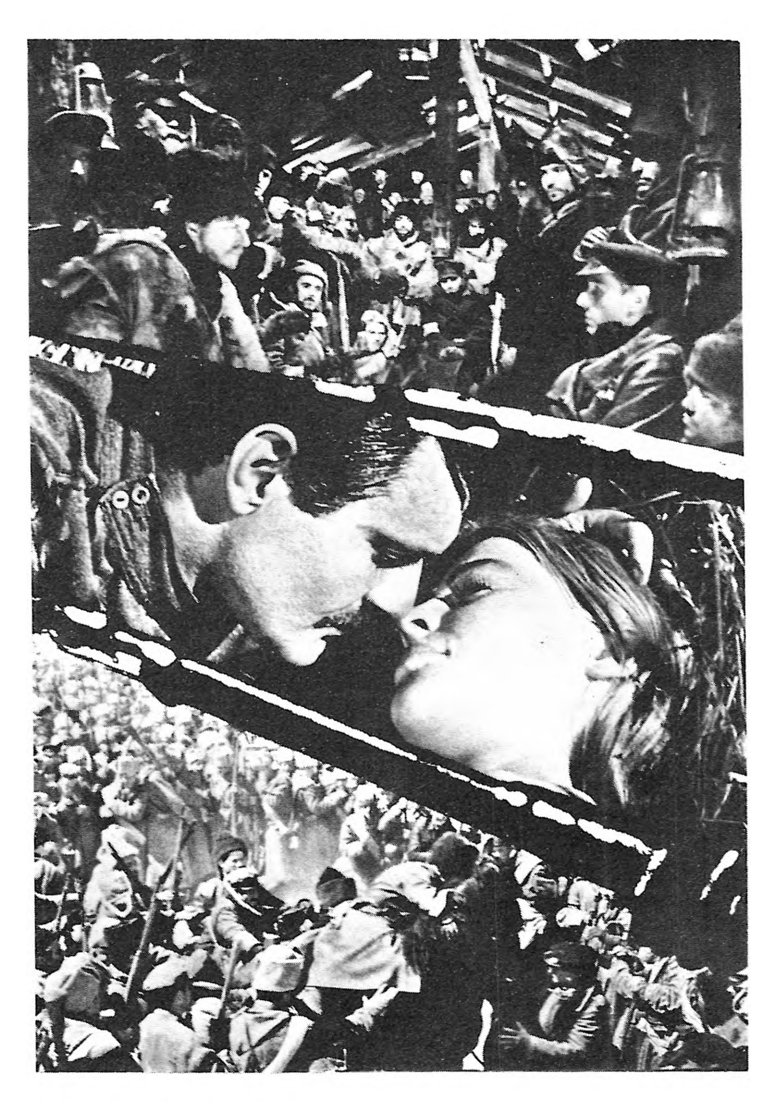


Б.Пастернак с О.Ивинской и ее дочерью Ириной. Переделкино. 1958.

Потаповский переулок. 50-е годы.



И.Емельянова. В мордовских лагерях.



“Доктор Живаго” на экранах мира.



О.Ивинская. Переделкинский пруд. 1960.



У гроба. 1960.



Месяц спустя. Ленинград. 1960.



Олюше ко дню
ее рожденья
27 июня 1959 г,
со всей моею
верною жизнью.

БП.



О.Ивинская. 1990.

◀
О.Ивинская с Полиной Егоровной. После лагерей. 1965.

Изъято при аресте.



Б.Пастернак. 30-е годы.



“Ее посадили из-за меня как самого близкого мне человека по мнению секретных органов, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных оснований для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали...”

Из переписки Б.Пастернака. 1958 г.



"Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской... Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать... Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла... Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела..."

Из переписки Б.Пастернака. 1958 г.